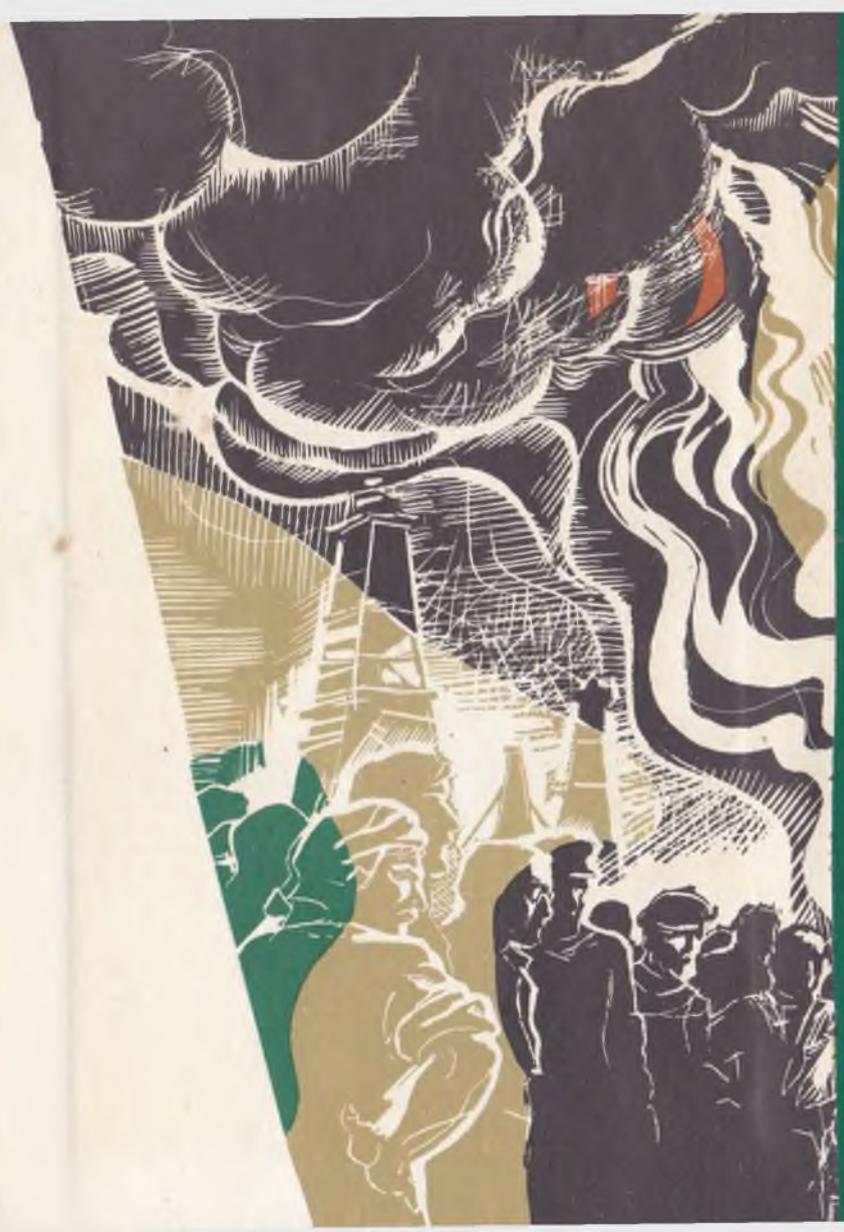


Д

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ





Scan Kreyder - 08.06.2018 - STERLITAMAK

**Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1975**



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

Борис Костюковский
Семен Табачников

**ГЛАВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ПОВЕСТЬ
О МИХАИЛЕ
ВАСИЛЬВЕ-ЮЖИНЕ

Борис Костюковский, один из соавторов этой повести, известен как взрослому, так и юному читателю. За многие годы литературного труда им издано почти три десятка книг, в том числе «Сибиряки», «В горах Акагуя», «Земные братья», «Признание в любви», «Поездка к солнцу» и др.

Семен Табачников в прошлом военный журналист, ныне член Союза писателей.

Работая в творческом содружестве, Б. Костюковский и С. Табачников создали две художественно-документальные повести — «Русский Марат» (о В. Л. Шанцере) и «Нефтяные короли» (о Д. Такоеве).

Книга «Главный университет» написана в том же жанре и посвящена одному из тех замечательных людей, вышедших из народа, которые стояли у истоков Коммунистической партии Советского Союза,— Михаилу Ивановичу Васильеву-Южину. Сын дворника и прачки, он стал всесторонне образованным человеком. Авторы показывают путь Южина-революционера от студента, осмысляющего жизнь, до одного из руководителей Бакинской, а затем Саратовской и Московской организаций РСДРП.

Под южным солнцем

Этот город, куда учитель Васильев стремился вот уже два года, произвел на него необычное впечатление. Баку был похож на международный порт с его разноязыкой речью, пестрыми костюмами и суетливым движением шумной толпы.

Ошеломляла удушливая жара. Васильев родился на Ставропольщине, еще недавно жил в Ялте и Мелитополе, и потому тепло для него привычно, но здесь воздух не просто жаркий — раскаленный.

Мария Андреевна, или, как он называл жену, Маруськ, предложила прежде всего пойти искупаться.
— Да, да. И немедленно! — обрадовался он.

Хозяйка квартиры, где они остановились, уже немолодая полная армянка, всплеснула руками...

— Как это купаться? Вы с ума сошли, господин учитель. Это же не июль, не август... Кто же в Баку купается в сентябре? Одни мальчишки: им ведь все равно, когда купаться.

На берегу было пустынно. Море спокойно. Волны, как большие округлые ладони, тихо приглаживали

сероватый береговой песок, перемешанный с галькой и ракушками, и так же тихо уползали назад. Белые чайки ныряли и взлетали, довольные и сытые. Они то приближались к берегу, то тут же с криком возвращались в море.

— Ишь какое им раздолье здесь.

Вдруг Васильев сорвался с места, с разбегу бросился в море — чайки заволновались.

— Не утони! — закричала Мария. — Ты же плохо плаваешь.

— Да тут воробью по коле-е-но!

После городского зноя окунуться в такие ласковые волны было блаженством.

Купались они долго; все никак не хотелось расставаться с морем, а когда наконец вышли из воды, увидели несколько зевак, уставившихся на купальщиков.

— Вот бесстыдники, — шипела пожилая женщина, щурясь от палящего солнца. — От безделья это, от безделья...

— Видать, грехи смывают, — вторил ей средних лет мужчина, по виду — мастеровой.

— Аллах, смотри до чего дошли дети твои! Уже для них зима не зима, осень не осень.

Толпа увеличивалась. Молодой человек в гимназической куртке вдруг крикнул:

— А мне нравится... — и начал раздеваться.

Люди на берегу перекинулись на него:

— А еще гимназист!

— Армянин соленый! — со злобой произнес загорелый мужчина в черной татарской шапочке. — Вот он выйдет из воды — я покажу ему.

В это время раздался свисток, к толпе шел высокий, широкоплечий, с живописно пышными усами человек.

— Пристав Исламбек идет! Расходись!

Толпа начала быстро таять. Видимо, личность эта была людям знакома.

Исламбек степенно подошел к Васильеву, очевидно заметив, что тот был виновником происшествия.

— Что натворил? — басовито спросил он.

— Собственно, ничего. Просто устали с дороги и решили искупаться.

— Сейчас? В сентябре?

— Вода теплая. При чем тут календарь?

Исламбек пристально посмотрел на Васильева.

— Кто такой?

— Учитель.

— А она?

— Моя жена.

— Документы есть? — спросил пристав и оглянулся: наиболее любопытные оставались на месте. — Р-р-разойдись! — грозно скомандовал он.

Только загорелый татарин не двинулся с места, как будто слова пристава к нему не относились, и искоса поглядывал на вышедшего из воды гимназиста.

Исламбек внимательно изучил документы и важно сказал:

— Можете купаться.

— Спасибо, я уже искупался.

— Тогда идите домой, господин учитель, — сказал пристав.

— Вот мальчик оденется, мы вместе и пойдем.

Этот ответ скорее предназначался старому мусульманину, который не спускал злобного взгляда с юноши.

— Вы знаете этого армянина? — спросил Исламбек.

— Я учитель и интересуюсь всеми, кто носит гимназическую форму.

— Ученый,— злобно фыркнул мусульманин.— Нишиво, мы еще встретимся.

Он повернулся и пошел в сторону города.

— Этот господин слишком воинственно настроен. Вы бы у него документы проверили,— с вызовом сказал Васильев.

— Когда надо будет, проверим. А ты,— обратился он к гимназисту,— беги домой уроки учить. Пока цел.

— Он пойдет с нами,— твердо сказала Мария.

Юноша подошел к Васильеву и встал рядом. Михаил снял пенсне, протер стекла носовым платком, надел и сказал полицейскому:

— Будьте здоровы, господин пристав. Если мы вас интересуем, вы можете увидеть нас здесь по утрам: до наступления холодов мы будем купаться в море каждый день.

И он, взяв жену под руку и обняв юношу, пошел в город.

Гимназист молчал, хотя лицо его выражало удивление.

— Моя фамилия Каринян, Ашот Каринян. Учусь в гимназии. Жаль, что вы преподаете не у нас,— искренне сказал он.

— Это несущественно. Вы приходите к нам домой.— И Васильев назвал свой адрес, а затем спросил: — Вас проводить?

— Что вы, Каринян не из трусливых...

Не было в этой фразе мальчишеского хвастовства, и Васильев едва заметно улыбнулся.

Директор Бакинского реального училища, человек солидный и осторожный, внимательно читал формулярный список о службе преподавателя математики, физики и естественной истории Мелитопольской женской гимназии Михаила Васильева. Этот новый преподаватель с небольшой бородой и легким пенсне на прямом носу понравился директору с первого взгляда. Человек он, безусловно, знающий, и не только свой предмет: хорошо говорит по-французски, владеет немецким и английским. Кроме того, как показалось директору, силен в филологии и изящной словесности. Такой преподаватель в реальном училище просто клад.

Итак, директор читал формулярный список и по привычке сопровождал чтение комментариями. Уже первые слова заставили его произнести длинную тираду: «Не имеющий чина Михаил Иванович Васильев»... Ах, не имеющий чина... Я же думал, что если не тайный, то действительный статский советник. И бородка аристократическая, и пенсне самое модное. И манеры-с, я вам доложу. И мундир отглажен, и каждая пуговка блестит, не то что у наших бакинских преподавателей. Читаем дальше-с. «...Родившийся 29 октября 1876 года, вероисповедания православного, знаков отличия не имеет»... Молод, право же молод — двадцати семи лет. А уж и в Ялте учительствовал, и в Мелитополе... «Окончил с дипломом первой степени курс естественного отделения физико-математического факультета императорского Московского университета в 1900 г.» Недавно-с, очень-таки недавно-с. Значит, из теперешних студентиков. Поимеем в виду-с. «Предложением господина попечителя Одесского учебного округа 11 августа 1901 года за № 14812 назначен исправляющим должность наставника математики и естествознания в Байрам-

скую учительскую семинарию с 11 августа 1901 года». Что ж, для молодого педагога это недурственно. Стало быть, способный. «Предложением господина попечителя Одесского учебного округа от 2 сентября 1903 года за № 177752 сообщено о перемещении его в бакинское училище с 1 сентября 1903 года. Председатель педагогического совета Н. Вавилов». С первого сентября... А поименованный Михаил Иванович изволил прибыть с опозданием-с. Из жалованья вычтем. Это уж пусть не взыщет-с...

Так-с, что же еще любопытного? Женат. Жена Мария Андреевна... родившаяся в 1878 году. Так-с. Ну, с богом, господин Васильев. А мы посидим на вашем уроке. Любопытно, действительно ли вы столь искусны в преподавании. Любопытно...»

В свободное от уроков время Васильев вместе с женой отправлялся туда, где добывалась нефть. То, что он видел там, поражало его. У самого моря, на берегу древнего Апшерона, поднимались деревянные вышки, похожие друг на друга, как сосны в густом бору. Каждый метр земли на промысле используется, каждый человек загружен до предела, и каждое его движение рассчитано и целесообразно.

Эта целесообразность во многом продиктована хищническими методами добычи бакинской нефти, известными всему миру. Ротшильд, Бенкендорф, Манташев, братья Нобель, извлекая из Апшерона нефть, добывали золото.

Биби-Эйбат, Балаханы, Сабунчи — эти названия произносились часто, потому что именно там больше всего вышек. Промышленную часть Баку называли Черным городом: нефтяное производство черным коптящим полукольцом окружало город и со-

здавало своеобразный мрачный колорит. Люди здесь казались нереальными, будто вышедшими из подземелья: темные хмурые лица, черные от въевшегося мазута руки.

Жилища рабочих выглядели угнетающе: низкие, глинобитные, с маленькими оконцами, они лепились друг к другу в беспорядке, часто между нефтяных вышек. Скрежет тартальных и паровых машин, гул и треск лебедек сопровождали здесь жизнь людей от зари до поздней ночи.

Обращала на себя внимание разноплеменность промыслового рабочего люда. Были здесь и русские, и татары, и армяне, и грузины, и евреи — все, кого согнала сюда тяжкая нужда.

Но не только на нефтяные промыслы стекались люди. Развитие нефтяного дела вызывало к жизни и многие другие отрасли промышленности в Балахах, в Сабунчах, в Раманах; механические предприятия Хатисова, табачная фабрика Мирзабекяцц, рисоочистительная мельница с неожиданным названием «Слон» — везде и всюду здесь требовались рабочие руки.

Из России, Армении, Грузии ехали сюда те, кто искал работу и пристанище. Нередко целые семьи приплывали из Персии, из-за Каспия, из Средней Азии. Люди обживались, образуя национальные поселения, строили свои мечети, церкви, синагоги, создавали общины в надежде защитить друг друга.

В этих поездках по нефтяным районам Васильевых всегда охотно сопровождали два друга — Ашот и Сеид. Ашот после того сентябрьского купания частенько стал заходить к ним. При ближайшем знакомстве он оказался большим любителем театра. Это делало его еще более привлекательным в глазах Ва-

силева. Однажды он привел с собой чернявого тоненького паренька — сына какого-то мелкого лавочника.

— Его зовут Сеид. Он честный, — сказал Ашот, считая, что этим исчерпано все.

Вечер начался чаепитием, а кончился чтением известного монолога Сатина о человеке. Ашот Каринян отлично знал пьесу «На дне», и горьковские слова звучали у него очень искренне.

Михаил Иванович внимательно слушал Ашота. Его армянский акцент, горячие черные глаза, привычка после каждой фразы задавать вопрос «да?» полюбились молодому учителю.

Прочитав монолог, Ашот, еще волнуясь, с гордостью заметил:

— Я не только это знаю. Я еще и другое читал Горького.

Васильев чувствовал, что парню о чем-то хочется рассказать, чем-то похвалиться или в чем-то признаться, но он не решается.

Выручила Мария Андреевна.

— Вероятно, Ашот имеет в виду «Песню о Буревестнике» и «Песню о Соколе».

Она произнесла это, подавая чай, и никто не обратил внимания на ее слова. Мария подумала, что тайна уже не была тайной. Запрещенные произведения Горького, оказывается, знакомы и этим юным бакинцам.

И вдруг Ашот не выдержал. Он вскочил со стула и, давая волю своему бурному темпераменту, прочитал:

— «Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над реющим гневно морем; то кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!»»

Сеид посматривал на взрослых, улавливая каждое их движение. Как-то они будут реагировать? Испугаются? Ведь стихотворение-то запрещенное. Но Михаил Иванович был спокоен.

Когда парни собрались уходить, он заметил:

— Хорошо вас учат литературе. Видно, учитель у вас славный.

— Мы его уважаем,— с достоинством ответил Ашот.— Николай Терентьевич Улезко — человек красивый.

Сеид рассмеялся.

— Какой же Улезко красивый? Он горбатый...

Возникло неловкое молчание.

— При чем здесь горбатый? — наконец выговорил Ашот.— Он душой красивый. Понимаешь? Да? Душой...

Сеид этого не понимал.

Васильев уже не первый день присматривался к парнишкам. Ашот понравился ему уже тогда, на морском берегу. Другое дело Сеид. Он учился в техническом училище без особых успехов. Чаще всего отец заставлял его сидеть в лавке. Именно там он узнавал все новости: лавочники были самыми осведомленными людьми в Баку.

Ашот дружил с Сеидом, хотя Мария Андреевна заметила как-то:

— А ведь есть что-то такое, чего Ашот не доверит даже Сеиду.

Однажды вечером Сеид пришел к Васильевым без Ашота.

— А я решил уходить из училища,— вдруг сказал он.

— Почему? — удивился Васильев.

— Надоело... Папа говорит, что из меня Ротшильд все равно не получится, а в такое время

нужно быть при деле. Лавка наша бедная, товара нет.

— И куда же ты пойдешь работать?

— Папа уже договорился на табачной фабрике братьев Мирзабекянц. Сначала буду рассыльным, а потом на саму фабрику пойду.

— Почему именно на табачную?

— Мой отец табаком торгует,— пояснил мальчик.

Михаил Иванович готовился к урокам старательно, и не потому, что был новичком и не верил в свои силы. Просто до сих пор не приходилось ему встречаться с такой разношерстной аудиторией, а хотелось ее прочно завоевать.

Училище, в котором преподавал Васильев, жило обычной, размеренной жизнью. По утрам преподаватели приходили на службу, интересовались, «как изволили почивать» или «что новенького на белом свете-с». Регулярно, по определенным дням, заседал педагогический совет, и почтенные педагоги поочередно хвалили друг друга, называя «милостивыми государями», и не скупились на такие слова, как «усердно», «похвально», «искусно» и даже «великолепно». Касалось это всего на свете — и преподавания, и успеваемости, и даже состояния здоровья.

Директор рад был этой обстановке благодушия и всевосхваления: значит, не проникли еще в реальное училище всякие социал-демократические идеи. Ему уже было известно, что учащиеся классической гимназии прислали своему директору анонимное письмо, в котором предупредили, что если он, «почтеннейший господин Котылевский, тиранство свое не прекратит, то будет удален прочь, как шпи-

он и губернаторский лакей». Директор похвастался как-то перед Васильевым: слава богу, мол, у нас такого нет и быть не может.

— Даже в классической гимназии,— сказал он,— завелись всякие группки и группочки. Удивляюсь, господин Котылевский — почтенный человек и допускает такое.

И директор по привычке стал рассуждать вслух:

— А что он может сделать? То есть как что? Если сам не в состоянии, изволь обратиться к господину попечителю... Нет, зачем же к попечителю? Поднимется шум... Уж лучше к самому...

Васильев улыбнулся, и директор заметил это.

— Так-то-с, милостивый государь. Времечко-то, время! Трудно нынче чувствовать себя счастливым, хоть бы жить без потрясений...

С некоторых пор разговоры о счастье все чаще и чаще слышались в училище. И не только в училище. О счастье писала печать, о счастье говорили на уроках, и даже Сеид, далекий от всяких теоретических рассуждений, рассказал Михаилу Ивановичу, что какой-то мужчина на фабрике Мирзабекянц выступил с докладом «Счастлив тот, кто спокоен»...

Ашот, например, считал, что счастлив тот, кто борется.

А Васильев? Для того, собственно, он и рвался в Баку, один из крупнейших промышленных центров Российской империи, чтобы целиком отдать себя борьбе. Он знал, что здесь работает крепкая социал-демократическая организация.

Нельзя сказать, что годы, проведенные в южной ссылке — Ялте, Мелитополе,— прошли для него да-

ром. В Байрамской учительской семинарии наставник математики и естествознания Михаил Иванович Васильев, несмотря на гласный надзор полиции, сумел преподавать будущим учителям не только знание своих предметов. Нередко, возвращаясь после занятий домой в сопровождении семинаристов, он разъяснял им вопросы философии и истории, не стесняясь в выражениях, характеризовал несовместимость царского строя с представлениями о свободе и демократии, призывал читать марксистскую литературу, и прежде всего Тулина — Ильина — Ленина. Нередко среди семинаристов появлялась газета «Искра», — сюда, в Ялту, она попадала по пути в южные кавказские порты.

Руководство семинарии стало смутно догадываться, какие мысли внушает своим ученикам наставник математики и естествознания. Не желая «выносить сор из избы», директор вызвал Васильева к себе в кабинет для откровенного разговора. Он предложил «подать прошение» о переводе в Мелитополь, где имеется вакансия в женской гимназии... Вот тогда и появилась в его послужном списке запись: «Предложением господина попечителя Одесского учебного округа от 13 августа 1902 г. за № 15264 перемещен согласно прошению исправлять должность преподавателя естественных и математических наук в Мелитопольскую женскую гимназию».

Там, в Мелитополе, впервые прочитал Михаил Иванович материалы Второго съезда партии, узнал о расколе, о фракции большевиков.

— Мне необходимо ехать в Одессу, — сказал он Марии. — Я должен встретиться с товарищами, разобраться во всем.

14 Разговор в Одесском комитете РСДРП мало добавил к тому, что Михаил уже знал. Да и сам коми-

тет не был однородным: дискуссии, споры возникали на каждом шагу. Одни утверждали, что конечно же Мартов прав, что незачем требовать от каждого члена партии обязательной работы в одной из организаций. Другие были убеждены, что без строгой дисциплины не может быть крепкой, сплоченной партии. Третьи, не высказывая своего мнения, интересовались лишь одним: что по этому поводу сказал Плеханов.

— Вы, молодой человек, из Мелитополя? — спросил у Васильева седой, загорелый, с широкими скулами мужчина. — Интересно, что по этому поводу думают тамошние социал-демократы.

Михаил сказал, что раскол окончательно проявил те противоречия, которые существовали в партии и прежде. Сейчас каждому необходимо самому для себя определить, с кем он — с Мартовым или Лениным.

— Вы правы. Дело тут не в мелких разногласиях, а в коренных противоречиях... Вы знакомы с трудами Ленина?

Михаил Иванович улыбнулся: видно, учительский мундир не внушал этому скуластому мужчине с кулаками, похожими на кузнечные молоты, особого доверия.

— Не одно запятие среди рабочих и учащихся провел по его «Друзьям народа», по статье «С чего пачать?». И меня нисколько не удивила позиция Ленина на съезде, — ответил Михаил.

Теперь уже улыбался одессит.

— Вы, я вижу, обиделись. Напрасно. Давайте знакомиться. Товарищ Савелий.

— Васильев, учитель.

— Ну вот и отлично. Заходите-ка вечером по этому адресу, там поговорим подробнее.

В самом центре Одессы, недалеко от памятника Ришелье, в квартире зубного врача, сидели люди, с которыми Васильев виделся впервые. Обратил на себя внимание матрос, возле которого лежала бескозырка с надписью на ленте: «Князь Потемкин-Таврический».

— Товарищи,— сказал Савелий,— сегодня у нас гость из Мелитополя товарищ Васильев. Он выслан из Москвы и сейчас учительствует на юге. Думаю, что ему интересно будет узнать о том, что истинные одесские революционеры считают себя сторонниками Ленина — большевиками.

Савелий подробно рассказал о Втором съезде, о том, как шло голосование, как твердо и последовательно отстаивал Ленин интересы партии рабочего класса.

Когда расходились, он спросил у Васильева, прочно ли тот осел в Мелитополе...

Михаил пожал плечами: все зависит от обстоятельств.

— Хорошо бы вам перебраться в один из рабочих центров, например в Баку. Там сейчас назревают интересные события. Мне известно, что Владимир Ильич послал туда целую группу опытных большевиков.

— Я,— ответил Васильев,— и сам об этом давно думаю. Решил обратиться к попечителю, авось не откажет, ему и самому удобнее заслать меня по-дальше.

— В таком случае, если это вам удастся, дайте мне знать, а я предупрежу бакинских товарищей. Вы же опубликуйте какой-нибудь материал в местной газете. Подпишитесь «М. Васильев». Это будет значить: вы прибыли и ждете связи.

Они попрощались, и в тот же вечер Михаил уехал в Мелитополь.

После приезда в Баку Мария Андреевна немало удивилась, что ее Михаил не ищет ни с кем встреч, что, кроме Ашота и Сеида, у них никто не бывает. Это так непохоже на Михаила, всегда общительного, не умеющего, казалось, и дня прожить без друзей, без общества.

В последнее время Васильева вдруг потянуло к журналистике. Его разозлила, да, именно разозлила ставшая модной возня вокруг слова и понятия «счастье». По-всякому склоняли его бакинские обыватели, и только от Ашота он услышал: счастье — в борьбе.

Михаил начал писать статью, не зная еще, куда он ее пристроит. Но то, что писать нужно в газету не только легальную, но и популярную среди бакинцев — у него не было никаких сомнений. Была тому и причина: надо было дать о себе знать тем, кто им интересовался. Другой материал для газеты возник неожиданно; поводом послужили гастроли знаменитой актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской. Михаил купил билеты на все спектакли и после первого же пришел в восторг.

Мария знала, как умеет ценить подлинно талантливого ее муж, но на этот раз она не разделяла его восторгов.

— Я понимаю, ей трудно: ведь пьеса-то плоха.

— Да, Маруська, плоха. Но сколько драматизма у этой актрисы! Ей надобно Шекспира, Шиллера играть. Я непременно напишу о ней. Вот посмотрим еще две-три постановки, и непременно напишу...

Статьи появились почти одновременно в газете «Баку».

О чем только не писала эта газета: и о том, что дают сегодня в театре Тагиева, и о том, что генерал-губернатор посетил строительство новой городской бани, и о том, что предлагает покупателю парижский магазин готового платья на Кривой улице.

И вот среди всей этой городской смеси, под рубрикой «Театр и музыка», появилась статья «Сказка», подписанная «М. Васильев».

— «Люди — рабы, люди — идолопоклонники... Они слагают восторженные гимны в честь свободы и все-таки остаются жалкими рабами...»

Мария читала газету вслух и не могла скрыть гордости за своего мужа. Статью эту Михаил в рукописи ей не показал. «Прочтешь, если будет опубликована». И вот она читала.

— «Нельзя сказать, чтобы пьеса была вполне удачна и художественна: для этого она слишком тенденциозна...»

«Эта фраза специально для меня написана», — подумала Мария. Пьеса ей откровенно не нравилась.

— «Госпожа Комиссаржевская в роли Фанни Терен играла необыкновенно горячо и сильно...

Вообще, талантливой артистке наиболее удаются сильные драматические роли, требующие огромного нервного напряжения. И мы от души посоветовали бы ей выбирать исключительно такие роли...»

Васильев ждал, что скажет ему жена; она встала, подошла и нежно поцеловала в лоб.

— Все-таки ты молодчина. Когда-нибудь Комиссаржевская вспомнит Баку и твой дружеский совет.

Однажды в кабинет директора училища вошел высокий, изысканно одетый мужчина. Он попросил представить его учителю естествознания: ему очень

понравилась рецензия в газете «Баку» на спектакль с участием госпожи Комиссаржевской.

— Небольшая, но со смыслом, не правда ли? — спросил он.

— О да, — ответил директор, не читавший рецензии. — Простите, а с кем имею честь?

— Заведующий строительством Баиловской электростанции.

— Сию минуточку, милостивый государь... Вера Федоровна Комиссаржевская... Как же-с. Всеобщая любимица. И сам губернатор... Как же-с. Так это наш Васильев писал? Приятно. Сию минуту.

Войдя, Васильев удивленно посмотрел на элегантного мужчину...

— Надеюсь, — сказал гость директору, — вы позволите нам с глазу на глаз... Благодарю. Вы очень любезны.

Растерянный директор вышел, приговаривая:

— Как вам будет угодно-с. Извольте-с.

А гость встал и, протянув руку, сказал:

— Ну, здравствуйте, товарищ Васильев. Инженер Красин.

Имя Красина было хорошо известно Михаилу. Он знал и о том, что Леонид Борисович твердо стоит на позиции большевиков, на позиции Ленина. Собственно говоря, публикуя статью, давая о себе знать, Васильев почему-то втайне надеялся встретиться именно с Красиным.

Внешне Красин выглядел вполне респектабельно: и дорогой костюм, и твердый накрахмаленный воротник, и гордый, независимый вид... Но стоило заглянуть Красину в глаза, как тотчас ощущалось что-то озорное, мальчишеское, задиристое... Чувствовалось, что он получил удовольствие от того, что выставил сейчас этого шаркуна директора.

Михаил радостно, широко улыбнулся. Это же Красин, Красин! Крупный инженер-энергетик, активный деятель партии. После тюрьмы ему запретили жить в столицах, и вот — Баку, строительство электростанции на Баиловом мысу.

— Я рад, Леонид Борисович... Значит, вместе?

— Не совсем. Уезжаю приобретать типографское оборудование. И знаете, уважаемый рецензент, кто дал деньги? Вера Федоровна Комиссаржевская.

Увидев, что слова эти произвели должный эффект, Красин удовлетворенно улыбнулся.

— В ответ на букет красных роз — букет из червонцев... Недурно? И вся куча денег — за одно выступление перед городской знатью...

Он говорил легко, шутливо, и в глазах его горели все те же бесовские огоньки.

И вдруг он посерьезнел.

— Пора включаться в работу, Михаил Иванович. Вы кооптированы в состав Бакинского комитета. В ближайшее время вас свяжут с Алешей Джапаридзе и Фиолетовым. Кто? Пока не знаю. Возможно, один из ваших юных друзей... Важно убедиться, что за вами нет слежки...

Он вынул из кармана четки и начал быстро, привычно перебирать их. «А ведь он нервный», — подумал Михаил.

— Насколько мне известно, вы твердо стоите на позициях ЦК... — сказал Красин. — Всегда имейте в виду, что Ленин и ЦК — вот наш ориентир. Вы с этим согласны?

— Разумеется. Так и только так...

Красин протянул руку.

— Что ж, прощаемся. О нашем разговоре я сегодня же сообщу товарищам. Рад знакомству, почтенный поклонник Комиссаржевской. Скоро получи-

те адреса. Или же ждите гостей к себе. Сожалею, что сам не смогу навестить вас...

Красин улыбнулся.

— Вы, кажется, приехали с женой. Передайте ей мой привет, впрочем, если сочтете нужным.

Васильев не рассказал Марии об этой встрече. Весь вечер они проговорили о рецензии, о вкусах, о вещах, ничего общего не имеющих с политикой.

— Эх, Маруськ... Что там рецензия... Ты скажи, почему заговор молчания по поводу фельетона? Ведь я рассчитывал на бурную реакцию. Даже в нашем реальном училище будто его и не читали...

Но Васильев ошибался, полагая, что фельетон «О человеческом счастье», напечатанный в той же газете, остался незамеченным. Его широко не обсуждали просто потому, что одним он показался слишком «философичным», другим — излишне смелым.

Не знал Васильев и о том, что в мужской классической гимназии имени Александра III газета передается из рук в руки, что гимназисты не просто читают ее, а изучают.

Разговор о фельетоне зашел во время урока литературы в шестом классе. Преподаватель Николай Терентьевич Улезко, маленький горбун с удивительно добрым детским лицом, светловолосый и светлоглазый, говорил всегда зажигательно и интересно. Его лекции гимназисты любили, и, если кто-либо не выучил задание, он принимал это близко к сердцу и очень огорчался.

— Какой же я неуклюжий, — говорил он искренне, без тени кокетства, — даже к такому изумительному писателю не сумел вызвать у вас интереса, господа. Это ужасно.

Зато сами гимназисты надолго клеймили виновника званием тупицы. И до тех пор, пока он не

получал у Николая Терентьевича «5», а было это не просто...

Любил Улезко задавать темы сочинений необычные, требующие самостоятельности мышления, знания исторических и литературных материалов. Тех, для кого Онегин был барчуком, а Ленский — жертвой социальной несправедливости, строго не судил, был снисходителем. Он не удивлялся, если героем сочинения становился Томас Мор или Лассаль, но и не выражал своих политических взглядов, как ни вызывали его на это гимназисты. Разговор сводился к литературным достоинствам того или иного сочинения, и уж тут Улезко был как рыба в воде.

Однажды он пришел на урок несколько более взволнованный, чем обычно. В руках учитель держал газету «Баку», и, хотя он ни разу не развернул ее, гимназисты поняли: фельетон Васильева прочитан... Ашот не удержался и спросил:

— Николай Терентьевич, что вы думаете о человеческом счастье?

Улезко не ответил. Он молча вынул из кармана записную книжку и, близоруко щурясь, прочитал:

— «Один в поле не воин». Так будет называться ваше следующее сочинение... Литературных примеров для этого сочинения предостаточно. А если кто-либо уж очень усердно читает газеты, можно и их использовать...

Ашот понял, что Николай Терентьевич своего мнения не выскажет: его больше интересует мнение гимназистов...

...Эту статью они читали еще третьего дня, в промозглый, дождливый декабрьский вечер. Был понедельник, и гимназисты не сговариваясь почти все до единого принесли с собой в класс воскресный выпуск газеты «Баку». Ашот был особенно горд: он не

сомневался, что «М. Васильев» — это и есть его зна-
комый учитель из реального.

Ашот Каринян слыл среди шестиклассников во-
жаком. Поступил он в гимназию сравнительно легко,
потому что был сыном врача — детям врачей и учи-
телей отдавалось предпочтение. Ашот правился това-
рищам своей начитанностью, веселым нравом и уме-
нием отличить среди преподавателей «своего» и «чу-
жого».

Он тоже принес с собой газету и немало обрадо-
вался, когда увидел, что статья заинтересовала весь
класс.

— Читали, да? — спросил он возбужденно, точ-
но сам был автором статьи.

Фельетон поправился всем. Но судили о нем по-
разному.

— Интеллектуально, — говорили одни, — сразу
видно ученого.

— Причем здесь ученый? Просто человек пони-
мает, о чем пишет.

— И ловкий, заметьте. Остро написал, а пропу-
стили в печать.

— Вот бы его к нам в гимназию... погово-
рить бы...

Эта мысль поправилась Ашоту. Хотя осуществить
ее было не просто. Летом — дело другое. Собрались
бы на сходку, как это часто делали гимназисты, где-
нибудь в Арменикенте или на пустыре по дороге в
Баладжары. Сейчас декабрь... Звать Васильева в
гимназию — вряд ли пойдет...

...Они встретили его после уроков. Реальное учи-
лище помещалось недалеко от Парапета, вблизи
гимназии.

— Здравствуйте, Михаил Иванович, мы к вам...
Васильев осмотрел гимназистов, их было не

менее десяти. Кто они, эти пареньки с едва пробивающимися усиками? Чем живут, чем интересуются? Он вспомнил свои гимназические годы в Пятигорске.

Ашот спросил, не согласится ли Михаил Иванович побеседовать с его товарищами.

— Отчего же, — ответил Васильев, — если вам это интересно...

Они сидели в большой комнате с высокими потолками, в которой стояло несколько стульев и медицинская кушетка. Видимо, приемная врача. Васильев обратил внимание на то, что ребята входили в этот дом напротив Сабунчинского вокзала не группой, а поодиночке, как бы соблюдая правила конспирации. «Значит, не впервые собираются», — подумал он.

Ашот Каринян чувствовал себя здесь как дома. «А может быть, это приемная его отца?» — предположил Васильев.

Они договорились прочитать фельетон в присутствии учителя, не задавая вопросов. Но началось именно с вопроса:

— Михаил Иванович, а почему вы взяли эпиграфом стихи Гейне? Разве русские писатели не писали о том же?

Васильев рассмеялся и сказал:

— Да это ведь попятно. Ей-богу, понятно. То, что в русской газете позволено немецкому поэту, для русского — табу. Читай, Ашот! Не будем терять времени.

— Брось свои иносказанья
И гипотезы святые, —
На проклятые вопросы
Дай ответы мне прямые.

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Ашот сделал паузу и продолжал:

— «Я не знаю другого более важного, более дорогого для нас понятия, чем то, которое мы обозначаем красивым словом «счастье». Можно смело сказать, что жизнь всякого человека, жизнь всего человечества есть вечное искание счастья. И вместе с тем нет другого более неопределенного и неясного понятия...

Что же такое счастье?»

«А он уже не первый раз читает»,— решил про себя Васильев. Ему приятно, что ребята так заинтересованно слушают фельетон. Важно было понять, чего добиваются ребята. Простое юношеское любопытство? Стремление познать больше? Или желание действовать, бунтовать, протестовать?..

Васильев помнит, как сомневался он, стóбит ли теоретизировать, приводить в статье формулу о том, что счастье можно математически изобразить в виде дроби, у которой знаменателем являются притязания, а числителем — успех. Иначе говоря, чем больше успех, тем больше счастье.

То ли мысль эта понравилась юношам, то ли сразила их эрудиция этого сидящего среди них человека в пенсне, по почти каждый с особым уважением посмотрел на него... «Дети, все-таки дети»,— подумал Михаил Иванович. Сначала хотелось остановить их, прекратить это чтение, попросту поговорить по душам. Но нет, ему уже самому стало интересно, как поймут его ребята.

Понимают ли они, о чем речь? Ашот понимает. А остальные? Сеид как-то рассказывал, что у них на

фабрике выступал некто Шендриков и говорил, что счастлив тот, кто сыт и одет. Что буржуи поэтому счастливы, а пролетариат — нет. Типично меньшевистская, «экономическая» демагогия. Это тоже была речь о счастье, и Васильев чувствовал необходимость начать с Шендриковым заочный спор. В том, что будет и очный, Михаил Иванович не сомневался. Имена социал-демократов братьев Шендриковых были ему достаточно хорошо известны. О них говорили по-разному, но всегда горячо. Собственно, им и адресовались слова, которые читал сейчас Ашот: «Но поистине жалки те люди, которые ради своего спокойствия отказываются от всех лучших притязаний, возможных для человека. У таких людей остаются лишь притязания самого низшего порядка, удовлетворение которых не требует большого труда. Они — нищие духом. Счастливыми их назвать нельзя. Но у них мало шансов быть несчастными. Только с этой точки зрения имеет смысл старинное утверждение, что «счастливы одни дураки». У дураков мало притязаний, следовательно, немного поводов быть недовольными, то есть счастливыми».

Васильев больше всего боялся, что мальчишки устанут, — ведь сейчас начнется самое главное. Васильев и сам удивляется, как прошло в газету то, что он писал.

«Наиболее ловкие и сильные из людей пользуются слабостью своих невежественных и измученных трудом собратьев, чтобы за их счет удовлетворить свои непомерно разрастающиеся физические притязания. Люди вынуждены вести борьбу с себе подобными, причем общественная жизнь превращается в сложную систему эксплуатации сильными слабыми. И «правый» страдает, а «бесчестный» торжествует, ибо слабые люди всегда преклоняются перед силой,

каким бы путем ни была приобретена эта сила. Люди когда-то, как богу, молились крокодилам, и вечно они курят фамиам крокодилам, принявшим человеческий облик...»

И тут поднялось невообразимое... Гимназисты спорили так, как умеют спорить только юноши. У каждого находились десятки примеров из жизни. Некоторые даже не скрывали своего преклонения перед сильными — им все можно, все прощается. Чаще других звучала фамилия Двалиева. Васильев не сразу понял, о ком идет речь и почему так много говорят о нем гимназисты...

Оказалось, что этот парень просто отъявленный хулиган. Сын начальника Бакинского порта, он чувствовал себя безнаказанным.

— Ему все прощается, а попробуй дать сдачу — сразу вылетишь из гимназии.

— Как с ним справишься? А туп, как булыжник из бакинской мостовой.

Когда ребята успокоились, Ашот продолжал:

— «...Что общественные инстинкты могут побороть даже такой могучий животный инстинкт, как инстинкт самосохранения, доказывается существованием замечательно совершенных в некоторых отношениях обществ у животных — у пчел и у муравьев. Там отдельные индивидуумы, не колеблясь, жертвуют жизнью для блага своей общины».

Воцарилось молчание: последние слова были самыми иносказательными и вместе с тем самыми понятными. Это был призыв к борьбе, к готовности отдать жизнь за дело народа.

— Я попп-п-нимаю,— сказал запинаясь смуглый паренек,— почему Николай Терентьевич задал сочинение «Один в поле не воин». Я тоже напишу про пчел...

— А я напишу про Двалиева. Он и один в поле воин. Что ни говорите, а мы боимся его. Боимся ведь?

Гимназисты пристыженно молчали, словно именно на Двалиеве свет клином сошелся, словно о нем была вся эта статья, этот острый, так взволновавший их фельетон.

Васильев понимал: юность мыслит конкретно. У этих мальчиков уже были свои враги и кумиры, и, может быть, от него, учителя, зависит сейчас, как поведут они себя в дальнейшем.

Мальчики ждали, что он скажет. Ждал и Ашот. Он знал больше, чем остальные: он часто ходил на разные дискуссии, слушал беседы об истории революционного движения в России. Его водил с собой старший на класс гимназист, которого все звали только по фамилии — Елизабаров. Он молча встречал Ашота, молча вручал ему какой-то пакет и только говорил несколько слов, объясняя, куда его доставить. А потом так же молча, одними глазами прощался и уходил... Ему-то Ашот первому и рассказал о симпатичном преподавателе естествознания из реального училища.

Ашоту показалось, что разговор сегодня не получается. Ну что это такое? Большие, можно сказать, главные мысли свели к какому-то Двалиеву, этому заносчивому барчуку. Что и говорить: начальник порта — фигура, с которой шутки опасны... Но разве с Васильевым говорить об этом?

Михаил Иванович был по этому поводу другого мнения.

— А знаете что? Давайте с вашего Двалиева и начнем. Не драться, разумеется. А сплачиваться воедино. Попробуйте предъявить свои требования господину Котылевскому, директору гимназии. Ведь

предъявить требование — это значит проявить свою личность, продемонстрировать организацию,

— А нас за это...

— Вот и поучитесь у муравьев, — с улыбкой сказал Васильев.

Ашот Каринян предложил, чтобы все в очередном сочинении «Один в поле не воин» разоблачили хулигана Двалиева. Все до единого. И вот тогда посмотрим, воин он или не воин...

Когда ребята разошлись, Ашот спросил:

— А не получится из пушки по воробьям? Ну что такое Двалиев?

— В настоящих условиях — сила, с которой нужно справиться. Чтобы самому почувствовать силу. Почувствовать себя человеком. Личностью.

В редакции, которая помещалась на Парапете, в доме Степановой, Васильеву с тревогой сказали, что автором интересовался Лилеев — правая рука губернатора Накашидзе. Редактору стало не по себе, когда в телефонной трубке прозвучал ласковый, елейный голос:

— Это редакция уважаемой газеты «Баку»? Вам звонит скромный читатель Лилеев. С некоторых пор появились у вас любопытные писаки. Они и про Комиссаржевскую, и про муравьев, и про пчел... Уж лучше пишите про цирк братьев Никитиных, там по крайней мере выступают животные, а не насекомые...

И положил трубку. Редактор, человек либерального толка, не отличавшийся, однако, храбростью, побледнел: с вице-губернатором Лилеевым дело иметь ему бы не хотелось. Но и ронять себя в глазах сотрудников он не желал. Рассказав им об этом звон-

ке, он с достоинством сказал, втайне надеясь, что бог милует:

— Если господин Васильев пожелает написать еще что-либо о театре, милости прошу.

Что ни говорите, а последние номера газеты «Баку» были раскуплены молниеносно.

Директор реального училища счел своим долгом завести разговор о фельетоне с его автором.

— Не знал-с, не имел чести-с,— с иронией начал он.— Вы, оказывается, не только о театре, но и... критик, так сказать. Рецензия и прочее... Прогрессивно-с.

— Вы переоцениваете,— ответил, не принимая иронии, Васильев.— Думаю, артистка Комиссаржевская на меня не обидится.

— Какая артистка? Причем здесь Комиссаржевская? На вас господин попечитель сердит. Вольнолюбивые мысли, мол, развиваете... Всяких немецких поэтов цитируете.

— Так уж и всяких.

— Милостивый государь, я в изящной словесности не силен. Но что такое гнев попечителя, мне достаточно хорошо известно. Я не допущу, чтобы в нашем училище...

Он не договорил. Видимо, было что-то такое, о чем ему рассказывать не хотелось.

Васильев недоуменно пожал плечами и этим дал понять, что не чувствует за собой вины и что разговор на эту тему закончен. Когда он вошел в класс, учащиеся встретили преподавателя аплодисментами. Оставшийся стоять в коридоре директор тяжело вздохнул,— именно этого он больше всего и боялся.

Учителя теперь держали себя по отношению к своему коллеге настороженно и высокомерно, они не

могли скрыть удивления дерзостью господина Васильева.

Но Михаила Ивановича это меньше всего волновало. Он был занят другим. Уже три месяца он живет в Баку, и обещание, которое дал перед поездкой сюда, — не искать встреч с комитетом — начинало его тяготить...

После посещения Красина никто не приходил. По вечерам он сидел дома, иногда выходил на улицу, но никого из нужных ему людей не встречал.

Зато со знакомым приставом, тем усатым Исламбеком, он столкнулся однажды возле самого дома.

— А учитель, господин Васильев...

— А вы запомнили, господин пристав...

— Как же! — хвастливо ответил Исламбек. — Мы интеллигентов всех знаем... Как вам живется на новом месте?

— Благодарю. Вполне благополучно.

Исламбек подтянул спустившийся с живота ремешок, подкрутил усы и, козырнув, сказал:

— Желаю здравствовать, господин учитель...

Странное дело! как только ушел пристав, мимо прошмыгнул тоже знакомый уже Васильеву мусульманин в черной шапочке. «А эта пара неразлучна, оказывается... Случайно или нет? На всякий случай предупрежу Маруська...»

Каринян был у них давно. И с тех пор забежал только однажды, чтобы рассказать, что сочинение «Один в поле не воин» произвело в гимназии ошеломляющее впечатление. Директор Котылевский каждого гимназиста вызывает к себе и требует объяснений.

— Представляете, да? Весь класс написал об одном и том же. Кроме, конечно, Двалиева и трех его дружков. Здорово получилось...

— А выстоите? Не сдадитесь?

— Что вы, Михаил Иванович. Мы даже прокламацию сочинили: долой Двалиева из гимназии!

— Ну, а он как?

— Поначалу полез драться, да? То ко мне, то к Виталию Левенсону. Дескать, ваша работа, я знаю. Я не дрался, а только сказал: «Посмей тронуть!» Да? И весь класс со мной... Он только и крикнул: «Берегись!..»

Васильев улыбался, а Мария осторожно сказала:

— Насчет прокламации — не слишком?

Васильев остановил жену.

— Не мешай, Маруськ... Люди борются за справедливость — это же хорошо.

Ашот убежал, а Мария Андреевна спросила:

— Не рано ли им? Ведь совсем дети...

Он посмотрел на нее, щелкнул пальцем по носу:

— Ничего, Маруськ! «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!..»

В гимназии творилось педообразимое. Николай Терентьевич Улезко был немало удивлен, прочитав сочинения шестого класса. Двалиева он не любил: этот гимназист редко когда не получал у него двойки и не раз грозился «пожаловаться отцу». Почтенный папаша действительно приходил в гимназию и пробовал было объясниться с учителем литературы, но Улезко в присутствии директора сказал:

— Не могу ставить ему больше двойки. Книг ваш сынок не читает, уроков не повторяет. Лени и нежелание учиться.

Улезко церемонно поклонился и вышел.

И вот теперь такое сочинение... Не грозит ли это ему неприятностью? Директор гимназии Котылевский как-то намекнул, что по сочинениям можно судить об образе мыслей не только гимназистов, но и

их родителей... Так что если Николай Терентьевич встретится с крамолкой, «надлежит незамедлительно» и так далее и тому подобное. Улезко дипломатично ответил: «Учту-с». Но сейчас случай исключительный. Весь класс — об одном и том же. Он мог бы рассказать об этом Котылевскому и представить весь инцидент как месть шестиклассников хулигану. Но стоит взять в руки хоть одно сочинение, как станет ясным: Двалиев только повод. В каждой домашней работе — ссылки на Робеспьера и Гуса, Грибоедова и Пушкина. Кое-кто вспомнил Гейне и Гете — именно те стихи, которые цитировал М. Васильев в фельетоне «О человеческом счастье».

Нет, это не случайное совпадение, а организованный протест гимназистов. Значит, они уже не дети, эти мальчишки? Ах, время, время, ты требуешь сейчас от человека раннего возмужания!

Он решил поступить иначе: разобрать одно из сочинений на уроке, свести дело к грамматическому анализу и на том покончить.

В классе Николая Терентьевича ждала пасторальная тишина. Гимназисты привыкли к тому, что в конце недели он приносит проверенные сочинения и объявляет отметки.

Улезко начал урок необычно официально. Ребята заметили: прячет глаза учитель... Значит, проверил... Значит, растерял...

— Я принес ваши домашние сочинения, — начал Николай Терентьевич. — По странному совпадению они оказались чрезвычайно похожими друг на друга. В них, за небольшим исключением, речь идет об одном и том же объекте, ничего общего с литературой не имеющем. Поэтому я выставил вам отметки за грамматику. Они достаточно высоки, и меня это порадовало. Вот все, что имел вам сказать...

Гимназисты переглянулись: что делать? Неужели он не прочтает ни одного сочинения?

Ашот поднял руку.

— Николай Терештьевич, вы всегда читаете нам одно-два сочинения, и это бывает очень поучительно. Если вам трудно, мы прочитаем сами...

Улезко понял, что разговора не избежать...

— Да, действительно, я себя сегодня неважно чувствую. Если угодно, читайте... Ну-с, кто хочет...

Весь класс, за исключением Двалиева, поднял руки... Улезко уже не сомневался: это заговор. Он еще попытался урезонить ребят, дотянуть до звонка. Но не сумел...

Сочинения прочитали трое гимназистов. Двалиев сидел растерянный, то краснел, то бледнел. Он понял: класс восстал против него. И когда один из гимназистов, маленький, щупленький, прозванный Малышом, прочитал: «Я не боюсь тебя, Двалиев. Ты одинок, а один в поле не воин», Улезко почувствовал: сейчас произойдет взрыв...

Двалиев встал, посмотрел на учителя и угрожающе двинулся на мальчика.

— Господин Двалиев, сядьте на место.

Двалиев, не обращая внимания, шел на Малыша. Двое парней встали у него на пути, по маленький гимназист, как задиристый воробей перед большим и сильным врагом, готовый ко всему, отстранил их:

— Не мешайте ему... Не мешайте... Пусть только посмеет.

Двалиев огляделся и вдруг, резко повернувшись, выбежал из класса.

И опять наступило молчание. Теперь уже победное, гордое. Гимназисты смотрели на Малыша восторженно, с каким-то мужским, недетским уважением.

А он, весь потный от напряжения и опасности, только что миновавшей, стоял и не очень осмысленно улыбался. Малыш знал, что на этом деле не кончилось, но сейчас был победителем.

Как и полагал Улезко, Двалиев побегал к директору, кричал, жаловался, грозился привести отца.

Гимназисты понимали состояние своего учителя. Они знали: этот честный, искренне влюбленный в литературу человек, слишком мягок и слабохарактерен.

Приход директора не предвещал ничего хорошего. Улезко старался собраться с мыслями. Из-за спины директора с паглой ухмылкой смотрел на него Двалиев...

— Тэк-с,— просвистел Котылевский,— что же это такое-с? Как прикажете почитать? Буит? Книжечек пачитались? Запрещенных? Статеечек? Фельетончиков?

Он не говорил — он выплевывал слова, не будучи в состоянии совладать с собой. Котылевский знал: Двалиев-старший этого так не оставит. Хорошо еще, если придет в гимназию. А если прямо к попечителю учебного округа? Или сообщит при случае господину губернатору? Позор. Для гимназии. Для него, Котылевского.

Он рассчитывал, что сегодняшним разговором в классе погасит огонь, заставит гимназистов молчать, а Двалиев постыдится рассказывать отцу о том, как не любят его одноклассники. Именно этого больше всего хотелось директору, и он, боясь показать, что уступает, лихорадочно искал все же путей к примирению. «А уж потом рассчитаемся», — решил он про себя.

Класс молчал. Анот понимал, что сейчас решается многое. Он не надеялся на сознательную твер-

дось гимназистов — уж слишком они были разные, дети своих родителей. Другое дело мальчишечья солидарность...

— Итак, вы отомстили товарищу за то, что он не всегда был справедлив с вами, — нашелся наконец Котылевский. — А что дальше? Продолжать распрю? Или перестать заниматься пустяками и взяться за учение? Ведь с точки зрения грамотности, так сказать, у вас не все хорошо. Я бы даже сказал, не очень удовлетворительно. Ведь так? — обратился он к Улезко, полагаясь на его утвердительный ответ.

— Я этого не могу сказать, — честно признался учитель.

— Ах, даже так? — зло оскалился директор. — И вы туда же?

Ашот понял, что Николай Терентьевич может оказаться в роли громоотвода. Он решительно поднялся, стукнув партией.

— Господин директор, мы достаточно грамотны, чтобы изложить то, о чем думаем. Мы не желаем терпеть в своей среде хулигана и драчуна. Нам надоело ходить с синяками...

— Ты сам дерешься, ты сам... ты сам... — захныкал Двалиев.

И так непривычно звучала в его устах эта плаксивая интонация, что многие рассмеялись.

— Он хулиган и тупица, — твердо сказал Малыш. — Вместо того, чтобы драться, лучше бы уроки учил...

— Тэк-с-с-с, — снова просвистел директор. — Кто еще хочет хлопнуть партией?..

С шумом и треском поднялся весь класс, кроме трех растерянных дружков Двалиева.

— Ах вот оно что... Забастовка, господа гимназисты? Заговор бунтовщиков?

— Не разговор, а протест,— крикнул кто-то с задней парты.

— Уберите из гимназии Двалиева,— раздалось из другого угла класса.

— Пусть сидит дома у своего папочки,— добавил еще кто-то.

Уже давно прозвучал звонок, уже в коридорах слышалась шумная возня. Улезко стоял в сторонке, облокотившись о подоконник, и его горбатая фигура казалась сложенной вдвое. Он опустил голову, стараясь не выдать ни гимназистам, ни директору своего состояния. Может быть, в этот момент многое, очень многое решалось в его жизни. Во всяком случае, он твердо знал, что говорить с гимназистами отныне будет иначе — взрослее, что ли...

Разговор закончился только потому, что должен был начаться другой урок. А на следующий день по всей гимназии были развешаны прокламации с требованием изгнать хулигана Двалиева.

«Нет,— говорилось в прокламации,— он не храбрец, он трус, он просто пользуется своей безнаказанностью. Но довольно прятаться за широкими спинами отца и господина директора. Мы единодушны в своем требовании и не отступим».

Под напечатанным на гектографе текстом стояли подписи: «Ученический комитет и общесуученический суд».

Котылевский бегал по гимназии, срывая прокламации. Теперь он понимал, что разговора с попечителем ему не избежать.

Попечитель не стал интересоваться подробностями дела. Он сказал коротко:

— Придется бросить им эту кость... Сделайте вид, что считаетесь с их мнением, и этим обезоружьте. С господином Двалиевым я уже договорился — уволь-

те его сына из гимназии. Постарайтесь установить, что это за комитет... Да, еще вот что. Учителя Улезко пока не трогайте, но усильте контроль за его работой, за темами, которые он задает для домашних сочинений.

Двалиева исключили из гимназии. К шестому классу теперь относились с уважением даже самые старшие гимназисты.

Васильев выслушал Ашота и удовлетворенно сказал:

— Оказывается, не так страшен черт, как его малюют.

Забегал Сеид. Он рассказал о том, что на табачной фабрике выступал один из братьев Шендриковых.

— Красиво говорил, — восторгался Сеид. — Вот бы вам с ним познакомиться, Михаил Иванович.

— Ну зачем же? — ответил Васильев.

— Он про свободу... про забастовку... Против Мирзабекянца — хозяина фабрики — говорил. Смелый-смелый...

Ашот выразительно посмотрел на учителя. Сеид заметил этот взгляд.

— Не веришь? Клянусь аллахом! Сколько хлопали ему в ладоши! Рабочие за ним в огонь и в воду. Вот это человек! Побегу отцу расскажу.

— Ты все ему рассказываешь, да? — спросил Ашот.

— А как же? — не чувствуя подвоха, ответил Сеид. — Пусть знает старик, что на свете делается.

Он не стал пить чай, который, как всегда, предложила Мария Андреевна, а умчался, возбужденный, домой.

— Болтун, — тихо сказал Ашот. — А лавочники — народ ненадежный.

Когда Мария Андреевна вышла на кухню, Каринян неожиданно сказал:

— Завтра в семь вечера Илья Шендриков выступает на заводе Ротшильда... Лекция... «Еще раз о человеческом счастье». Вас просили выступить тоже...

Вот оно... Наконец-то...

— Кто же просил?..

— Товарищ Алеша, — коротко ответил Ашот.

Так и есть. Алеша Джапаридзе. О нем говорил Красин.

Михаил Иванович встал, погладил гимназиста по голове.

— Хорошо, дружок. Алеша так Алеша. Если ты просишь, я непременно приду.

Каринян улыбнулся.

Постройки завода Ротшильда в Балаханах раскинулись далеко друг от друга. Добираться до них было трудно: территория утопала в грязи.

Васильев прошел на завод вместе с молодым рабочим, который встретил его у проходной. — Михаил Иванович? — тихо спросил он. — Моя фамилия Фиолстов. Зовите просто Ваней. Мы хотели, чтобы вы послушали сегодняшний диспут. Будет выступать Алеша против Касьяна.

— Кто этот Касьян?

— Илья Шендриков, меньшевик. Оратор, говорит, такой, что нелегко с ним состязаться. Алеша попробует, но он думает лучше, чем говорит. С русским языком не всегда ладно получается... Так что, если у Алеши не выйдет, придется вам. Вы человек новый, вас послушают. Да и статью вашу читали. Касьян вроде как отвечать на нее будет...

Шендриков говорил резко, театрально жестикировал, красиво и гордо вскидывал голову, поправляя прическу. Люди слушали его внимательно, часто аплодировали. Еще до того, как Касьян вышел на трибуну, Михаил Иванович слушал, как переговаривались между собой рабочие. Как только не называли они его: и «своим человеком», и «заступником», и даже «вождем». Кое-кто величал его Ильей Никифоровичем, подчеркивая тем самым свое близкое с ним знакомство.

Касьян рассказывал были и небылицы, обращался к людям, сидевшим здесь же, называя их по имени, приводил примеры из жизни рабочих завода, их семей. Словом, он был не только «своим человеком» — он казался их близким другом, которому пельзя не верить.

«Ну и хорошо... Этому пужно у Шендриковых поучиться. Но к чему он ведет? К какой цели?»

Этого Шендриков раскрывать не торопился. Он констатировал факты, разоблачал Ротшильда и его управляющего Фейгеля, хлестал словами «Каспийское товарищество», не щадил английские фирмы и их представителя Уркарда...

— Всем выдает,— восхищался седой рабочий в брезентовой куртке.— Давай им, Касьян, давай...

— Нет, дорогие мои друзья, не для того мы родились людьми, чтобы счастье обходило нас стороной. Нас всех принесли в этот сложный и великодушный мир женщины-матери. Нам всем дапы руки, ноги, головы, мы все похожи друг на друга, потому что все мы — люди. Кто же дал право одним питаться соками других? На земле достаточно благ для того, чтобы хотя бы приблизительно равномерно распределить их между людьми. Долой экономические полюса! Долой непомерные богатства одних и предельную

пищету других! Мы хотим получить за свой труд не гроши, а полноценные рубли! Нет, нам не пужел восьмичасовой рабочий день — мы согласны на десять, на двенадцать часов. Но отдай нам за это сполна! Мы хотим быть сытыми, черт побери!

Рабочие устроили оратору подлинную овацию.

«А ведь это еще не «вождь», это только «брат вождя». Как же тогда ораторствует Лев Шендриков!» — думал Михаил.

Касьян распалялся все более и более.

— Друзья мои, не столь уж много мы просим... Нет, — спохватился он, — не просим, а требуем. Для начала — простых человеческих благ. Чтобы было где жить, чтобы было что есть... Мы, рабочий народ, умеем трудиться, но мы умеем и считать. Пусть буржуазия считает свое, а мы будем считать свое. Честным трудом заработанное. Вот этими руками! Вот этими мозолями! Вот этой впалой рабочей грудью...

И он эффектным жестом расстегнул свою сатиновую косоворотку.

Шендриков уходил с трибуны, сопровождаемый аплодисментами, рукопожатиями и восторженными взглядами, расклаивался, как артист, улыбался смущенно, отмахивался от слишком уж громких похвал.

Ваня Фиолетов сидел мрачнее тучи. Он искоса поглядывал на Шендрикова, и взгляд его говорил: «Ну, попадись мне под горячую руку...» Иногда он смотрел на Михаила, и его удивительно открытый и выразительный взгляд словно задавал одни и те же вопросы: «Видал? Слыхал? Справишься с таким?»

На трибуну выскочил стройный, порывистый грузин лет тридцати, с прической под ежика, с пламенными глазами. Негустые аплодисменты встретили его. Громче всех хлопал Фиолетов.

— Давай, Алеша! Разъясни! — кричал он.

«Алеша Джапаридзе! Вот ты какой... Послушаем, послушаем, что ты, неистовый человек, скажешь...»

Алеша пошел в атаку и, пожалуй, совершил тактическую ошибку: аудитория еще не остыла от шендриковских слов, она не в состоянии была так быстро перестроиться...

Васильев уже уловил, в чем суть позиции братьев Шендриковых. Ну, для партии это не так ново. Да и Шендриков это знал. Ведь, по существу, он ополчился против книги Ленина «Что делать?». Этот демагог беспрерывно вторит Мартову и Струве одновременно. Ни слова о политических свободах. Требования экономические, да и то весьма умеренные, которые не могут вызвать особых возражений капиталистов. Чтоб и волки сыты, и овцы целы.

...Алеша Джапаридзе говорил горячо, по без определенной системы. Васильев понимал его хорошо, но аудитория была для этого не подготовлена.

Михаил заметил, как зашевелились в задних рядах шендриковцы. «Они не дадут говорить», — подумал Васильев.

— Это не шендриковцы, — как бы отвечая на его мысли, прошептал Ваця. — Это бандиты.

Михаил оглянулся и вдруг замер от неожиданности: он заметил знакомую черную шапочку. Там, среди тех, кого Фиолетов назвал бандитами, сидел, не отводя взгляда от Алешы, тот самый татарин, которого Васильев про себя назвал тенью Исламбека.

«И этот здесь... Выпюхивает, высматривает...»

Алеша Джапаридзе поправился Васильеву. Не его вина, что сегодня Шендрикова слушали лучше: на этом заводе еще предстояло много сделать, чтобы рабочие поняли, где демагогия, а где истина. Наверное, и его, Васильева, не будут слушать: здесь привыкли внимать авторитетам.

И все-таки он поднялся на трибуну. Председательствовавший человек в очках с металлической оправой поинтересовался фамилией.

— Не беспокойтесь,— предупредительно ответил Михаил Иванович.— Я сам представлюсь. Фамилия моя Васильев, я учитель...

Послышались голоса: «Ротшильдов прихвостень», «Давай учи, учитель...»

Михаил Иванович помолчал, выжидая тишины. Он заметил, как вскочил с места «Черная шапочка», как, всматриваясь в оратора, пересел поближе... «Вот и встретились»,— подумал Васильев...

Он начал свою речь спокойно, с достоинством, как бы говоря слушателям: давайте остынем и трезво рассудим...

— Я расскажу вам одну забавную историю. Было это в Москве, где довелось мне тогда жить. Мой товарищ, рабочий завода Михельсона, парень умный и горячий, вроде вас, посмел как-то выразить недовольство мастеру, и его как бунтовщика упрятали в тюрьму. Вышел он оттуда избитым до чахотки. И вот тут встретил его мастер. «Что? Научили?» «Научили»,— ответил рабочий... «Ну, если научили, приходи на завод, я тебе жалованье хорошее поставлю». И он пошел... Год прожил сносно, да только чахотка свое взяла... Перед смертью сказал мне этот паренек: «Вот так-то, господин студент: если не нищета, то чахотка». Он умер, а мастер, говорят, и ныне там: к одним добрый, к другим — тиран. Потому что у него — право. А у рабочего его нет. Рабочий всегда виноват.

— Это верно,— послышался голос с места.

— Чахотки и у нас хватает,— вторил ему другой.

— Это от бесправия,— не усидел Фиолетов.

«Не спеши, Ваня», — подумал Михаил и продолжал:

— Я в Баку сравнительно недавно. Но то, что я увидел здесь, потрясло меня до глубины души. Я побывал в Сабунчах и Биби-Эйбате, Балаханах и Раманах и везде видел одно и то же — ужасную нищету и вопиющее бесправие... Да, да, вопиющее бесправие. Это поразительно: вы, люди, создающие миллионные богатства, беднее церковных крыс; вы, чьим трудом живет мир, не имеете никаких человеческих прав, кроме права умереть от чахотки. Что может быть несправедливее! Что может быть чудовищнее!

«Ишь ты! — подумал Фиолетов. — Крепко завипчивает. Вроде та же река, что у Шендрикова, да только не туда течет...»

— Вот тут много говорилось о человеческом счастье... Скажу вам откровенно: в ваших условиях о счастье говорить еще слишком рано. Даже тот, кто набил себе желудок, еще не счастлив. Он сыт, доволен, но не счастлив.

Аудитория смолкла. Что там говорит этот учитель, чего мудрит? Какого еще ему счастья пужно?

Сидевший в первом ряду среди рабочих Шендриков тоже насторожился. Сегодня он не ушел, как обычно. Какая-то внутренняя сила удержала его, как бы предупреждая об опасности... После того, как выступил Джапаридзе, которого Касьяп побаивался, он решил уже, что тревога была напрасной. И учителя ему захотелось послушать скорее из любопытства.

Но теперь он почувствовал, что перед ним опытный и умеющий собой владеть противник. «Это и есть автор фельетона... М. Васильев?»

Однако Шендриков не хотел показать, что речь Васильева его заинтересовала. Весь вид его как бы говорил: «Ну что вы еще можете сказать после меня? После меня!»

— Я учитель естественной истории,— продолжал Михаил,— и я всегда разъясняю своим ученикам, что человек, как и все живое, крепко держится за жизнь. Конечно, для того, чтобы жить, человеку прежде всего необходима пища, одежда, жилье. Нелегко отстоять жизнь на нашей многострадальной земле.

Шорох пробежал среди слушателей, а Шендриков, победоносно оглянувшись, высокомерно зааплодировал.

— Вопрос в другом: как добыть свое право быть счастливым, свое право быть человеком. Неужели вы думаете, что господин Ротшильд добровольно отдаст вам хоть ломаный грош? У него, как говорят в России, зимой снега не выпросишь...

— Что верно, то верно...

— Да, это верно,— продолжал Михаил.— Но это не значит, что он не пойдет на уступки... Пойдет, если ему это будет выгодно. Он не пожертвует и ломаного гроша, но не пожалеет и тысячи, если ему пужко будет вас купить. Да, товарищи, купить!

Кто-то выкрикнул:

— Мы не продажные!

— Мы своего требуем!

— Вот именно — требуем,— подхватил эти слова Васильев.— Своего? Да полно! Своего ли? Нет, кто малым сыт, тот недостойн большего! Не подачки пужпы рабочему классу, не кусок хлеба. Рабочий класс не просит, он требует, он борется! Не просто за кусок хлеба, а за то, чтобы этим хлебом распоряжаться самим. За то, чтобы свергнуть тирапов и самому стать хозяином своей судьбы. К этому зовет вас

социал-демократическая рабочая партия. К этому зовут вас большевики!

Раздались аплодисменты, свист, крики «правильно», «молодец».

Васильеву с трибуны видны были те, кто аплодировал, и те, кто свистел. Свистунов было больше.

— Если с нами по-хорошему, и мы по-хорошему...

— Нам жить дай — и мы не кровожадные...

— Много ли нужно рабочему?

— Вот-вот, — закричал Васильев. — Тут кто-то сказал: много ли нужно рабочему? Отвечу: много! Очень много! Весь мир. Потому что весь мир создан вашим трудом, товарищи! Будьте же достойны своих рабочих рук, уничтожьте тиранов, которые пабивают за ваш счет свою мощну. Ваше счастье — в ваших политических правах. Вот почему большевики провозглашают: «Долой тиранов! Долой царизм! Да здравствует свобода!»

Эти слова как бомба разорвались в цехе. Видно, прочными были стены на заводе Ротшильда, если выдержали поднявшийся шум.

Когда стали расходиться, Шендриков, чувствуя, что аудитория уже не единодушна, подошел к Васильеву и громко, чтобы все слышали, сказал:

— Насколько я понимаю, мы с вами члены одной партии?

— Насколько я понимаю, — так же громко, во всеуслышание ответил Васильев, — мы с вами состоим в разных фракциях одной партии. Пока еще одной и той же...

И он, повернувшись, пошел туда, где его ждали Джапаридзе и Фиолетов.

А следом, стараясь не отстать и не очень приближаться, шел небольшой человек в мусульманской шапочке.

За первым же поворотом Михаил неожиданно для себя увидел жену.

— Маруськ, ты как здесь очутилась?..

— Я больше никогда не оставлю тебя одного. Ты узнал воп того, пу, этого...

Васильев даже не посмотрел,— он знал, о ком говорила жена.

— Конечно, узнал, Маруськ... Но что поделаешь?

Валя Фиолетов сказал тихо:

— Холуй Исламбека. Бабаев. Ничего, далеко не пойдет.

И он резко повернулся к филеру. От неожиданности тот застыл как вкопанный...

— Бабаев,— сказал Ваня.— Ты меня знаешь?

— Знаю.

Фиолетов поднял кулак:

— А это знаешь?

— И это знаю, Ваня...

— Вот и ступай своей дорогой. Еще раз увижу — ребра посчитаю.

— Нишиво... Я пишиво...

В Белый город они отправились порознь, твердо условившись завтра встретиться снова. Алеша Джанаридзе и Валя Фиолетов обещали познакомить Михаила с Александром Митрофановичем Стопани.

— Между прочим,— сказал Алеша,— оп ваш земляк, в Кисловодске родился...

— Да, и довольно близкий сосед... Я — в Пятигорске.

Домой Васильевы вернулись поздно. Михаил не сомневался, что о его сегодняшней речи будет доложено куда следует: он уже понял, что «Черная шапочка» не случайно появился на собрании в Балаханах. Интересно другое: почему? Выступления Шендриковых проходили довольно часто при полном

попустительстве хозяев и властей. Значит, не Шенд-риковым интересовался господин Бабаев.

Марию снова охватило беспокойство.

— Мне страшно,— говорила она,— у него такой бандитский вид.

Михаил рассмеялся.

— Не бойся страшных с виду, бойся страшных изнутри. Как тебе нравится мой афоризм?

Но Мария Андреевна не приняла шутку. Она сказала решительно:

— С завтрашнего дня иду работать. Не могу больше сидеть дома и думать, дождусь я мужа или нет.

— Маруськ, пора бы привыкнуть...

— Разве к такому привыкают?

Она помолчала несколько минут, а потом спросила:

— Скажи, Михаил, может быть, и от меня была бы какая-нибудь польза твоему делу?

Он хотел отшутиться, дескать, в родильном доме от акушерки Васильевой больше проку, по спохватился.

Михаил посмотрел на жепу так, будто видел ее впервые. Нет, это была она, его Мария, Маруськ, которой посвящал он стихи, с которой скитался по Бессарабии и Крыму. Вот этот ровный, словно выточенный из слоновой кости, носик, эта чуть вздернутая верхняя губа, эти чему-то всегда удивляющиеся глаза... Он узнал бы их среди сотен, среди тысяч. А волосы, зачесанные назад, мягкие и добрые... Он любил их шоколадно-каштановый цвет, их нечочуную пажность и даже запах, пи с чем не сравнимый...

Она хранила все, что папоминало о зарождении их любви. И эту записку на желтом тетрадном листочке: «Наш мир — арена вечной борьбы, и для каж-

дого живого существа не может быть величайшего счастья — это знать, быть уверенным, что есть другое около нас существо, на которое можешь вполне положиться, которое желает тебе добра и не предаст коварно в последний момент. М. Васильев — дорогому Маруську...»

Это было давно... Ах как давно! Он ведь уже совсем старый, Михаил Иванович Васильев, ему в пылшем году минуло двадцать семь лет...

Ему ни разу не удалось побывать в местах, где родился, с тех пор, как покинул он Пятигорск. Но в памяти отчетливо встает не родной дом на взгорье, а краснокаменный забор военного госпиталя. Здесь служил его отец, казак, каждому встречному напоминавший о своем унтер-офицерском чине... Даже маленькому Мише было стыдно перед сверстниками, когда, возвращаясь домой, пьяный отец орал на всю улицу:

— Ать-два, ать-два, левой, левой...

Тихая, терпеливая мать всегда старалась, чтобы ее дети — Алеша, Саша и младший Мишенька не видели ее слез после жестоких побоев пьяного мужа...

А унтер, забавляя праздных курортников, горланил им песни про войну, про то, как возвращались из боя козаченьки, как везли в телеге последнего оставшегося в живых стапичника, безногого и безрукого. За эту жалобную песню требовал денег на помин казачьей души, а если кто говорил «иди с богом», буяпил и ругался, бил себя в грудь и, обливаясь горючими слезами, сетовал на людскую черствость...

В минуту редкого протрезвления, устало возвращаясь домой после черпных работ на госпитальном дворе, он потчевал младшего сына длинной конфе-

той-соломкой, прозрачным переваренным сахаром в яркой бумажной сбертке...

— На, ешь, лакомься, цыпленок... Ты знаешь, что такое березовая каша? А их благородия шпицрутены? Не знаешь? Моли бога за это. Вот вырастешь, станешь офицером и будешь хлестать таких недостойных, как твой отец. Р-р-раз по морде — одна конфетка, р-р-раз — другая...

Мать в таких случаях горько вздыхала; она тоже мечтала о том, чтобы ее сын стал офицером, но, конечно, не таким, как представлял ее муж. Однако эту свою мечту она считала песбыточной; где уж им, голытьбе, до такого счастья дожить...

Алеша и Сапа в прогимпазии не учились, подолгу исчезали из дому — подалее от пьяного отца и его лубоев.

Младшего сына отец бил редко, — очевидно, не представлял себе, как можно поднять руку на будущего офицера. И только однажды случилось такое, чего ни отец, ни сын ожидать не могли...

Мишутка все время старался быть около матери, она для него была святым человеком. В самом деле, переносить издевательства пьяпицы не всякой было под силу. А она терпела. Но, как выяснилось, до поры...

Однажды, играя во дворе, Михаил услышал пьяное пение отца. Быстро собрав свои самодельные игрушки, он заторопился домой: ему всегда тяжело было сносить насмешки соседей над его родным отцом, стыдно слышать обращенное к отцу «ваше пьяномордие» или «унтер-генерал без штанов». В такие минуты мальчик забивался куда-нибудь в угол или под кровать, чтобы ни отца, ни мать не видеть, не показывать им своих горлящих от стыда и горя щек...

На этот раз отец был разъярен: за пьяный прогул с него, дворника Васильева, комендант госпиталя приказал взыскать штраф. Отец ругался последними словами, стучал по столу, грозился рассчитаться с этим мерзким комендантешкой в темном закоулке.

— А ты чего молчишь? — набросился он на жепу. — Чего глаза вылупила? Ишь, черномазая...

— Так ведь за дело он... — осмелела жепка. — Хоть бы на работу-то исправно приходил...

Миша редко слышал, чтобы мать перечила отцу. И где-то в душе он считал, что так и должно быть: отец — глава семьи, его слушаться нужно, даже такого. Но если уж мать сказала что-нибудь поперек, значит, певтернеж ей больше.

И тут унтер разошелся не на шутку.

— Ах ты басурманка черномазая, — кричал он. — Забыла, каких ты кровей? Забыла, что пленницей была? Что ненормальную родню твою кабардинскую шашкой вырубил? И ты бунтовать вздумала? Убью! Зарежу, басурманское твоё отродье...

При каждом скандале отец всегда попрекал мать тем, что она не казачка, не русских кровей, что взял ее бабу в плен русский казак еще песмышленной девчонкой. Говорят, что так оно и было. Диковатой показалась русскому казаку кабардинская девчонка, но постепенно привык к ней казак и стала она в его семье своим, родным человеком. А когда выросла, расцвела так, что люди восторгались: истинная красавица, как с иконы сошла. И умная, и веселая, и работающая. Полюбил ее казак, как родную дочь, настолько полюбил, что за родного сына выдал замуж. Ах, если б знала она, как тяжело будут попрекать ее внучку, скорее бы в омут бросилась.

Хоть обрусела и бабушка, и дочери ее, а тем более внучки, хоть имена у них русские, а пет-пет, да и

напомнят им о басурманском происхождении... Ведь и православная она. И его, Мишу, в церкви крестили. Мать сама читала ему о том, что «1876 года, 29 октября, у отставного унтер-офицера Ивана Васильевича Васильева и его законной жены Евдокии Прокопьевны родился сын Михаил. Таинство крещения того же года совершил священник Пятигорского военного госпиталя Алексей Шаров. Восприемниками были: отставной вахтер Симеон Иванов Сухомлинов и горячеводской станицы казачка Кижова Ольга Александровна». И дети ее крещеные, и сама она крещеная.

— Ты же русская? — спросил Миша как-то у матери.

— Русская, — ответила она. — Да только какая разница. Вон в соседях живет татарин, а жену свою никогда не обидит. Не в кровях дело, сынок.

...Мальчика знобило. Он слышал, как сдавленно рыдает мать, как скрежещет зубами пьяный буйный отец... Потом, спотыкаясь и покачиваясь, с белыми, ничего не видящими глазами, отец стал паступать на мать...

Вдруг случилось неожиданное. Миша выскочил из своего убежища и что есть силы зубами вцепился в ногу отца. От неожиданности опешил, оторопел отставной унтер, не подозревавший о присутствии сына.

— Отпусти, окаянный... Убью, щенок.

Но Миша и сам уже отпустил отца, отскочил от него и в воинственной позе напряженно застыл возле матери.

Видно, сына все же любил этот необузданный горький пьяница. Он смягчился быстро — то ли жалко стало мальчишку, то ли умилился он его дерзости...

— Пу чего ты? Сморчок, а туда же, на отца... Под кроватью прячется, дурак... Собака ты, что ли?

Миша никак не мог прийти в себя. Растроганная защитой сына, мать нежно гладила его голову.

— Не дам,— выговорил наконец мальчик... Он и сам не знал, чего именно не даст, но теперь уже твердо решил, что никогда не простит отцу его несправедливости.

...Отец добился все-таки своего: сына приняли в прогимназию. Он сам повел его в красное, выложенное из жженого кирпича здание у городского сада, с гордостью вышагивал по широким светлым коридорам...

А потом, на улице, с пьяными слезами умиления рассказывал, что смилостивилось над ним печальство и позволило сыну в прогимназию поступить. И что дождется он, вот те крест, дождется, когда станет его Мишка офицером и будет всякую нечисть крушить...

А через год дворник и отставной унтер-офицер Иван Васильев бросил семью, оставив ее без средств. Мать вынуждена была зарабатывать на жизнь стиркой белья. Старшие ее дети Алеша и Саша пошли в батрачопки к богатым казакам в станицу, а младшего из прогимназии она не забрала: способного мальчишку, проявившего особое прилежание и к наукам рвение, освободили от платы за обучение. В третьем классе он и сам начал зарабатывать, давал уроки первоклашкам, и так это у него хорошо и серьезно получалось, что даже бывалые учителя диву давались.

Успевал он по всем предметам отлично. И когда в честь Михаила Юрьевича Лермонтова была установлена специальная стипендия, она была торжественно присуждена Мише Васильеву, ученику Пятигорской прогимназии.

Миша был счастлив. Он так любил поэта и так гордился стипендией его имени, будто сам Михаил Юрьевич одарил своего тезку вниманием. Гордился даже тогда, когда поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

В университете Михаил учился увлеченно, с удовольствием. Он приходил на экзамены с таким настроением, с таким блеском в глазах, что профессора невольно улыбались: даже среди лучших студентов факультета Михаил отличался оригинальностью мышления и глубиной знаний.

Действительно, науки давались ему легко, схватывал юноша все на лету, одарил его бог памятью отменной. Но учиться все-таки ему было трудно: казенного кошта, который присылала ему Пятигорская мящанская община, едва хватало на скудное питание. А ведь нужно еще покупать книги, посылать понемногу матери, оставшейся совершенно одинокой, бросил ее пьяпица-муж, разъехались по разным углам России сыновья... Алешу призвали служить в армию, а Саша нанялся кучером к какому-то пьяному пехотному майору и укатил с ним на Урал, повабыв проститься с матерью... О жизни его она узнала лишь из короткого письма, в котором Саша написал, что работает за харчи да одежонку конюхом и еще присматривает за псарней.

По старой традиции бедных студентов Михаил давал богатым недорослям уроки математики. И все-таки не хватало денег — уроками много не зарабатываешь. Да к тому же в летние месяцы богатые родители увозили своих сынков на дачи или на воды и оставался студент без заработка. Многие его товарищи разъехались по домам, под родительское крылышко. А Михаилу ехать некуда: мать уже поки-

нула домик, в котором они жили, — с уходом отца ей предложили убраться из казенного госпитального помещения, где обычно проживал дворник... Она ушла к чужим людям на самую трудную работу только за пропитание да ночлег. Деньги, которые присылал ей Михаил, эта изможденная, уставшая женщина на себя не тратила: закончит учебу Мишутка, женится — вот и нужна ему будет эта сбереженная копеечка.

Михаилу она отправляла письма короткие — неудобно просить чужих грамотеев длинно писать, — дескать, живу исправно, не беспокойся, учись хорошо, а главное, в еде себе не отказывай...

Михаил читал эти письма в три строки, и сердце обволакивала неодолимая тоска, щемящая боль. Мама... Как несправедлива к ней жизнь, как горька ее женская судьба!.. Сколько раз хотелось ему бросить все и уехать к пей, чтобы быть рядом, подставить ей свое сыновнее плечо! Но с чем он поедет, без гроша в кармане, недоучившийся, ничего не умеющий студент?

Очередным каникулярным летом Михаил решил пристроиться к делу. За два свободных от учебы и ренетиторства месяца можно кое-что заработать. Так поступали многие студенты; самые сильные шли на железнодорожную станцию грузить тяжелые белые мешки с мукой, кули с солью. Михаил тоже попытался пойти с ними, но в первый же день понял, что эта затея не по нему: ни силой, ни сложением своим не вышел он для такой работы. К нему подошел высокий, широкий в плечах мужчина и тихо сказал:

— Видать, приспичило, малец, если с таким здоровьем за мешки взялся... Как зовут-то?

— Михаилом.

— Тезка, значит... Смешно... Я Михаил, и ты Михаил...

Васильев не понял, что же тут смешного.

— Я вон какой, а ты...— пытался объяснить богатырь.— Ну ладно, будем звать друг друга так: Михаил-большой и Михаил-маленький...

Выглядел Михаил-большой живописно. Его густые кустистые брови были белыми от мучной пыли. На нем казался маленьким серый с черными пуговицами пиджачок, под которым виднелась голая грудь. А на голову он надевал сложенный угол в угол мешок, из которого получался колпак с длинным, болтающимся по спине балахоном.

— Вот что, Михаил-маленький,— сказал богатырь,— здесь ты много не заработаешь. Приходи-ка утром на Каланчевку, в железнодорожные мастерские. Я ведь только по ночам здесь работаю, а днем там слесарю. Словом, пристрою к какой-нибудь работе. Тоже, конечно, не сахар, но все полегче, чем здесь...

Он еще раз оглядел студента, улыбнулся и сказал:

— Тоже, гляди, Михаил... Ладно, заговорился я. Надумаешь — приходи в мастерские, спросишь там слесаря Булгакова.

Ходить па ночные заработки Михаила-большого заставила пужда: непросто было прокормить большую семью, шестерых детей мал мала меньше. В мастерских работал он с утра часов до восьми вечера, приходил домой, спал часа два — и в ночь па станцию. Васильев удивлялся, как это можно спать по два-три часа в сутки и при этом оставаться и бодрым, и свежим и еще шутить; вообще его новый знакомый оказался человеком мягким и добрым.

Булгакова в мастерских рабочие уважали. Как-то по-особенному, немного заискивающе, относился к нему даже мастер — то ли побаивался, то ли ценил в нем хорошего слесаря...

Васильев не обижался, когда его называли Мишей-маленьким; он действительно чувствовал себя здесь, среди этих суровых мужчин, желторотым юнцом. Он восторгался тем, как ловко они владеют инструментом, как, словно шутя, мастерают сложные детали, как легко ворочают тяжеленные вагонные колеса. Но особое внимание обратил Васильев на то, как гордятся они своим трудом. В их устах слова «рабочий», «слесарь», «токарь» приобретали особый, значительный смысл.

Михаил как-то поделился этим своим наблюдением с Булгаковым. Тот внимательно посмотрел на студента, будто примериваясь к чему-то, но ничего не ответил по существу. Только спросил:

— А тебе твое студенчество нравится?

— Это ведь временно, — ответил Миша. — Не будешь учиться — человеком не станешь...

— Ишь ты, человеком... Мудро это у тебя получается. А мы-то что же, не человеки, коли университетов не кончали?

Работа у Михаила была трудная и действительно не сахар: он катал по рельсам тяжелые колесные пары и тележки на колесных парах. Сгибаясь в три погибели, Михаил напрягал все свои силы: болели и спина, и ноги, и руки. К тому же поначалу непрерывно падали с него маленькие металлические очки, и ему пришлось привязывать их, чтоб держались они попрочнее.

Но самое неприятное ощущение было от того, что, как ему казалось, все вокруг замечают его слабость. Мастер, высокий блондин с бесцветными глазами,

глядя на юношу, хитро улыбался: он привык видеть, как быстро сдаются вот такие, старательные... Но этот не сдавался. Прикатив один скат, он вместе со своим папаршиком бежал ко второму и, упираясь в него руками, катил, катил, катил...

— Ты что это крючком ходишь? — спросил однажды Булгаков. — Хочешь навсегда сгорбатиться?

Михаил-маленький не ответил: как расскажешь, что не можешь не только разогнуть спины, но что есть-пить перестал, а доползешь до своей студенческой койки — так и свалишься замертво.

— Ничего, это с непривычки так. Только ты не ходи ссутулившись. Прикатил скат — и распрямись, пока за другим идешь. Рабочему человеку не пристало ходить согнутым: не лакей он, не холоп, не просит на паперти.

«Опять — «рабочий человек». У Булгакова всегда эти два слова стоят рядом», — отметил про себя Михаил-маленький.

Постепенно привыкал студент к нелегкому своему делу и не жалел, что пришел в эти мастерские, что послушался совета Михаила-старшего. Хотя деньги получал он здесь небольшие, Васильев уже твердо решил, что на себя истратит лишь столько, сколько нужно, чтобы подготовиться к зиме: почиит сапоги, уплатит за учебу. Остальное отошлет матери. Он понимал, что не жалуется в письмах мать лишь потому, что не хочет беспокоить сына. Даже денег просила не присылать, мол, зачем они, и без них сыта и обута. Ах, мама, мама...

С рабочими Михаил-младший сошелся лишь после того, как сам почувствовал себя мастеровым: научился и работу выполнять исправно, и не ходить согнутым в три погибели. И тогда увидел он, что не такие

58 уж сумрачные лица у рабочих, не такие уж молча-

ливые они люди. А однажды Булгаков даже спросил: «Ну, расскажи, малец, чему тебя в твоём университете учат».

Миша как мог попроще рассказал о математике, о химии, о естествознании, что готовится он стать учителем...

— Учителем естествознания — это хорошо. Только и другие учителя есть на свете. Ты вот сегодня после работы не торопись домой. Я по средам не хожу на станцию мешки грузить, так что вместе пойдём домой. Добро?

...В тот вечер Михаил Васильев впервые узнал, что такое рабочий кружок. Сколько он повидает их в жизни, сколькими будет руководить сам, но именно этот кружок в железнодорожных мастерских на Калапчевке навсегда останется у него в памяти.

Руководитель кружка, молодой человек в рабочей одежде, с карапдашом и желтым складным измерителем в верхнем кармане черной куртки, с простым загорелым лицом и короткими усиками, не был похож ни на учителя, ни тем более на университетского профессора. И звали его необычно — товарищ Леонид; ни отчества, ни фамилии. Говорил он просто и, как показалось Михаилу поначалу, наивно, но постепенно, вдумываясь в слова Леонида, он начал понимать, насколько это непохоже на то, что ему до сих пор приходилось слышать.

Рабочие слушали Леонида с таким вниманием и интересом, что Михаил даже удивился. Оказывается, есть у этих людей ещё одна жизнь. Не только поработать, поесть да поспать. У них есть другие интересы, есть мечта, которая и делает их людьми. Не потому ли так гордятся они званием «рабочий»?

После занятий Леонид подошел к Михаилу.

— Студент?

— Студент.

— Мне рассказывал о тебе Булгаков. Говорит, паренек ничего себе. Иль ошибается?

Михаил растерялся от такого прямого вопроса.

— Не мне судить,— пожав плечами, ответил он.

— Это конечно... А почитать вслух рабочим сумеешь?

— Смотря что...

— Я тебе дам книжечку, ты прочти ее. Не понравится — верни. Но если выдашь, имей в виду: и мне, и Булгакову в тюрьму идти. Так возьмешь или не возьмешь?..

Он взял скорее из любопытства, а когда прочитал, понял, что есть в этой маленькой книжке с длинным названием «Манифест Коммунистической партии» магическая сила. Он перечитал ее еще и еще раз, поражаясь логике и глубине каждой фразы, каждого слова.

Может быть, в другой раз книга эта не произвела бы на Васильева такого впечатления, если бы не познакомился он с Михаилом-большим, с рабочими железнодорожных мастерских. Этими мыслями и поделился он, когда шел рядом с Булгаковым с работы. Ему давно хотелось побывать дома у своего старшего товарища; Васильеву почему-то казалось, что похож этот дом на их пятигорское жилище.

Картина, которую он увидел, ошеломила его. На поржавевших заброшенных железнодорожных путях стояли деревянные, покосившиеся от времени теплушки. Многие давно уже были без колес, иные даже совсем потеряли вид вагонов: к ним прилепились самодельные тамбуры, на крышах торчали почерневшие от копоти трубы-дымоходы. Между теплушками на протянутых веревках сушилось белье. Никогда прежде не приходилось Васильеву бывать в этом за-

коулке Москвы, он даже не подозревал о его существовании. Да и можно ли назвать закоулком это селение на ржавых рельсах?

— Ну вот и прибыли в наши палестины,— сказал Булгаков, остановившись возле теплушки, потерявшей от времени, солнца и дождя свой первоначальный цвет. К дверям ее была приставлена небольшая лесенка. Вагон был довольно длинный, а возле него стояла похожая на маленький паровозик вылепленная из глины печка...

Васильеву сначала показалось, что теплушка пуста, но только прозвучал голос Булгакова, как со всех сторон, даже из-под колес, с криком и радостными воплями повыскакивали голопузые ребяташки.

— Батя пришел...

— Батяня, наш батяня...

— Ты мне гайку принес?

Они облепили его, как мошкара, палипли па руки, плечи, обхватили за ноги, и что-то вдруг дрогнуло в душе Миши Васильева: никогда в жизни не испытывал он такой любви и такой привязанности к отцу своему и ничего теперь, кроме чувства стыда за своего родителя, в сердце у него не осталось.

— Ну ладно, комары, разлетайтесь. Видите, ко мне человек пришел. Его зовут дядей Мишей. Он студент, грамотный, умеет книжки читать.

Не то что любопытство — восхищение прочитал Михаил в глазах детей при этих словах, и ему стало неловко.

— Я в следующий раз обязательно вам книжку припесу и прочитаю.

— Про Ивапушку-дурачка? — полюбопытствовал маленький карапуз.

— Можно и про Ивапушку,— согласился «дядя Миша».

Из вагона вышла маленькая, щуплая женщина со сморщенным лицом. Он подумал, что это мать Михаила-большого. Женщина подошла к Мише-маленькому, подала руку, улыбнулась, и вдруг стало ясно, что она еще не старая — от силы тридцать — тридцать пять лет. «Да ведь это жена...» — сообразил Васильев.

— Зовите меня Надей...

И вдруг Васильеву показалось, что она очень похожа на его мать, хотя внешнего сходства не было никакого. Чем же? Ранними морщинами? Тоской в уголках глаз? Или добротой, проступающей в ее сдержанной материнской улыбке?

Ужинать Михаил наотрез отказался, сославшись на то, что только-только съел пирожки, купленные на Калапчевке у торговки. Он придумал первую попавшуюся причину, потому что никак не мог отрешиться от мысли: если он примет приглашение, кто-то из детишек останется голодным.

— Да вы хоть в дом зайдите, — настаивала Надя. Он был голоден, а из теплушки соблазнительно пахло вареным картофелем и укропом. В этот вечер Михаил не засиделся у Булгаковых. Когда недолгий ужин закончился, он, убедившись, что их никто не видит, вынул спрятанную под рубанком бронюру.

— Это я уже прочитал рабочим. Скажите товарищу Леониду, пусть принесет другую.

— А Леонид больше не придет, — тихо сказал Булгаков.

— Почему? — удивился Васильев.

— Арестовали его... Так что не будет у нас пока больше кружка...

Слова эти, сказанные просто и обыденно, потрясли Михаила-маленького.

— Как это — арстовали? За что?

— За то самое... За книжицы, которые он читает рабочим. Его на другом заводе накрыли вместе с кружком. Всех забрали...

— Значит, и у нас такое могло случиться?

— Могло, конечно. Так что... как тебе сказать... Может, оставим это занятие?

— То есть как — оставим? Разве нам другого руководителя не дадут?

— Кто же тебе его даст?

— А вы?

— Ну, это для меня многовато... Не по Сеньке шапка. Вот если б ты...

— Я? — удивился Михаил. — Мне ведь еще самому многое понять пужно.

— Вот давай вместе разбираться. Сначала прочтешь, а потом сообща и подумаем... А? Иль, может, забоишься?

Михаил не обиделся на Булгакова за это слово — «забоишься». Уж слишком неожиданным было само предложение.

— Я должен поразмыслить, подготовиться... Это ведь очень серьезно... И потом — где брать литературу?

— Ну что ж, ответ мне по душе. Думай. А про книжки не твоя забота: у меня их брать будешь. Ты нам вот эту разъясни получше.

Михаил прочитал название: «Что такое «друзья парода» и как они воюют против социал-демократов?»

— Хорошо. Я попробую.

Эта книга потрясла Михаила не только содержанием, но и самим фактом своего существования.

Значит, есть в России люди, которым близка и дорога судьба народа, того самого рабочего класса, к которому теперь причислял и себя.

Но запытая кружка в очередную среду Васильев не провел: он объяснил Булгакову, что не готов, что ему самому нужно многое прочитать, понять, и просил принести еще «таких» книг.

Булгаков ждал, не торопил парня. И вот однажды Васильев сказал ему:

— В следующую среду я, пожалуй, смогу...

Михаил-большой внимательно, точно впервые, посмотрел на студента и едва заметно улыбнулся.

— Попробуем,— сказал он.

Васильев не рассчитывал на то, что придет много народу: об аресте товарища Леонида рабочие уже знали. Одни могли не прийти из осторожности, другие — из чувства недоверия: что может рассказать им этот малец...

Но, к удивлению своему, Михаил увидел, что людей собралось достаточно.

— Вот передо мной лежит книга,— начал Михаил,— и мне предстоит подробно рассказать вам о ней. Но прежде позвольте прочитать одно стихотворение. Называется оно «Железная дорога», и написал его русский поэт Николай Алексеевич Некрасов.

Михаил уже давно решил, что именно с этого начнет свои запытия — и потому, что по содержанию оно подходит, и потому, что название у него такое близкое именно для этих людей, работающих и даже живущих на железной дороге. Он понимал, что Некрасова знают многие, что народ поет его песни. Но ведь когда он сам перечитывал запово это стихотворение, появились же у него мысли, которые прежде не возникали. Ведь перекликались с «Манифестом» слова о народе: «Выпесет



все — и широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе...»

Васильев читал, чувствуя, как метко попал он в цель: «В мире есть царь: этот царь беспощаден, голлод названье ему... Он-то согнал сюда массы народных...»

Его не перебивали, но когда он закончил, то почувствовал, как близко к сердцу приняли люди строки Некрасова. Особый отклик вызвали слова о народе: «...вынес достаточно русский народ. Вынес и эту дорогу железную — вынесет все, что господь ни пошлет!» Кто-то стукнул по столу и крикнул: «Хватит, натерпелись», кто-то остудил его — чего, мол, горячишься. Там ведь и про дорогу ясную сказапо.

Эти слова и использовал Михаил для начала занятий.

Книга, о которой он собирался рассказывать, как раз об этом: кто же истинные друзья рабочего класса — те, кто бьет себя в грудь и называет «другом народа», или социал-демократы, для которых нет в жизни другой цели, кроме борьбы за освобождение рабочего класса?

«А ведь разобрался малец,— думал Булгаков.— Самую суть схватил. Вот что значит образованность».

В самом конце занятий с задней скамейки раздался вопрос:

— А ты-то сам кто будешь — социал-демократ?

Что мог ответить тогда Михаил? Конечно же симпатии его па стороне социал-демократов. Но вправе ли он уже причислить себя к ним? Не будет ли это выглядеть самонадеяпностью и бахвальством? Готов ли он взять на себя такую ношу и такую ответственность?

Он сказал прямо и честно:

— Пока не знаю. Это ведь на всю жизнь.

После этого занятия его больше никто в мастерских не называл Михаилом-маленьким или Михой, а величали по имени-отчеству — Михаил Иванович.

Несчастье пришло неожиданно-негадано. Утром, придя на работу, Миша услышал:

— Там Булгаков помирает, тебя к себе зовет.

Сначала Васильев не поверил: богатырь Булгаков — и вдруг «помирает».

— Да беги же, беги, с мастером договорился.

Михаил бежал, спотыкаясь о шпалы. Какие только мысли не мчались наперегопки в его мозгу, и одна казалась нелепее другой...

Он добежал до знакомого вагончика, вскочил по лесенке внутрь и застыл от неожиданности: прямо на полу посреди теплушки лежал, вытянувшись во весь свой богатырский рост, Михаил-большой. Вокруг него, ничего не понимая, сидели дети, и только старшая, Лида, девочка лет двенадцати, притулилась около матери.

Надя сидела у изголовья Булгакова и молча, покорно смотрела ему в лицо.

Глаза Михаила были закрыты, он дышал тяжело, хрипло, прерывисто, но дышал.

— Что случилось? Когда?

Надя не ответила, а только сказала:

— Священника бы...

— Да не священника, а доктора. Был доктор?

— Откуда же ему быть?

Михаил вспомнил, что по дороге, недалеко от мастерских, он видел белый флажок с красным крестом.

— Я сейчас,— крикнул он и стремглав бросился туда, где висел этот флажок.

В каменном двухэтажном доме его встретила девушка. Она преградила Михаилу дорогу, испуганно подняв руки.

— Что вы, сударь, сюда пельзя...

— Там рабочий умирает, скорее доктора.

— Нет сейчас доктора. Где умирает?

— Здесь, недалеко, на путях. Да скорее же!

— Мне не на кого больных оставить... Но я сейчас, сию минуту. Подождите.

Она о чем-то попросила старушку в белом халате и обратилась к Михаилу:

— Ведите меня, а сами потом возвращайтесь сюда. Сейчас придет врач.

Они добежали до теплушки, и Михаил повернул обратно, чувствуя, как теряет силы. Но доктора все-таки привел. Врач не столько осматривал больного, сколько оглядывался по сторонам, вздыхая и покачивая головой. Видно, жилище это произвело на него удручающее впечатление.

— Что же,— сказал наконец он,— положение серьезное, не скрою. Нужна операция, и возможно скорее. Больного необходимо немедленно доставить в больницу. Вот только...

Врач еще раз безнадежно взглянул на окружающую его нищету. Михаил понял:

— Вы не волнуйтесь. Я заплачу... Деньги у меня есть.

— Это ваш брат? — спросил врач.

— Нет, но это неважно.

Михаил заметил, как благодарно и восторженно взглянула на него сестра милосердия, и что-то теплое подкатило к его сердцу. А Надя посмотрела на Васильева скорее удивленно, чем с благодарностью.

Михаил так и не узнал в тот день, зачем звал его Булгаков, что хотел сказать ему. Надя лишь недоуменно пожала плечами. Не ведала она и о том, как страслась с мужем беда той ночью. Люди, которые принесли его, лишь тяжко вздыхали: непосильную ношу взвалил на себя мужик, вот и надорвался. А может быть, голод и постоянная бессонница подточили его силы?

Михаил вышел из теплушки вместе с сестрой милосердия.

— Спасибо вам,— сказал он, когда они шли по путям.

— Мне-то за что? Я, между прочим, и не сестра вовсе, а акушерка. И попали вы не в больницу, а в родильный дом. Это уж потом я врача пригласила...

Ах как непонятна, как таинственна жизнь. Кто бы мог подумать, что именно в тот печальный день, когда на грани смерти был его друг, встретит он эту девушку в белом халате, заглянет в ее доверчивые, добрые глаза и вместе посмеются они потом, вспоминая, как влетел в родильный дом запыхавшийся парень.

Законочатся летние каникулы, получит Михаил расчет, отправит, как обычно, деньги матери, остальные отдаст в рабочую кассу: надо же на что-то жить большой булгаковской семье. На починку обуви и оплату учебы он заработает потом, частными уроками...

Но не уйдет Михаил из этих железнодорожных мастерских, долго еще будет вести в нем марксистский кружок, разъяснять рабочим произведения Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина. Пройдет совсем немного времени, наступит 1898 год, и он, това-

рищ Васильев, с гордостью назовет себя социал-демократом.

И навсегда останется с ним эта девушка, которую все звали Марией, а он ласково Маруськом.

Занятия в университете продолжались, но теперь к увлеченности ими прибавилась потребность читать то, о чем профессора в своих лекциях не говорят. К удивлению и радости своей, узнал Михаил, что не он один среди студентов увлекается марксизмом. Книги Маркса студенты давали читать друг другу на ночь-две, от силы на три. Потому что книгу уже ждали другие. Идеи Маркса и Плеханова, идеи петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» уже властно овладевали умами...

Одно смущало Михаила: увлечение Марксом у студентов не всегда основывалось на реальном знании жизни. У многих за плечами не было того, что было у Васильева,— столь памятного и важного периода работы в железнодорожных мастерских, не было ощущения тяжести физического труда, непроходящей боли в спине, руках и ногах и вместе с тем гордости за то, что именуешься рабочим. Многие из студентов скорее увлекались Марксом потому, что это было модно, а не знать «Капитала» — даже стыдно. Он понимал, что знание Маркса еще не делает человека революционером. Вот почему он не бросил своего кружка, и каждую среду появлялся в железнодорожных мастерских. Теперь он чувствовал себя уверенно, он знал не только что разъяснять рабочим, но и к чему призывать их. И стали часто звучать на занятиях такие слова: «Долой царя!», «Долой пауков-капиталистов!», «Да здравствует освобожденный труд!» И часто после занятий рабочие пели:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Даже в характере Михаила многое переменялось: он как бы прочно встал на ноги, от робкого провинциального юноши не осталось и следа. Первым заметил это вышедший из больницы Булгаков. Он пришел на занятие и удивился той перемене, которая произошла в студенте.

— Не просить, а требовать, не вымалывать подачки, а силой брать свое, своим трудом созданное — это наше справедливое право. Не мелкие уступки нужны рабочим, а политические свободы, чтобы мы чувствовали себя полноправными гражданами России. Долой царизм! Только демократия, власть народа обеспечит свободу угнетенным людям земли.

Булгаков никогда не видел Михаила таким разгоряченным.

— Ну, здоров! Вот уж удивил! Спасибо тебе, парень. А я ведь думал — ты больше умом, чем сердцем...

Васильев ничего не ответил... Он смотрел на Булгакова и не узнавал. Михаил посещал своего старшего товарища в больнице, там, среди коек и простынь, бледность и тусклый взгляд человека кажутся естественными. Но сейчас... Куда девалась бывшая стать, сила, размах в плечах...

— Чего смотришь? — спросил Булгаков. — Укатали сивку крутые горки? Ничего, были бы кости, мясо будет. Мы еще не такие ноши на свои плечи взвалим. Спасибо тебе, спаситель. А за деньги разочтемся.

Михаил обиделся.

— Как вам не стыдно! Это же... Это же бессовестно — так говорить... Вы даже не понимаете, как я вам обязан, — горячился Михаил.

— Мне? Ну, это ты брось. Ты тут, я слышал, после моей болезни настоящую рабочую кассу организовал...

Да, это была правда. Именно тогда Васильев предложил от каждого заработка откладывать по десять копеек в рабочую кассу для помощи нуждающимся семьям рабочих. Он боялся, что железнодорожники откажутся, — ведь заработки и без того скудные. Но рабочие ухватились за эту мысль: никто из них не был убережен от того, что случилось с Булгаковым.

— Касса — это не главное, — кипятился Васильев. — Нужно, чтобы все понимали, все чувствовали силу рабочих...

— Молодчина ты, — заключил Булгаков. — Силу набрал, смелость появилась. Рад за тебя!

И он, как и прежде бывало, положил свою руку на плечо товарища.

Мария тоже заметила перемены в Михаиле, по это лишь усилило поселившееся в ее сердце чувство тревоги за него. И она почти не удивилась, когда однажды в их дом вошли жапдармы.

— Студент четвертого курса естественного отделения физико-математического факультета Московского императорского университета Васильев Михаил Иванович, по высочайшему повелению вы арестованы.

Он уходил из дома улыбаясь, — дескать, держись, Маруськ, не грусти, родная!

Родная... Больше года прошло с тех пор, как впервые встретились они. Как случилось, что обворожил, очаровал ее этот парнишка, внешне ничем не приметный — черпавый, щупленький, да еще в очках? Только вот под очками этими светились необыкновенные, огромные, требовательные, строгие и печные глаза. Она не в силах была сказать «нет», когда он попросил ее встретиться в первое же воскресенье.

Она не могла без улыбки вспомнить, как он повел ее в зоопарк и там так увлеченно и серьезно расска-

зывает о сумчатом кенгуру, что ей показалось, будто не в Москве они, а в далекой Австралии. С тех пор они встречались так часто, как могли, и где только не бывали! Но это первое свидание осталось в ее памяти навсегда.

Прежде чем Мария согласилась стать женой Михаила, она познакомила его со своим старшим братом Павлом. Он давно заменял ей отца. Когда-то Павел, сын бедных крестьян из Ярославской губернии, уехал в город на заработки, а затем помог ей поступить на акушерские курсы при родовспомогательном институте в Москве.

Познакомившись с Михаилом, Павел, однако, не торопился с ответом. Напротив, он предупреждал Марию, что ее жених выбрал себе путь тернистый, что будет ей с ним нелегко. Но когда услышал от сестры: «Но ведь я люблю его, Павел!» — улыбнулся, развел руками и сказал:

— Ну, тогда венчайтесь, черт с вами!

Так она стала Марией Андреевной Васильевой. Не справляли они пышной свадьбы, лишь два человека зашли их поздравить — Павел и рабочий железнодорожных мастерских Михаил Булгаков.

К счастливым дням первого года супружеской жизни примешивалась тревога: по вечерам Михаил часто уходил из дому или, не возвратившись с занятый, подолгу задерживался где-то. Она не спрашивала, где он был, знала, что муж не может рассказать ей ничего. Возвращался он обычно не один, с ним вместе шли почти всегда два-три рабочих, провожали его до самого дома и только тогда прощались. Этих людей Михаил называл товарищами.

И вот теперь арест.

роля Сербии Ф. П. Орлов удостоен высочайших наград и благодарностей...», а поодаль застыл в выжидательной позе подозрительный господин.

— Вот видишь,— говорил Васильев,— одного императора ему мало. Подавай еще короля Сербии... Знаешь что, Маруськ, у меня идея...

И он, резко повернувшись, так что застал филера врасплох, подошел к нему.

— Милостивый государь,— сказал он громко, обращая на себя внимание прохожих,— вам нравится эта вывеска? Два герба, две короны... Не угодно ли будет сфотографироваться с нами? За паш счет, разумеется...

Филер был ошеломлен. Он растерянно моргал глазами и, оглядываясь по сторонам, нервно бормотал:

— Что вы, господин учитель, постыдитесь своего мупдира! Я не имею чести вас знать. Мы незнакомы-с.

— Разве? А мне казалось, что мы знаем друг друга давно.

Кое-кто из наблюдавших эту сцену курортников недвусмысленно засмеялся.

— Что ж,— заключил Васильев.— Как вам будет угодно. А то мы с женой так привыкли к вам, что решили пригласить вас сфотографироваться вместе.

Он возвратился к дрожавшей от страха Марии.

— Ну-с, женушка, придется сфотографироваться самим. Нанесем-ка визит фотографу двора его императорского величества господину Орлову.

Она стоит теперь в бакинской квартире Васильевых, эта по-царски выполненная фотография. Муж спокойно, словно ничего не случилось, смотрит в аппарат, а она, наклонивши голову, не знает, то ли смеяться, то ли плакать.

...О это вечное чувство страха за мужа! Нет, она не может больше оставаться одна, когда он уезжает в Балаханы или Сабунчи. Она видела, как дикой кошкой смотрел на него этот мусульманин, как завертелся он юлой перед Ваней Фиолетовым.

— Мне надоело бояться, я тоже буду работать. С тобой. В одной партии. Могу быть связной, могу быть кассиром. Я все могу. Не могу более бездельничать и дрожать.

Михаил смотрел на жену и ласково, и удивленно: все те же добрые, доверчивые глаза, все те же волосы, которые пахнут цветущим по весне каштаном. И все же было в ней что-то новое, непривычное...

Он берег ее от того, чему сам посвятил себя целиком... Почему? Не эгоизм ли? Не желание ли быть спокойным за нее? Все его скитания были и ее скитаниями, его невзгоды — ее невзгодами, его заботы — ее заботами...

Он вдруг понял Марию, подумал о том, что ее могут арестовать, — и ему стало страшно...

Стачка

Абдаллу Бурапова рабочие звали Алексеем. Объясняли они это просто: и то и другое означало «божий человек». Одно — по-татарски, другое — по-русски.

Он и в самом деле был не от мира сего... Не волновало, не трогало его то, что происходило вокруг. Придет с работы уставший до изнеможения тартальщик, умоется, перекусит чем бог пошлет — и заберется на свои нары, на свое место, расположенное в самом углу темного глиобитного барака, будто от всего мира отгородится.

Он не сразу засыпал: промелькнет в сознании день минувший, удивительно похожий на все остальные, потом Абдалла воздаст хвалу аллаху за хлеб насущный и воду, потрогает руками, цел ли мешочек на груди... В том мешочке накопленные на промысле деньги. Немного их пока, а все-таки месяц за месяцем — и наберется то, ради чего приехал он в этот жаркий край, на этот окутапный воючей дымкой нефтяной промысел...

76 Что привело его сюда? Его, еще молодого человека, татарина из далекого волжского села? Сколько

молитв он произнес, сколько раз воздымал к небу руки, чтоб сжалился над ним аллах, чтобы помог ему добраться до самого Апшерона, куда вез их вербовщик, лишь изредка спускавшийся в трюм из своей каюты на самом верхнем этаже парохода компании «Кавказ и Меркурий».

И если наступала минута, когда качка становилась помельше и можно было вздохнуть свободней, вспоминал Абдалла совсем еще молодую жену свою Хабибу, трех дочерей и годовалого черноглазого Фатыха, удивительно спокойного для своего несмышленного возраста. Как там они? Хватит ли денег им на целый трудный год? Не обойдет ли своей милостью аллах его семью?

Об этом думал он постоянно, упрятавшись в свою берлогу.

Сюда он приехал по набору. Худой и костлявый вербовщик расписывал нефтяные промыслы так красиво и заманчиво, что Абдалла задумался. Нет, он не верил, что будет легкая работа,— он заранее считал заработок. Что ж, если даже паполовину правда все, что говорит эта худая лучина, можно за год скопить кое-что. А там — на все воля аллаха — и из нужды выбраться удастся. Ведь на дочерей земли не дают.

Теперь-то он знает, как тяжело достаются эти рубли. И все-таки платят здесь лучше, чем на механических заводах. Глядишь, на лошаденку заработаешь. А уж как она нужна, лошадь-то...

Много людей оттуда, с Волги, было навербовано на нефтяные промыслы. Они садились в Самаре, Саратове, Астрахани, а еще раньше — в Нижнем Новгороде и Казани.

По дороге, на длинном, изнурительном пути, люди пели свои протяжные, грустные песни. И, как детям, 77

рассказывали друг другу сказки... Ах как любил эти сказки Абдалла за их страшное начало и добрый, счастливый конец!

Сказки слушали все — и русские, и татары, и чувашаи, и башкиры. Каждый видел в них свою тайную несбыточную мечту.

Абдалла думал о своем маленьком Фатыхе. Дал все-таки аллах сына. Три дочери — какое это несчастье! С горя чуть не умерла его Хабиба; стыдно было на люди показаться. Ведь дочь — это обуза: ни работник, ни «душа». А землю община выделяла ко времени дележа только «па душу», — значит, на мужчин.

Здесь, на промысле, сказку услышишь редко. До нее ли усталому человеку!

Но с недавнего времени объявились какие-то люди, свои сказки начали рассказывать. Да сказки какие-то странные, за такие в каталажку угодить очень даже просто. И обязательно в них про царя, да про рабочих, да про свое, да про чужое... А какое ему, Абдалле, до царя дело? Правду говорят — до аллаха высоко, а до царя далеко.

Он забивался в свой угол и делал вид, что не слушает, о чем болтают там, на пижних парах.

И все же иногда чуткое его ухо улавливало: вот, мол, рабочий день слишком длинный и платят мало. Платят мало — это верно, по десяти рублей и то не пабирается. Ох, не мешало бы прибавить. А насчет длинного рабочего дня — это ерунда. Что он, гулять сюда приехал, что ли? Копечно, если бы платили, он бы мог и четырнадцать часов, и шестнадцать. Поспал шесть часиков — и снова на работу.

Мысль о рабочих часах вернула его к давней смешной мечте, о которой и рассказать-то людям было стыдно. Увидел он как-то в доме муллы часы необыкновенной красоты — с большой стеклянной дверью и

массивными медными гирями. Как замороженный смотрел на это невиданное чудо. И с тех пор запали они ему в душу. Вот оно, счастье,— часы такие в дом да лошаденку в хозяйство.

Там, внизу, на нижних нарах, говорили по-разному. У одних выходило, что главное — это уговорить хозяина платить побольше да кормить получше, а другие — о какой-то свободе, о том, что с хозяевами давно пора рассчитаться, мол, долой их к чертовой матери. Вот этого Абдалла никак понять не мог. Что значит — долой? А кто же платить будет? Управляющий? Так он еще хуже хозяина. Нет, уж тут извините, этого аллах не допустит. Хозяин есть хозяин. На него не то что руку поднять — косо посмотреть боязно...

Абдалла мерил жизнь не будущим, а прошлым, уже проверенным. Вспомнился ему случай из далекого пастушьего детства, случай, о котором и поныне вспоминать страшно... Интересно, помнит ли об этом его старый друг Раджап?

Буранов уже и запомнил, сколько лет ему было — то ли десять, то ли двенадцать, — когда пасли они с Раджапом коров на выпасах педалеко от села. И надо же было забраться корове в хлеба старосты — недосмотрели мальчишки! А он тут как тут, этот свирепый староста, которого в селе иначе не звали, как Рваная Ноздря. Соскочил он с брочки и давай хлестать кнутом Раджапа. Что случилось тогда с Абдаллой, он и сам так и не понял. Только отбежал шагов на пять да своим длинным пастушьим кнутом со свистом, как умеют только пастухи, с оттяжкой проехался по старостиной спине. Тут и Раджап не растерялся да своим кнутом — весело, играючи — р-раз... Еле вырвался от них Рваная Ноздря, вскочил на брочку и ну что есть силы гнать лошадей.

Долго ждали пастушата расправы, да так она и не пришла.

Может, стыдно было признаться старосте, что мальчишки его избили, а может, верно, на богатея плетка — лучшая паука. Только долго-долго в постоянном страхе жил после этого Абдалла; иногда казалось, лучше бы высек его Рваная Ноздря, лучше бы стерпеть порку, чем вот так бояться выйти на люди, опускать глаза при встрече с Раджапом и ждать, ждать наказания.

Вот и сейчас с ужасом вспоминает он Рваную Ноздю, когда речь заходит о хозяине. Не приведи аллах сказать против него худое слово, а потом дрожать, а то и, чего хуже, убираться вовсе отсюда в село — опозоренному и без денег. И как только у людей, у тех, что там внизу, смелости хватает!

— Эй, Буранов, чего сопишь, как сурок? — раздавалось снизу. — Вставай, Алексей, гость у нас. Послушай, что ли.

Знает он этих гостей, послушался. Опять начнут про царя да капиталистов. Нет уж, пусть без него. А может, послушать этого бородатого смельчака? Ишь, ученый, видать, в очках... А глазищи какие, в душу смотрят. Спускаться Абдалла не будет, а послушать, чтоб никто не видел, — это можно.

Бородач, которого рабочие называли товарищем Михаилом, разговаривал не так, как у них в Симбирской губернии; там мужики окают по-волжски, как булыжники катают, а этот говорит легко, точно река течет.

— Прошло то время, когда мы просили, вымаливали у хозяина лишнюю копейку. Теперь мы требуем, потому что есть в наших руках такое испытанное оружие, как забастовка. И не просто забастовка, а всеобщая. Это значит всем вместе в одно время бросить

работу и предъявить хозяевам свои требования... Пусть рабочие всей России знают, что мы здесь, в Баку, готовы поддержать их в борьбе за свободу. Пусть знают хозяева, что мы не рабы, что мы сумеем сообща постоять за себя.

— Скажи, кто платить нам будет за эти дни? — спросил один из рабочих. Абдалла знал его: это Хачатур, армянин. Он живет в Арменикенте. Мальчишка еще, не больше двадцати ему. А поди ж ты — правильный вопрос. Пока бастуешь — на работу не ходишь. Что же тебе тогда запишут в расчетную книжку?

— С этого мы паши требования и начнем: за время забастовки должны платить, как за рабочее время. Никто не должен быть рассчитан или арестован за забастовку.

Хорошо бы, если так, да только не согласятся они.

— Не скрою, станут сопротивляться. И тут уж все будет зависеть от нашей организованности. Если рабочие твердо постоят за свое, некуда будет деться хозяевам.

— Ладно, говори дальше, про требования.

— Мы должны требовать свободы собираться на промыслах и заводах, решать на них свои рабочие дела.

— Тоже скажешь — собираться. За день работы вымотаешься так, что поги не держат.

— Не перебивай.

— И рабочий день чтобы был восьмичасовой, чтоб работали буровые партии и тартальщики в три смены.

— Ну, это ты, Миха, лишнего хватил, — сказал старый рабочий-буровик — Абдалла не помнил его имени, но хорошо знал в лицо.

— Почему же? — отвечал бородатый. — Рабочие всей России требуют восьмичасового рабочего дня.

Неужели же останется в стороне бакинский пролетариат?

— Про заработную плату говори.

«Это Хачатур. Ах молодец мальчишка, — подумал Бурапов, — про жалованье не забывает».

Абдалле захотелось-таки спуститься с нар, но он не решался и только издали смотрел на товарища Михаила — что же ответит?

Васильев не впервые приходил в этот барак. Он знал многих рабочих в лицо: вот молчаливый Бурапов, вот черпоглазый Хачатур.

Но если Хачатур весь на виду, то Бурапов оставался для Михаила загадкой. Трус? Непохоже вроде. Жаден? Это возможно — из села ведь. Бывает, для таких собственность — цель всей жизни. Слишком уж бедны. Михаил незаметно присматривался к Бурапову.

На вопрос Хачатура Михаил ответил спокойно.

— Проблему заработной платы Бакинский комитет РСДРП всесторонне обсудил и решил так. Помесячно заработная плата должна быть: чернорабочим, дрогалам, кучерам, конюхам и караульщикам — двадцать пять рублей; рабочим буровых партий и ведерщикам — двадцать шесть рублей; маслепщикам и тартальщикам — двадцать восемь рублей; кочегарам и тормозчикам — тридцать рублей.

Абдаллу аж обожгло: хорошо бы! Его только удивило, что кочегарам и тормозчикам по тридцать рублей. Это за что же им больше, чем ему, тартальщику?

Остального Бурапов не слушал. Он уже считал, сколько это получится в год, если по двадцати восьми рублей в месяц получать.

И вдруг услышал свою фамилию.

— Чего — Бурапов? — словно спросонья спро-

— Пойдешь делегацией от рабочих?
— Какой еще делегацией? Куда идти-то?
— К хозяину, — сказал старый буровик. — Насчет требований.

— А я тут при чем? Вам надо — вы и идите. Я вашего разговору не слышал и слышать не хочу.

Он повернулся на другой бок, словно снова спать собрался. А все-таки слушал:

— Я ж говорил — труслив Алексей.

— Да уж работяга, его на промысле уважают.

— Ну и что? Такой и предать может. Только побольше заплати.

«Это опять Хачатур. Ах ты сопляк, я тебе покажу «заплати»».

Он резко соскочил с пар и оказался прямо перед тем, кого звали товарищем Михаилом. Тот смотрел на Бурапова с упреком. А может быть, это не упрек, может, понимает он, что к чему, — пельзя Абдалле, никак пельзя.

— Страшно? — спокойно, без укора спросил Васильев.

— А то нет! Конечно, боязно. Дети у меня в Симбирской губернии — три дочери и сын. Мне здесь не долго быть, чего же в драку лезть?

Он врет, врет, самому себе врет. И товарищ Михаил видит, понимает это. Почему же он молчит?

— Не слушал я вас, не слушал, — испуганно шепчет Бурапов.

— Я же говорил, — начал Хачатур.

— Чего — говорил? Дурак ты! Я тебе покажу — «побольше заплати», — сердито ответил Абдалла и выбежал из барака.

Вдогонку услышал:

— Такому нужно раньше себя побороть, а после уж с хозяевами бороться.

Случай с Бурановым заставил Васильева серьезно задуматься: ведь немало еще, ох немало таких молчаливых на промыслах. Одни считают себя здесь сепаратистами, другие и вовсе боятся голос поднять: война с Японией еще не закончилась, а попасть в дальневосточную мясорубку не хотелось.

И все-таки чем-то понравился Буранов Михаилу. Может быть, потому, что работает этот человек истово, себя не помня, а может быть, глаза его постоянно грустные вызвали сочувствие и симпатию. Васильеву этот татарин показался личностью символической: вчерашний крестьянин, окунувшийся в пролетарскую среду, никак не может сделать выбор между желанием накопить денег (что он там накопит!) и невольной солидарностью с другими рабочими.

Мария поняла мужа, когда он рассказал ей об этом человеке. Теперь она сама нередко встречалась с такими людьми. Бакинский комитет поручил ей свою партийную кассу; сколько раз, бывая на заводах, она видела, как борются в человеке «мое» и «общее», как тяжело ему иногда расстаться с копеечкой, даже если он понимает, что идет она ему же на пользу — в забастовочный фонд.

В жизни Марии за последнее время произошло важное событие: она стала членом Российской социал-демократической рабочей партии. Дважды было поручено ей переправить в Тифлис нелегальную литературу, напечатанную в типографии ЦК, которую подпольщики ласково именовали «Нинной»...

Васильев ехал на завод «Борн». Члены Бакинского комитета уже несколько раз пытались наладить там агитационную работу, но все неудачно. Управляющий Макалыш (Михаил так и не понял, имя это

или кличка) пригрел около себя доносчиков, которые сообщали ему обо всем, что творится на заводе. Один из этих шпионов, токарь Кильмаев, приходит до гудка, уходит последним, и от его глаз не ускользает ничто «недозволенное».

Именно к концу рабочего дня и стремился попасть Васильев. Он знал, что стычки с людьми Макалыша не избежать, но, может быть, это и к лучшему.

У проходной Михаила встретили Ваня Фиолетов и лобастый паренек, которого Васильев прежде не встречал.

— Зотов, — коротко представился парень, освобождая лоб от назойливо спадавших русых волос. — От Балахасского районного комитета.

Ваня Фиолетов все больше нравился Михаилу, все в нем было привлекательно: и белозубая улыбка, и удивительная способность внушать людям доверие, и, конечно, его неумная молодость. Он был уже опытным подпольщиком, хотя нередко пренебрегал законами конспирации. Многих платных агентов полиции он знал в лицо, и они откровенно побаивались его: этот добрый парень был с врагами крут и беспощаден. Как-то так получалось, что и по районам они ездили вместе, и на заседаниях комитета оказывались рядом. Вот и теперь он рядом с Васильевым на заводе «Борн».

— Макалын уже предупрежден о нашем приходе. Дознался-таки Кильмаев, доложил управляющему, — сказал Фиолетов, встретив Михаила. — Но наши ребята все же решили собраться.

— Это даже интересно, — загорелся Васильев, — так сказать, бой наглядный и непримиримый. Посмотрим, что это за птицы.

Макалын был маленьким человечком с пизко опущенными на нос очками в белой металлической опра-

ве. Его бегающие глаза казались испуганными, как у мышонка.

Кильмаев оказался черпьявым мужиком богатырского телосложения. Говорил он косноязычно, густым, пугающим басом, не фразами, а отдельными словами. Руки у него были большие, а пальцы неестественно короткие, словно обрубленные.

Ваня Фиолетов, увидев Кильмаева, почесал затылок: да, тут есть силенка.

— Ты того... к кому? — спросил токарь, взяв своей огромной ручищей Фиолетова за плечо.

И тут произошло то, чего рабочие никак не ожидали. Ваня сбросил со своего плеча руку Кильмаева и крикнул:

— Руки! Не прикасайся ко мне, шкура продажная!

Поднялся невообразимый шум, в котором просто было разобраться, кто на чьей стороне.

Лобастый Зотов вдруг закричал срывающимся голосом:

— Товарищи рабочие! Внимание! Сегодня к нам пришли наши друзья. Перед вами выступит учитель Васильев! Слушайте, рабочие...

Макалып пискляво и надсадно перебил его:

— Не смей! Долой агитаторов! Выгоню!

Но Васильев уже взобрался на верстак, и рабочие повернулись к нему, приготовившись слушать. Им приходилось поворачиваться то в одну, то в другую сторону, следя за яростной схваткой этих двух людей. Один из них грозился наказать, уволить, пожаловаться самому хозяину. Другой разоблачал доносчиков. Он указывал на Макалына и тех, кто его поддерживал, называл их шпионами, которые живут на подачки от хозяина.

него так и лезет злоба на рабочих людей. Для него главное — собачья преданность хозяину. Говорить о нем просто противно. Меня больше интересует вот этот мужчина — с физической силой льва и умом недоразвитого ребенка.

Васильеву не пришлось указывать на Кильмаева, все и без того обернулось к нему. Он стоял с полуоткрытым ртом, не зная, что сказать, растерянно моргал глазами; рабочие смеялись над ним. А ведь он привык, чтоб его боялись!

— Не смейтесь, товарищи, это совсем не смешно, — продолжал Михаил. — Макалын — это платный прислужник капитализма, его верный пес. А ведь Кильмаев — рабочий человек, да говорят — неплохой токарь. Как может он, человек с могучими трудовыми руками, хватать, вязать вас, своих братьев, и предавать вот этой падали, — Михаил указал на Макалына. — За что же продался он, за какие гроши?!

Что-то пищал еще Макалын, проталкиваясь к выходу, что-то пытался произнести совершенно потускневший Кильмаев, но рабочие уже не хотели их слушать.

Валя Фиолетов заметил, как исчез куда-то управляющий, и хотел предупредить об этом Васильева: Макалын, безусловно, побежал за полицией. Совершенно неожиданно какой-то нерабочего вида человек вскочил на то место, где еще недавно стоял Макалын, и Васильев узнал в нем одного из шендриковцев. Он долго пытался вспомнить его фамилию, но так и не смог. Однажды шендриковцы прислали его вместо себя на заседание комитета, — они так поступали часто, боясь встречи с глазу на глаз с большими.

Шендриковец понимал, что выступить сейчас против Васильева бессмысленно, и он произнес несколько

слов одобрения тому, что говорил «уважаемый оратор».

— Но я призываю вас к хладнокровию. Наше движение, наше общество не созрело еще для политической борьбы. Забастовка? Да! Забастовка. Но требования наши не должны быть чрезмерными. Мы должны совершенно определенно сказать: пока дайте нам хорошую зарплату, удобные жилища, постройте школы для наших детей и больницы для инвалидов. Это не так уж мало, не так ли?

Рабочие одобрительно загудели. «Да, это враг пострашнее», — подумал Васильев. Его «умеренность», его лозунг «не все сразу» трудно отбросить вот так, с ходу, ведь рабочим настолько плохо живется, что любые уступки капиталистов они сочли бы за благо.

— Нет, товарищи! Это хорошо, но этого мало! — снова обратился к рабочим Васильев. — Мне в царской тюрьме досталось так, что я на всю жизнь награжден чахоткой. И могу вам уверенно сказать: если у тебя чахотка, надо лечиться не от кашля! Кашель только следствие этой проклятой болезни. Надо ликвидировать самую причину, самую болезнь. Тогда и кашля не будет. Вот почему я провозглашаю: не малым довольствоваться, не подачек просить, а требовать, бороться за свое. Не чужое, а свое! Вот почему Бакинский комитет зовет вас бороться за свои политические права. Долой царское самодержавие! Да здравствует республика!

Полицейские свистки прервали речь Васильева. Рабочие начали расходиться. И в это время на верстаке, где стоял Васильев, вскочил Фиолетов.

— Товарищи! Не бойтесь полиции! Не бойтесь Макалына! Никто не может запретить нам собираться и говорить о своих рабочих делах. Не допустим полицию в цех!

Во время стычки с полицией рабочие оберегали Васильева как могли, но все-таки он получил от полицейского изрядный удар в грудь.

В какой-то момент Михаил оказался с глазу на глаз с Кильмаевым; здоровяку ничего не стоило в этой сумятице измолотить его в порошок. Мгновенно они стояли друг против друга.

— Ну что ж, бей, силы-то у тебя хватит. Ну?

Кильмаев простонал:

— Уходи, учитель, слышь, уходи. Душу ты мне вынул. Не доводи до греха, а то запибу...

— Не запибешь, Кильмаев,— сказал Васильев, потирая грудь,— ты хоть и грозишься, а злости в тебе нет. Подумай лучше, Кильмаев, над своей жизнью, вот тогда я и душу твою верну.

— Дьявол ты, настоящий дьявол. Не смотри на меня своими глазами! Уходи...

На нефтяной промысел товарищества «Арагат» Васильев ехал вместе с Алешей Джапаридзе. Причина поездки была чрезвычайной: на одном из промыслов возник пожар. Члены товарищества «Арагат» поспешили обвинить в нем «проклятых большевиков»... А ведь именно на этом промысле рабочие уже решили участвовать во всеобщей забастовке.

— Я подозреваю,— говорил на заседании комитета Стопани,— что это провокация. Мне трудно сказать, чья именно, и нам необходимо разобраться.

Тогда и решили послать на промысел Васильева и Джапаридзе.

Алеша был человеком безудержно отчаянным. Однако с тех пор, как приехал он из Женевы, от Владимира Ильича, все, кто знал его, увидели в нем то, чего прежде не замечали,— какую-то рассудитель-

ность, а порой и сдержанность. И все-таки нет-нет, да прорывался в нем прежний, вулканический Алеша.

На промысле Алешу и Михаила рабочие встретили настороженно. А один из буровых мастеров, которого нефтяники звали Амбарцумом, закричал:

— Гони их! Слышь, гони! Поджигателей всяких. Сожгут промыслы — где работать будем? Хозяин говорит ведь — рабочим от этих поджогов больше беды, чем ему убытков.

— А я согласен с вашим хозяином, — неожиданно сказал Васильев.

— Согласен? С хозяином? — уставился на него Амбарцум. — Хитришь, что ли?

— Нет, не хитрю, — спокойно ответил Михаил. — Мы с товарищем Алешей приехали сюда специально для того, чтобы сказать вам об этом. Мы согласны с вашим хозяином: от пожаров на промыслах больше страдают рабочие, чем капиталисты. Вот давайте вместе разберемся, кому выгодны поджоги, и пам стает ясно, чья это работа.

— Тоже мне, прокурор пашелся, — мрачно усмехнулся Амбарцум. — Разбираться приехал!

— А чего тут разбираться? — сказал молодой рабочий, обращаясь к агитаторам. — Ваши же комитетчики приезжали, кричали: бей, жги... А кто сейчас рабочих со старой скважины кормить будет?

Услышав о комитетчиках, Алеша вспыхнул:

— Какие комитетчики? Не могут большевики призывать к поджогу... Не могут.

Когда Джапаридзе волновался, грузинский акцент становился особенно ощутимым.

Амбарцум пытался замять разговор.

— Ладно, чего там говорить, вам лишь бы огонь разжигать, а расплачивается пусть рабочий человек...

Васильев внимательно слушал этот разговор, он начинал о чем-то догадываться.

— А не помните ли вы, кто из комитетчиков приходил?

— Какая разница? — бросил Амбарцум. — И вообще пора кончать, заболтались мы.

— В том-то и дело, что разница есть, — настаивал Васильев, обращаясь к молодому рабочему. — Вот вы сказали — старая скважина... А много ли она давала нефти?

— Да нет... Ненужная она уже. Хоть бы новую жгли, так хозяину б убыток какой. А тут жгут, лишь бы рабочему человеку обухом по голове...

Он сплюнул, возмущаясь нелепостью поджога. Васильев заметил, как злобно зыркнул на парня Амбарцум.

— А фамилии комитетчиков не помните?

— Нет. Да их тут несколько братьев было.

Джапаридзе вскочил как ужаленный. Он подбежал к Амбарцуму и схватил его за грудь.

— Ты — провокатор! Ты — поджигатель!

— Погоди, Алеша.

Амбарцум, которого Джапаридзе уже отпустил, возмущенно закричал:

— Что же это? Приходят какие-то агитаторы и честных людей оговаривают!

Васильев поднял руку, требуя внимания:

— Товарищи! Не раз и не два обманывали вас нефтепромышленники и их холоуи. Одни поддавались этому обману по доверчивости, другие по трусости, а третьи видели в этом выгоду. И сейчас я могу смело сказать: поджог на вашем промысле — это провокация врагов рабочего класса. Разве не знали ваши хозяева о том, что вы готовитесь участвовать во всеобщей стачке бакинского пролетариата, выдвинуть свои

требования, предъявить их капиталистам? Знали! Разве не выступали против политического характера забастовки меньшевики, дашнаки и прочие меньшевистские болтуны? Выступали! И в борьбе против вас, рабочих, против большевиков они сомкнулись, сговорились. Нет, хозяева не собирались жертвовать своими прибылями. Как собаке швыряют уже обглоданную кость, так бросили они вам эту ненужную, вычерпанную до дна, отработанную скважину, ведь им все равно рабочих нужно было увольнять: скважина не давала прибылей, а зря кормить людей хозяева не привыкли. И вот находится выход: одним махом всех врагов побивахом — поджог! И обвинить в нем большевиков. Вот, мол, кто ваши враги! А братья Шендриковы, эти активные агитаторы против забастовки, кричат: бей, жги! Лучшего момента не найдешь. И хозяин поручает своему шпиону и доносчику, буровому мастеру, которого вы хорошо знаете, совершить поджог. Убыток невелик, а эффект огромный. Запылала, как свеча, дряхлая, пропитавшаяся нефтью, деревянная вышка. Смотрите, мол, все, что творят большевики! Тут и полиция, тут и страховые агенты — хозяину еще уплатят за ущерб. А вам, рабочим, — шиш. Вот такой, мясистый, огромный. Выкусите, забастовщики! Получите ваши политические требования, если не захотели в тюрьму за поджог. Вот и вся картина. Разве не ясно, товарищи, что огнем на промысле хозяева и меньшевики решили погасить огонь протеста в ваших сердцах! Провокация — их испытанный метод. Вы чесали затылки, как жить дальше, а заправили почтеного товарищества «Арарат», улыбаясь в усы, попивали шампанское, — дескать, одурачили! Что ж, решайте сами, ходить ли вам в дураках или показать провокаторам и их хозяевам, где раки зимуют.

То, что случилось дальше, не предвидели ни Михаил, ни Алеша. Молодой рабочий, тот самый, который кричал о комитетчиках, вдруг повернулся к Амбарцуму и схватил его за горло. Рабочие уже не слушали Васильева, они кричали, грозили, трясли кулаками и весь свой гнев решили излить на ставшего вдруг жалким Амбарцума.

— Стойте! — кричал Михаил. — Суд над поджигателями впереди.

Понимая, что расправа над Амбарцумом может обернуться против рабочих, Васильев и Алеша бросились спасать его.

— Стыдно, товарищи! — крикнул Михаил, поправляя пенсне. — Да, это враг, — продолжал он, указывая на Амбарцума, окруженного плотным кольцом рабочих. — Но он и оружие в руках врага — главного врага, вечного вашего врага. Не пачкайте же руки об эту мразь, а сплотите свои силы в борьбе против капиталистов, нефтепромышленников — тех, кто панюмает себе на службу подобные отбросы.

Васильев вдруг почувствовал страшную усталость; перед глазами поплыли черные круги. Он схватился за плечо стоявшего рядом рабочего, чтобы не упасть. Что это? Алеша, заметивший состояние товарища, подбежал к нему и подхватил на руки...

Когда Михаил пришел в себя, он лежал на полу, под головой — чья-то куртка. Возле него хлопотал Алеша, озабоченно спрашивая:

— Ну как? Ну?

— Все в порядке... Перезимуем.

Васильев сделал попытку подняться.

— Лежи, — сказал Джапаридзе. — Мы тут извозчика панюмали. Я тебя сам домой отвезу.

Генерал Накашидзе был серьезно обеспокоен. Вице-губернатор Лилеев очень прямолинейно действует в рабочих районах. Может быть, все-таки прислушаться к совету представителя министерства финансов при заместителе Кавказа Джунковского, который предлагал «не сжигать мосты»?

Лилеев был противником всякого либерализма. Ну вот, разрешили для интеллигенции всякие собрания, бакеты по поводу и без повода. Вот один известный бакинский адвокат третьего дня два часа подряд без умолку говорил о каких-то свободах. На вопрос Лилеева, кому нужны эти проповеди, Джунковский ехидно ответил, что адвокаты революции не делают. Как знать, милостивые государи, как знать. Нет, он, Лилеев, уже более десяти лет вице-губернатор в Баку и твердо знает: огнем и плеткой добьешься чего угодно, а в либеральные разговорчики он никогда не верил.

В ближайшее время ему предстояла поездка с докладом к министру внутренних дел в Петербург. Как не хочется, как не хочется беспорядков и шума! Может быть, все-таки образуется; право, было бы лучше.

Сегодня Накашидзе пригласил к себе обоих, и он уже предчувствовал, что придется ему быть третьей-ским судьей между Лилеевым и Джунковским. Ну к чему эти распри? Впрочем, если два генерала не могут между собой договориться, ничего хорошего ждать нельзя.

Джунковский прибыл, когда педагогичный Лилеев уже ждал приема. Они вошли оба, и Накашидзе, вскочив с кресла, продемонстрировал безграничное счастье видеть своих ближайших друзей.

Генералы знали цену этому гостеприимству, этой губернаторской улыбке. Накашидзе был из тех, кто не стесняется в средствах.

Разговор действительно принял крутой оборот. Лилеев требовал ареста всех этих агитаторов — и большевиков, и меньшевиков, и эсеров.

— Для меня что беки, что меки — один черт, — раздраженно бросил Лилеев.

— А я богаче вас, для меня опи два черта. Только с одним из них еще можно смириться, — парировал Джунковский со спокойной улыбкой.

— Не знаю, — грубо оборвал его Лилеев. — Не вижу разницы. Особенно богопротивны эти кургузые Шендриковы. Вам известно, что эта святая троица создала «Союз балаханских и биби-эйбатских рабочих»?

И он победоносно вынул из мундира целую стопку допесеней, эффектно положив их на губернаторский стол.

Джунковский откинулся на спинку кресла.

— Это мне известно, господа, и я бы просил отпестись к тому, о чем доложил господин вице-губернатор, мягко выражаясь, терпимо. Мне как чиновнику при кавказском генерал-губернаторе доподлинно известно, что есть сила более опасная, чем Шендриковы. И это, смею вас заверить, не меньшевики, а большевики, или, как вы изволили выразиться, беки. А между прочим, им, как и вам, господин Лилеев, шендриковский «Союз балаханских и биби-эйбатских рабочих» тоже пришелся не по духу. Как же это произошло, что у вас с ними сходятся вкусы?

— Что вы хотите этим сказать? — пасунился вице-губернатор.

Еле сдерживая себя, Джунковский, глядя прямо в глаза вице-губернатору, сказал с расстановкой:

— А то, что кто-то из вас отлично разобрался в истинной сути этого союза. И вы уж простите, но точка зрения большевиков мне кажется разумнее.

Накашидзе постучал о стол посеребрянным кинжалом.

— Господа, прекратите, ради бога, эти ненужные пререкания. Видимо, господин Джунковский тожо располагает какими-то документами?

— Нет, па сей раз почти никакими. Если не считать одного письма, но о нем потом. Так вот, на последнем заседании Бакинского комитета социал-демократов этот союз назвали организац ба- товского типа. Надеюсь, господину вице-губернатору известно имя жандармского полковника Зубатова?

Лилеев не ответил на вопрос. Он прошептал подчеркнуто вежливо:

— Можно подумать, что господин Джунковский присутствовал на заседании комитета социал-демократов.

— Нет, господин Лилеев, там я не присутствовал,— серьезно, без тени иронии ответил Джунковский.— Но не отказался бы, имей я такую возможность. Вот вы изволили пренебречь братьями Шепдриковыми. А зря. Они нам, оказывается, доверяют больше, чем мы им. Вот извольте, не угодно ли прочитать?

Он вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку, развернул ее, но подал не Лилееву, а Накашидзе.

Губернатор не сразу понял, о чем письмо.

— Что это? Опять проект? У меня от этих проектов уже голова кружится.

— Совершенно верно. А эти братцы социал-демократы предлагают оригинальный метод борьбы с безработицей.

— О, господин Джунковский уже пользуется их терминологией.



Представитель министерства финансов не обратил внимания на реплику вице-губернатора.

— Тридцать тысяч рублей — не такая уж большая сумма. Думаю, министр финансов согласится. Организация артелей, или, как они именуют, трудовых артелей, да еще за наши деньги, — ведь это то, что нам нужно, господа. Мы об этой удобной форме организации рабочих могли бы только мечтать. И кто додумался? Не мы с вами, господин вице-губернатор.

Обращаясь к Накашидзе, Джупковский сказал:

— Настоятельно прошу вас, господин генерал-губернатор, поддержать мое представление господину министру финансов. Понимаю, что дело это не одного дня. Но через год мы еще вспомним о предложении братьев Шендриковых. И тогда... Тогда тридцать тысяч рублей будут выложены нами не зря.

Страшное дело: как ни стремился Михаил после встречи на заводе Ротшильда снова схлестнуться с братьями Шендриковыми, ничего не получилось, словно знали они, где и когда будет выступать Васильев. Всякий раз они вместо себя присылали каких-нибудь крикунов, и те неистовствовали, обвиняя большевиков во всех смертных грехах.

Абдалла Буранов перестал прятаться на свои пары, было пеловко перед товарищами, да и любопытство его разбирало: что же это происходит вокруг? Но вот кому отдать предпочтение — этому бородатому учителю или тем буйным — никак решить для себя не мог. Учитель был ему симпатичнее: очень уж понятно он говорил, словно специально для него, Буранова, учителя хотелось слушать долго и даже задать ему некоторые вопросы. Но другие вроде тоже

к добру клопят: они призывают бороться за то, чтобы рабочий побольше получил от хозяев.

— Что рабочему нужно? — убеждал гладко выбритый мужчина из адвокатов, что ли, Буранов не расслышал. — Работы и хлеба за эту работу. То, что предлагают большевики, лишит вас и того и другого. Потому что условия для политических требований пока не созрели.

— Это почему же не созрели? — выкрикнул Хачатур.

— Помолчи, — цыкнул на него Абдалла. — Нос не дорос, а уже туда же.

— Это почему же молчать? Я хочу быть свободным человеком.

— Вот освободят тебя от работы — и будешь свободным, — произнес Абдалла с горькой усмешкой.

— Правильно, — тотчас подхватил оратор. — И к тому же по всему Кавказу рыскают карательные экспедиции. Это ведь отборные войска! Что мы можем противопоставить им? Свои голые рабочие руки? Или булыжники с бакинской мостовой? Нет, мы призываем создать свою рабочую организацию. Известные вам братья Шендриковы называли ее «Союзом балаханских и биби-эйбатских рабочих». Это будет ваша организация — вступайте в нее!

Васильев узнал об этой новой раскольнической акции Шендриковых и предложил срочно собрать заседание Бакинского комитета.

На заседании комитета РСДРП поведение Шендриковых назвали подозрительным. Васильев говорил об этом открыто, без обиняков.

Но доказательств прямого предательства не было. Шендриковы не пожелали явиться на заседание ко-

митета РСДРП. Это усиливало подозрение, хотя и ничего не доказывало.

Действия Шендриковых паносили все больший и больший вред. Вспыхнувшие в июне — июле забастовки не выросли во всеобщую стачку: дальше экономических требований дело не пошло.

— Мы будем добиваться новой забастовки, — говорил Александр Митрофанович Стопани. — И на этот раз постараемся сделать ее всеобщей.

Николай Терептьевич Улезко уезжал из Баку.

Ашот Каринян сообщил об этом Васильеву, когда тот выходил из реального училища после уроков.

— Вы ничего не знаете, да? — спросил он у Михаила Ивановича.

— Нет, — обеспокоенно сказал Васильев. — Что-нибудь случилось?

— Улезко уходит из гимназии...

Оказывается, случай с Двалиевым не прошел для Николая Терептьевича бесследно. Каждое домашнее сочинение, которое он задавал гимназистам, проходило «директорскую цензуру». Улезко так и объявлял ученикам:

— Сегодня, с высочайшего разрешения господина Котылевского, мы будем изучать...

Если же ему приходилось задавать на дом сочинение, он говорил так:

— Господин директор убедительно просил вас написать домашнее сочинение на тему...

Накопец учитель Улезко пришел на свой последний урок.

— Сегодня, дорогие друзья, мы с вами расстаемся. Может быть, навсегда.

Неужели Котылевский посмел уволить Николая Терентьевича? Гимназисты привыкли к своему «горбуну», любили слушать его уроки, нередко посещали его на дому. Жил Улезко одиноко. Гимназисты беседовали со своим учителем на разные литературные и исторические темы. Каково же было удивление Николая Терентьевича, когда его ученики принесли ему книги Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Русский рабочий в революционном движении»... Прочитав их, Улезко заявил гимназистам, что он давно уже убежденный материалист и что народнический идеализм считает пенаучным и вредным.

— Значит, вы с нами? — спросил его Ашот.

— Как вам сказать, — задумчиво ответил учитель. — Я не спрашиваю, с кем это — с вами. Наверное, помыслами мы вместе. Но вот делами... Я не борец, друзья мои, не борец и, к сожалению, умею только сочувствовать.

— От скромности он так, — заверял Васильева Ашот. — Ведь и лекции нам по вечерам читает, и к рабочим с удовольствием ездит.

— Это верно. Но личность это, Ашот, трагическая. По крайней мере, у меня такое впечатление. Его давит не только физическая неполноценность. Это хорошо, что вы привлекаете его к нашим делам. Но не требуйте от него большего, чем он в состоянии дать.

И вот теперь Улезко уезжал.

— Мне показалось, что он даже рад этому, — рассказывал Каринян. — Говорил так, будто исполнилась давняя его мечта. Директор, этот иезуит Котылевский, спросил его, не трудно ли Николаю Терентьевичу работать в гимназии, не лучше ли уйти. И представьте себе, он согласился.

...Класс встретил это сообщение бурно. Один за другим поднимались гимназисты, говорили, что заявят протест, что их поддержит не только вся гимназия, но и техническое, реальное училища. Но Улезко испуганно замахал руками.

— Что вы, что вы, господа! Ведь я рад. Понимаете, я столько лет ждал этого момента! Теперь осуществится самая заветная мечта моя — поехать в Лейпциг для завершения образования.

— Мы так и не поняли, да, — говорил Васильеву Ашот, — искренне он радовался или нет.

Михаил Иванович потрепал гимназиста по густой шевелюре.

— Видишь ли, Ашот, по-разному складываются человеческие судьбы. Николай Терептьевич, наверное, не мог поступить иначе. Он слишком честен, чтобы измепить совести, слишком умен, чтобы сидеть без дела. Да и жить нужно. Видел он, что тучи над ним сгустились, что Котылевский не зря просил его уйти: арест учителя не украсил бы гимназию в глазах попечителя.

— Значит, он испугался ареста, да?

— Не совсем так. Он за вас боялся, за вас! Ведь он-то видел, что вы как пороховая бочка, а его арест был бы как зажженный бикфордов шнур. И что тогда?

— Было бы то, что должно произойти!

— Это ты так рассуждаешь. А он — иначе. Он как та мать, которая не против переустройства жизни ради счастливого будущего своих детей, но только чтобы они при этом не подвергались опасности.

— Значит, он действительно не борец?

Васильев не ответил. Он постоял, внимательно посмотрел на Ашота.

— Вы пойдете, надеюсь, его провожать? Ему это будет очень приятно. И даже нужно...

Ни дирекция гимназии, ни полиция не ожидали, что отъезд учителя словесности бакинской гимназии может вызвать такое волнение среди гимназистов.

Не ожидал этого и сам Улезко.

Вся вокзальная платформа была полностью запружена гимназистами, реалистами, техниками и даже рабочими, которым Ашот сообщил об отъезде учителя. Учащиеся технического училища принесли с собой лозунг: «Не уезжайте, Николай Терентьевич, лучше переходите к нам!» Были лозунги и у гимназистов: «Да здравствуют честные люди земли!», «Позор тиранам!», «Пусть сильнее грянет буря!»...

Улезко выглядел растроганным и несколько растерянным. Он поминутно вытирал платком лоб и глаза, несколько раз пытался что-то сказать, но так и не смог.

И только когда не зная, что предпринять, пристав попробовал разогнать учащихся, Николай Терентьевич вскочил на подножку вагона и что есть силы закричал:

— Не смейте их трогать! Это мои ученики!

Декабрь четвертого года был студеным и ветреным. Обильные проливные дожди обрушивались на Ашгерон почти ежедневно. И несмотря на это, ежедневно после занятий в училище Михаил отправлялся в Черный город.

Бакинский комитет РСДРП принял решение о всеобщей забастовке, создал стачечный комитет, в состав которого вошли представители различных национальных организаций, большевики и меньшевики. Представители армянской националистической

организации «Дашнакцутюн», дашнаки, выступали против стачки. Представители армянской социал-демократической партии «Гнчак», что в переводе на русский звучит лирично «Колокольчик», вошли в стачечный комитет, однако не во всех вопросах были достаточно последовательны.

Особое значение, как считал Михаил, в подготовке всеобщей стачки бакинского пролетариата имело создание азербайджанской организации для пропаганды идей интернационализма среди мусульманских рабочих. Ее называли «Гуммет», что означает «Энергия».

Работать в эти дни большевикам приходилось особенно много. Васильев уже понял, как добиваются поддержки рабочих Шендриковы. На любом собрании, где они выступали, присутствовало не менее десяти их верных поклонников, которые и устраивали овации своему кумиру или по его сигналу мешали выступить большевикам. Создавалось впечатление, что любому предложению большевиков они всегда противопоставляли свое. Комитет требует политических свобод, они — экономических уступок, комитет организует мирную демонстрацию, они — поджоги нефтяных промыслов, провоцируя вмешательство полиции.

На завод Ротшильда Михаил приехал вместе с Солтаном Эфендиевым, одним из активных членов «Гуммета», — им предстояло обсудить с рабочими пункты требований, которые стачечный комитет решил предъявить нефтепромышленникам.

Васильев был на этом заводе своим человеком, его знали по имени все рабочие, называли товарищем Михаилом или просто Михайой.

Пункты, которые разъясняли рабочим Васильев и Эфендиев, уже были предварительно обсуждены на

стачечном комитете. Михаил понимал, что нужно было бы предъявить больше политических требований, но тут большевиков не поддерживали ни шендриковцы, ни «Гнчак».

Разговор с рабочими Васильев и Эфендиев решили начать с пункта о восьмичасовом рабочем дне; шендриковцы об этом требовании и слушать не хотели, грозили тем, что из-за одного пункта может провалиться вся стачка.

Неожиданно Михаил столкнулся с тем, что и рабочие восьмичасовой рабочий день принимают с оговоркой: не отразится ли это на заработках, не сократят ли нефтепромышленники соответственно жалование — ведь плата и без того мизерная?

Васильев убеждал: требование восьмичасового рабочего дня несколько не отразится на жалование и только хозяева вынуждены будут несколько сократить свои баспословные прибыли. Но самое главное, восьмичасовой рабочий день предоставит возможность для отдыха, для нормальной человеческой жизни.

Солтан Эфендиев не повторял сказанного Михаилом, его речь на азербайджанском языке была совершенно самостоятельна. Васильев понял это по поведению слушателей.

Остальные требования, включенные в договор, не вызвали особых вопросов: при непрерывной работе — три смены; чистые квартиры; медицинская помощь за счет предпринимателя. Больные получают половинную заработную плату. Регулирование зарплат по цехам, предоставление каждому рабочему, прослужившему год, месячного отпуска с сохранением зарплаты, уплата за забастовочные дни также входили в требования забастовщиков. Кроме того, рабочие хотели школ для своих детей и в случае

увольнения рабочего — предупреждения за две недели вперед или же уплаты двухнедельного заработка...

Васильев и Эфендиев были удовлетворены: рабочие единодушно проголосовали за все пункты договора с нефтепромышленниками.

Прощаясь, Васильев еще раз обратился к рабочим:

— Мы отметим уход старого, многострадального тысяча девятьсот четвертого года победой во всеобщей стачке бакинского пролетариата. Пусть каждый из нас во весь голос скажет: мы никогда не будем рабами! Долой царя! Да здравствует демократическая республика!

Абдалла Буранов остался доволен договором, хотя о повышении заработной платы в нем ничего не было сказано. Восьмичасовой рабочий день — это уже немало. Но в делегацию к предпринимателю он все-таки отказался войти. Чтоб вот так, с требованиями, к хозяину — этого он понять не мог. А тут еще агитаторы всякие со своими лозунгами — «Долой царя!», «Да здравствует демократическая республика!». Как же это — без царя?

Все тревожнее становилось на душе у Абдаллы Буранова. Каждый день он кого-то слушал. Чаще других выступали братья Шендриковы, и, хотя говорили они вещи будто и правильные, что-то не нравилось Абдалле в этих крикунах, какие-то чужие они. И в их «Союз балаханских и биби-эйбатских рабочих» не вступил. Вот «Гуммет» — эти про свободу хорошо разговаривают. Все татары, персы, азербайджанцы их хорошо понимают. Правда, говорят они то же, что большевики, но как-то по-своему, по-мусульмански...

Он, Абдалла, даже Васильеву как-то сказал:

— Хорошо говоришь, а они — понятнее. Вроде бы родные...

Васильев не возражал, лишь улыбнулся в ответ: что ж, «Гуммету» можно верить, ведь эта азербайджанская организация и создана большевиками для того, чтобы быть ближе к мусульманскому населению...

Ипой раз даже слово себе давал Бурапов и вовсе пикого не слушать, лежать себе на нарах в бараке — и спокойно, и тепло. Но тянуло его к людям, словно где-то там, на этих собраниях, тайных и открытых, лежало то, что в столь любезных его сердцу сказках называлось простым и непонятым, опасным и заманчивым словом «правда».

Однажды попал в руки Абдаллы листок желтой, промокшей бумаги. В нем он прочитал о тех, кого рабочие называют своими врагами, и чувство отвращения не покидало его.

«...Заведующий Даниляк и Мауль состоят шпионами у управляющего Лемерта...

...Буровой мастер Пресняков — шпион, доносит и штрафует на каждом шагу...»

Воп оно как! А я-то их своими считал! А они-то, голубчики!

Бурапов посмотрел на подпись: «Балаханский район. комитет РСДРП».

С тех пор он не упускал возможности прочитать листовки. Правда, тут же выбрасывал: не дай бог кто-нибудь заметит.

Однажды летом какое-то благонадежное общество проводило гулянье в Михайловском саду. Когда женщины-кассиры возвращались с выручкой, на них напали какие-то люди, открыли стрельбу. Женщины,

конечно, в слезы. Но что они могли поделать против сильных, вооруженных до зубов бандитов! Им, этим кассирам, даже в газетах было выражено великодушное мужское сочувствие.

Мария не сказала Михаилу, где была в тот вечер, хотя возвратилась домой взволнованной и возбужденной. Он бы и на газетные сообщения не обратил особого внимания, если б не сказал ему Стопани:

— Мария-то у тебя не робкого десятка. Не испугалась ни «экспроприаторов», ни полиции. Артистически провела дело.

— Какое дело?

Стопани удивился.

— Ну, милый, ты за своей женой поглядывай. Думал, она с тобой всем на свете делится... Ведь экспроприация-то — дело продуманное, и деньги уже в нашей кассе. Ты же знаешь, что каждый денежный сбор облагался огромным налогом: контроль правительства строжайший. «Губернское присутствие по делам обществ и союзов» считает каждую копейку. А выход из положения нужно было найти...

Васильев смущенно покачал головой. Ну и Маруськ!

Он стал больше волноваться, когда задерживалась она вечерами. Работа в финансовой комиссии оказалась не только трудной, но и опасной.

Теперь у нее совсем не оставалось времени для того, чтобы вместе с мужем заниматься языками. А он все-таки находил часок-другой для своего давнего увлечения.

Еще в гимназии словесники восторженно отзывались о его способностях. Языки ему давались действительно легко. Но как-то не ощущал Михаил в них потребности.

По-иному он стал относиться к ним после той памятной университетской ночи, когда впервые взял в руки книгу Карла Маркса. Неодолимое желание прочитать его труды в подлиннике охватило Васильева. Пробовал тогда же всерьез заняться языками, да все как-то урывками. Другое дело тюрьма. Времени много — почти год заключения. В первой же записке попросил принести ему учебники по немецкому и английскому языкам, а потом и по французскому. И когда угодил в карцер, задиристо и с удовольствием кричал «долой тиранов» то по-немецки, то по-французски, то по-английски.

Постепенно изучение языков стало необходимостью. Он не упускал ни единой возможности поговорить с преподавателями иностранных языков, с чужеземцами, которых в Баку было хоть отбавляй. Они хвалили его лексическое богатство и знание грамматики, но не выражали особых восторгов по поводу произношения.

Вечерами он читал в подлинниках Гегеля, Фейербаха, Фурье, Рикардо, Смита и, конечно, Маркса и Энгельса. Не изменял он и своей старой привязанности к Гейне и Гете. Их стихами он мог наслаждаться бескопечно.

Стачка началась в последние дни декабря. Рабочие бакинских промыслов вышли на демонстрации и объявили о том, что они прекращают работу до тех пор, пока нефтенпромышленники не примут требуемый стачечный комитета.

Михаил Иванович, как и все члены Бакинского комитета, шел вместе с демонстрантами. Всем своим существом он чувствовал: рабочие теперь уже не откажутся от своих требований.

Нефтепромышленники, хотя и взвыли, узнав о требованиях, которые предъявил им стачечный комитет, понимали, однако, что на этот раз рабочие не отступят. А губернатор Накашидзе рад был, что в требованиях нет политических пунктов и что забастовщики готовы прекратить стачку, если капиталисты пойдут на заключение договора с ними.

При всей ограниченности требований большевики сознавали важность самого главного — заключения договора. Такого в России еще не было, чтобы промышленники подписали текст документа, продиктованного рабочими.

Предприниматели поняли, что этого им не избежать, и спорили по каждому пункту. Особенно возражали против восьмичасового рабочего дня и уплаты за забастовочное время. Остальные пункты не требовали немедленного решения. Квартиры для рабочих? Школы для детей? Все это можно припятать — выполнить когда-нибудь потом. Медицинская помощь тоже понятие растяжимое... Словом, пообещать можно.

Договор был подписан. Некоторые пункты, правда, были изменены: не восьми-, а девятичасовой рабочий день, не полная, а половинная оплата забастовочных дней. И все-таки это была победа: впервые в России рабочие отстаивали свои требования к капиталистам.

Как и полагали большевики, многие предприниматели не торопились выполнять договорные обязательства. Особенно упорствовали хозяева механических заводов. Они ссылались на то, что потерпят на этом большие убытки, что им это невыгодно.

Комитет РСДРП уже выпустил листовку с при-

зывом к рабочим механических заводов продолжать забастовку, организовать сбор денег среди промышленников в помощь бастующим рабочим.

Декабрьская забастовка перекадилась в январь пятого года. Вице-губернатор Лилеев решил принять свои меры: он получил согласие Накашидзе на проведение репрессивных акций и заявил, что, если забастовка не прекратится, заводы будут закрыты, а рабочие высланы из Баку.

Васильев в эти дни ездил по механическим заводам. Важно было не только поддержать у рабочих боевой дух, но и дать отпор шендрикковцам, которые предлагали рабочим не настаивать на общем договоре, а согласиться с бумажными гарантиями каждого хозяина в отдельности. Им удалось это сделать в депю и обществе «Кавказ и Меркурий» — и два звена выпали из общей забастовочной цепи.

Но остальные заводы держались. Члены Бакинского комитета РСДРП бывали там ежедневно, выпускали листовку за листовкой. На репрессии Накашидзе они ответили новым призывом.

Васильев выступал перед рабочими.

— Товарищи,— говорил он.— Хозяева все еще стоят на своем и не хотят уступить. Они грозят закрытием заводов. Но вам ли бояться хозяйских угроз? Подумайте только, товарищи, кому выгоднее, чтобы заводы работали? Рабочим, получающим жалкую плату за свой тяжелый труд, или хозяевам, которым ваш труд приписит несметные богатства? Ваши хозяева,— продолжал он,— заодно с генералом Накашидзе, они отдались под его покровительство. И вот царский холоп, друг-покровитель ваших эксплуататоров грозит вам высылкой из Баку.

— Пускай сам катится!

— Нашел кого пугать...

— Не из пугливых!

— Ясно,— Васильев поднял руку, призывая к тишине,— как божий день, товарищи, ясно и то, почему царский чиновник Накашидзе соединился с вашими эксплуататорами, почему он заключил с ними этот подлый союз... Перед нами два врага: царское правительство и хозяева!

— Два врага, а морда одна,— послышался голос.

— Правильно, в самую точку!

— Товарищи! — продолжал Васильев.— Вы должны добиться того, чтобы работать девять часов в сутки. Будем же держаться стойко и дружно! Ваша сила — в вашей солидарности!

Словно эхо раздалось среди рабочих призывы:

— Долой губернатора!

— Долой царское правительство!

— Долой эксплуататоров!

— Да здравствует наша рабочая солидарность, наше единение! — заключил Васильев.

В эти дни он все больше и больше убеждался в том, что сознание рабочих значительно выросло.

Да только ли рабочих? А он сам не вырос ли? Почти физически чувствовал Васильев свое слияние с этими людьми. Он жил их интересами, их тревогами, их борьбой. Никогда еще не был он среди такого могучего отряда рабочего класса, как бакинский пролетариат.

И когда стачка рабочих механических заводов закончилась, Васильев снова пришел к рабочим.

— Вы добились девятичасового рабочего дня, вы, бедняки рабочие, силой взяли его у богатеев-капиталистов, вы, бесправные рабочие, принудили самовластного губернатора взять назад свои угрозы и тем самым еще раз доказали, что вы — сила.

Мария пришла домой поздно.

— Комитет сегодня собирался? — спросила она.

— Нет, я ездил в Сабунчи. Что-то случилось?

— Не знаю. Стопани спросил, будешь ли ты вечером дома. Вероятно, собирался зайти.

— Значит, что-то серьезное. Решено приходить ко мне только в исключительных случаях. Ну-ка выйду посмотрю.

Он оделся потеплее, натянул на лоб мохнатую меховую шапку и вышел на улицу.

Погода была удивительно небакипской. Плотный снежный покров делал улицы похожими на февральские московские переулки. Южные пальмы оказались очень удобными для белопенного покрывала, и несвойственное этим местам безветрие утверждало покой и тишину. Под ногами редких прохожих поскрипывал снег. Мужчины втягивали головы в невысокие плюшевые воротники, а женщины прятали руки в муфты.

Прислонившись плечом к круглой рекламной тумбе, Васильев вглядывался в прохожих. Он уже изучил повадки филеров и мог без труда определить, есть ли сегодня наблюдение за его квартирой.

Вокруг было спокойно. Ночь уже давно опустилась над городом, и под лунным светом снег казался голубоватым. Тихо. Лишь изредка в порту выли и свистели, перекликаясь, неутомимые пароходы.

Со стороны Паранета к нему приближался человек, которого он сразу узнал, — Ваня Фиолетов. Он тоже остановился у тумбы и тихо спросил:

— Никого?

— Кажется, никого...

— Иди домой и жди гостей. Я понаблюдаю...

Они пришли почти одновременно — Стопани и 112 Джапаридзе, супруги Бобровские, которых называли

Ольгой Петровной и Ефремом. Последним вошел и закрыл дверь на ключ Ваня Фиолетов.

Мария хорошо знала, как принимать таких гостей. Все, что должно быть на вечеринке, уже стояло на столе. В случае чего повод придумать нетрудно: новый, 1905 год только начался.

— Машенька, скажите, эта бутылка открывается? — спросил Ваня. — Или она так и останется закупоренной?

— А уж это как вам будет угодно. Мне было бы приятней, если б ее открыли... Миша, действуй...

Михаил улыбнулся, хотя понимал, что не с веселыми вестями пришли сейчас члены комитета...

— Товарищи! — сказал Стопани. — Мы собрались, чтобы обсудить сообщения, которые получили из Санкт-Петербурга. В столице по приказу царя расстреляна рабочая демонстрация...

Комитетчики знали, что третьего января петербургские рабочие объявили забастовку, что она постепенно расширялась, охватывая новые и новые заводы. Но что дело дойдет до кровопролития, никто предполагать не мог.

Стопани повел своими крепкими плечами, задумчиво разгладил усы и спокойно произнес:

— В стороне мы не останемся. Для того и собрались здесь, чтобы прочитать сообщение и решить, что предпринять. Давайте послушаем...

Он вынул из-за голенища ялового сапога сложенный листок и начал читать:

— «Восьмого января петербургскими рабочими была отправлена к царю депутация с письмом такого содержания: «Народ желает говорить с царем, и если он истинный царь, то он не побоится выйти к своему народу, чтобы узнать его вековые нужды»...

Царь с народом говорить не стал. В ту же ночь на 113

дсвятое число на Путиловском заводе было громадное собрание рабочих. Был выработан целый ряд политических требований: прекращение войны, народное правление, контроль над администрацией, свобода личности и гражданское равноправие, отделение церкви от государства и другие.

Рабочие поклялись на площадях Зимнего дворца хотя бы ценой жизни добиваться удовлетворения своих политических требований и решили идти к Зимнему дворцу вместе с женами и детьми. С утра девятого января Петербург принял необычайный вид. Подавляющее большинство петербургских рабочих через все заставы и мосты направилось к дворцу, чтобы предъявить царю выработанные накануне политические требования...»

Стопани читал, и Васильев мысленно представлял, как на улицах и площадях расположились войска, как разбили они походные палатки. Войска прибыли сюда из Ревеля, Ямбурга, Пскова; местному гарнизону доверять нельзя было: Семеновский и Финляндский полки отказались стрелять в рабочих.

— «Десяти — двадцатитысячные толпы рабочих, — читал Стопани, — были встречены залпами без всякого предупреждения. На Васильевском острове рабочие из телефонных столбов и проволоки устроили три баррикады, на них развевалось наше красное знамя... Рабочие разбили оружейную фабрику и овладели оружием. Местами останавливали идущих офицеров и обезоруживали их, один генерал и два жандармских офицера были избиты. Особенно жаркое столкновение было на Охте, у Исаакиевского и Казанского соборов были пущены в толпу залпы...»

— О господи! — не выдержала Мария. Она стояла рядом с Бобровской... Женщинам стоило больших усилий сдержатъ себя.

— Извините, — сказала Мария и отвернулась.

Стопани продолжал:

— «Всей этой возмутительной бойней безоружных рабочих и их жен и детей руководил великий князь Владимир, отдавший приказ стрелять и вешать...»

Стопани посмотрел на жещип, словно раздумывая, читать ли о тех зверствах, которые творились в тот день на петербургских улицах и площадях.

— «Невский проспект долго оглашался криками и рыданиями... Полиция и казаки добивали раненых и стреляли в тех, кто их подбирал. Рабочие отбивали трупы товарищей, складывали на извозчиков, окружали толпой, и шествие направлялось по улицам с пением «вечная память». Встречным кричали «шапки долой»...»

Васильев чувствовал, как начинает его душить приступ жестокого кашля. Он весь напрягся, покраснел. Мария поспешила к нему со стаканом воды.

Стопани закончил чтение, особо подчеркнув фразу: «Рабочие по мере сил вооружаются и намерены сражаться: «Царь нам всыпал, и мы ему всыпем»».

И вдруг вскочил все время молчавший Алеша Джапаридзе... Он как-то странно вскинул руки, лицо его исказилось.

— Вы понимаете? Я спрашиваю, вы понимаете? Кто мы такие, я вас спрашиваю? Что ты на меня сметришь, Ваня? наших товарищей убивают! Мы должны действовать, и немедленно!

Михаил никогда не видел его таким. Но он не удивился. Просто Алеша сказал то, что сейчас чувствовал здесь каждый.

Решение приняли единодушно: это сообщение немедленно издать листовкой в качестве бюллетеня Бакинского комитета РСДРП и призвать всех това-

рищей оказать поддержку петербургским рабочим, устроить сборы денег.

Васильев предложил написать листовку, специально обращенную к солдатам.

— Нужно, чтобы они поняли, как вести им себя в это трудное для солдата время. Мы должны быть готовы ко всему.

В тот вечер никто не мог предположить, что где-то недалеко, в кабинете губернатора, на его столе, лежало точно такое же сообщение из Петербурга.

Лилеев, Джунковский ждали Накашидзе с нетерпением: генерал только сегодня возвратился из Петербурга. По всей вероятности, он докладывал о делах, связанных с декабрьской стачкой в Баку.

Накашидзе выглядел величественно. Он был в военном мундире, хотя обычно носил гражданское платье. Сразу бросалось в глаза его воинственное построение. Помипутно разглаживая на лбу глубокую сердитую морщину, он наконец заговорил:

— Ну и день!.. Не скажу, что приятный, но понастоящему боевой... Всем нам преподали предметный урок: в борьбе с крамолой все средства хороши.

Он встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету.

— Все! Понимаете? А мы тут судим-рядим, что хорошо, что плохо. Все, что плохо,— все хорошо! Понимаете? Даже погром в Кишиневе хорош. По-своему... А мы разве хуже, генерал Лилеев? Разве не знаем мы, что такое громоотвод?

С тех пор как Сеид ушел на фабрику братьев Мирзабекянц, он редко бывал у Васильева. Ашот Карилян иногда встречался с ним, интересовался,

как у него идут дела, как настроение у рабочих-табачников. С некоторых пор он с удивлением заметил какую-то непонятную озабоченность друга; было похоже, что он что-то скрывал. Ашот придавал большое значение рассказам Сеида: ведь его отец располагал самыми свежими городскими новостями. Обычно Сеид выплескивал их с легкостью необыкновенной, а тут на все расспросы Ашота упорно отмалчивался.

Своими наблюдениями Ашот поделился с Михаилом Ивановичем.

— Что же это может быть, если Сеид даже с тобой неоткровенен? Так ничего не сказал?

— Нет. Только странно: настаивал, чтоб я куда-нибудь уехал.

— Вот как? Это уже нечто. Ты понимаешь? Он за тебя боится.

— Неужели что-то пронюхали?

— Не знаю... Только очень прошу, сейчас же, немедленно разыщи его и приведи ко мне.

Когда Ашот вышел, Михаил спросил у Марии:

— Ты поняла что-нибудь?

— Только то, что Ашоту, а возможно, и всем нам грозит какая-то опасность.

— Это и я понял, милая. А дальше?

Сеид пришел сразу же после работы. Ашот не дал ему даже домой забежать.

— Он ничего не ел, Мария Андреевна, дома еще не был,— сказал Ашот.

Но Сеид наотрез отказался от еды.

— Что-нибудь случилось? — спросил Васильев. — Ты чем-то взволнован?

Сеид молчал. Чувствовалось, что ему не терпится что-то сказать, и по тому, что юноша не решается это сделать, Васильев понял — очень серьезное...

— Значит, отказываешься обедать?

— Не могу я, Михаил Иванович, понимаете...

— Я был бы плохим учителем, если бы не понял. Вижу, Сеид, что ты взволнован. Тебе грозит какая-нибудь опасность?

— Мне? Нет, мне ничего не грозит...

Мария присела к столу.

— Я расскажу тебе, Сеид, одну историю. Было это в Москве, мы только поженились с Михаилом Ивановичем. Он был очень молод, горяч и беспредельно доверчив. И еще любил шутку. И вот однажды рассказал он какой-то анекдот или даже побасенку, уже не помню. Но среди тех, кто его слушал, был доносчик, который обо всем доложил университетскому начальству.

«Зачем это она? — подумал Васильев. — Что хочет этим сказать?»

— Спасибо, нашелся друг, вовремя предупредил, кого мы впредь должны остерегаться. Ах как это важно, если у тебя есть настоящий, искренний друг.

— Но ведь Михаилу Ивановичу ничего не грозит! — не сдержался Сеид.

— А кому же? — спросил Васильев.

— Наверное, мне, если Сеид предлагает уехать, — сказал Ашот.

— Вот этого-то я и не понимаю, — продолжал учитель. — Мы все друзья, а участь у нас разная. Сеид что-то знает, Ашоту грозит опасность, а мне как с гуся вода. Не может этого быть.

— Так ведь вы же русский! — выпалил Сеид.

Тревожная тишина воцарилась в комнате. Медленно заговорил Васильев:

— Значит, ты узнал, что готовится резня? Я так и думал. Ты понимаешь, Сеид, что это значит? Сколько невинных людей может пострадать! А ведь среди них твои друзья, Сеид.

— Что я могу сделать? Но я слышал, я знаю.. И отец, и Исламбек — заодно. Все мусульмане — против армян. Я видел оружие, ножи. Так страшно, Михаил Ивапович! Нужно придумать что-нибудь, предупредить. Я сам ничего не могу... Ашот, — продолжал он, обращаясь к другу, — я тебе денег дам, у отца украду, уезжай. Пожалуйста, ради аллаха.

— Нет, Сеид, теперь я никуда не уеду. Разве я брошу своих родителей? И свою сестренку, которая тебя любит, как брата? И мою бабушку, у которой мы оба ели вкусные лепешки. И моих... нет, наших друзей, с которыми вместе купались в море, бегали в Баладжары, лазили на Байлов мыс. Нет, я их не брошу. Никогда. Не буду спасать свою шкуру.

Последняя фраза прозвучала упреком.

— Так ведь я, — оправдывался Сеид, — ничего не могу сделать. Тебе сказал. А кому еще? Мирзабекянцу? Он без нас с тобой все хорошо знает.

— Ты прав, Сеид, — сказал Васильев, — конечно, мы тоже ничего особенного сделать не сможем, но все-таки своих друзей предупредим. А за Ашота ты не беспокойся: он у меня будет.

Когда Сеид ушел, Васильев сказал:

— Немедленно любыми путями нужно сообщить членам комитета. Свяжись, Ашот, с Алешей и Ваней, а ты, Маненька, — с Ольгой и Ефремом. Я разыщу членов «Гуммста». Вечером сбор у нас. Пошли.

Члены Бакинского комитета уже привыкли к тому, что почти каждый день приносил чрезвычайные новости, требующие немедленного решения. Но то, что они услышали, ошеломило их.

— Я уверен, — говорил Васильев, — что эта подготовка связана с приездом Накашидзе из Петер-

бурга. Резня в Баку должна стать южным вариантом Кровавого воскресенья в столице. Они хотят этой жестокой бойней задушить рабочее движение.

Мария была вне себя:

— Нет, не могу смириться с мыслью; неужели это возможно? Чтоб один рабочий резал другого!

— Да, ты права, — с яростью сказал Фиолетов, — нет ничего отвратительней и страшней, чем национальная рознь. А у мусульман это очень развито; фанатики, с детства прививают им, что армяне — их злейшие враги.

— Товарищи, — сказала Ольга Петровна, — наверное, сейчас нужно не рассуждать, а принимать решительные меры.

— Я предлагаю, — сказал Васильев, — немедленно выпустить листовку о готовящейся резне.

— А может быть, не стоит торопиться? — сказал все время молчавший Стопани. — Все-таки сведения не проверены.

— Когда резня начнется, поздно будет, — возразил Михаил.

— Да и что худого, если мы разъясним людям, что враг у них капиталист — русский, армянский, азербайджанский, — а не рабочие тех же национальностей?

— Ну что ж, — не очень энергично произнес Стопани. — Пожалуй, нужно повести агитацию в рабочих районах.

— А я согласен с Васильевым, — сказал Фиолетов, — давайте поручим ему написать листовку, попросим «Гуммет» перевести ее на тюркские языки, а на армянский переведет кто-нибудь из наших или из «Дашнакцутюна».

— Это предатели, — сказал Джапаридзе, — только испортят дело.

— Мы сами переведем,— смущаясь, сказал Ашот Карибян, который первый раз присутствовал на совещании,— гимназические организации помогут спасти армянские семьи в русских, азербайджанских и грузинских домах.

— Ну что ж, тогда не будем терять времени,— утомленно сказал Стопани.

«Уж не болен ли он? — подумал Васильев, глядя, как тяжело передвигается Александр.— Но разве в такую минуту он сляжет?» Михаила самого душил кашель, он чувствовал, как бросает его то в жар, то в холод. Но сейчас не время болеть.

Товарищи разошлись, Васильев задержал лишь Ашота.

— Погоди. Во-первых, поработаем, во-вторых, без меня теперь ходить не будешь.

— Что вы, Михаил Иванович!

— Не вздумай перечить. Садись, будем трудиться. А Мария Андреевна сходит в типографию «Нина».

Как и решил комитет, листовки на русском, армянском и азербайджанском языках были выпущены и распространены среди рабочих. Однако Васильеву показалось, что люди отнеслись к этим листовкам с недоверием. Абдалла Бурапов, тот самый рабочий, к которому он уже давно с интересом присматривался, даже сказал, что все это ерунда: с какой стати он, мусульманин, должен обижать Хачатура, хотя тот и армянин?

Но, пожалуй, самыми яркими противниками листовок оказались дашнаки. Они не спорили, они просто насмешливо отвергали самую возможность резки.

— Наши почтенные большевики,— кричал один из ораторов — членов «Дашнакцутюна»,— не знают, с какой стороны зажечь копилку, и поджигают ее фитиль, а дно... О какой резке может идти речь, если

здесь, в Баку, армяне и азербайджанцы живут вместе десятки лет? Нет, не о том говорят большевики, не о том...

Абдалла тоже считал, что на этот раз Васильев не прав: дашнаки первые завопили бы об опасности, если б она была, — ведь они армяне.

Абдалла Буранов с некоторых пор подружился с молодым рабочим Хачатуром. Отец его, старый часовый мастер, жил где-то на Нагорной, в бедном армянском районе, и юноша часто почевал в бараке, иначе не успеть ему в такую даль на работу.

Буранов и сам не знал, что понравилось ему в этом чернявом парнишке, — наверное, его детская открытость, доброта.

— Отец считает меня непослушным сыном, — говорил Хачатур, — потому что пошел я в нефтяники. Ему уж очень хотелось, чтоб я тоже стал часовым мастером, конался в ходиках, перекручивал стрелки часов. А мне это неинтересно.

— А в бараке жить интересно?

Хачатур вздохнул.

— А ты думаешь, у нас на Нагорной дворец? Приходи в воскресенье — посмотришь. — И вдруг спросил: — Хочешь, я тебе стихи прочитаю?

— Сказку, что ли?

— Ну вроде...

Ах, море, море, большое море,
Ты раздели со мною горе...
Во имя дружбы, ради братства
Немного подари богатства.
А я тебе отдам за это
Кусочек солнечного света
И ту мечту, что я лелею,
Ну, словом, все, что я имею.
Мне ничего не жалко, море,
Ты раздели со мною горе.

Абдалла не понял, что же хотел сказать Хачатур. Но почему-то тревожно, тоскливо стало на сердце.

— И все? — спросил он.

— Все... Так ты придешь в воскресенье?

— Приду.

— А найдешь?

— Конечно, — сказал он, — найду.

В это февральское утро падали пушистые снежные хлопья, скрадывая все уличные шумы. В средней полосе России такую погоду — снежную, с легким морозцем — называют благодатной.

Васильев наслаждался этим тихим, просветленным утром. Море было необычным: оно словно проглатывало валившийся на него снег, слизывало его с прибрежного песка и уносило с собой.

На улицах санные экипажи были нарасхват; у оборотистых извозчиков прибавились заработки и появился столичный шик.

Васильев смотрел на причудливое здание армянского собора, на людей, идущих со странной поспешностью, и утреннее благодушие, навеянное снежной погодой, сменилось чувством цемпящей тревоги.

И вдруг город как будто вздрогнул.

— Вай-вай. Вай-ва-а-ай! Спасите, режут! — раздался истошный крик женщины.

Это восточное «вай» ударялось о ступени собора, о крыши домов и, отлетая, вонзалось в сердце. «Что это? Несчастный случай или начало?»

Васильев осмотрелся. Недалеко от Парапета скапливался парод.

— Вай, вай, — голосила женщина в черном. — Зарезали! Бабаева зарезали! Мусульманина зарезали! Ножом зарезали! Как овечку зарезали! Вай, ва-а-ай!

Улица гудела. Остановились извозчики, откуда-то прикатили большую азербайджанскую арбу.

На мостовой, обагрив кровью снег, лежал убитый. Лицо его было удивительно знакомым; уж не та ли это «Черная шапочка» — тень Исламбека?

Пристав был здесь. Васильев ждал, что он произнесет свое привычное «разойдись!», но ни один мускул не дрогнул на лице полицейского.

Между тем толпа, обрастая новыми людьми, увеличивалась как снежный ком.

— Вай,— многоголосо стонала толпа.

И вдруг как колокол прозвучало:

— Это все они, армяне соленые. Люди! Армянин зарезал мусульманина. Бей их!

Васильев смотрел на пристава. Он знал, что все будет происходить при попустительстве властей. Но что будет происходить это так нагло — и представить себе не мог.

Толпа сразу поредела: почуяв педоброе, разбежались армяне.

Нет, в рабочих районах Накашидзе не посмел затеять резню: он знал, что большевистские листовки сделали свое дело. Но здесь, в этом разношерстном торговом центре города, было все подготовлено, все продумано...

Васильев видел, как вооруженные до зубов мусульмане положили на арбу труп Бабаева и, вознося руки к небу, проклиная армян и взывая к мести, грозной толпой двинулись за арбой. Сразу же откуда-то появился отряд солдат и группа полицейских. Они молча, словно эскорт, следовали за этой дико ревущей процессией, будто боясь, что кто-то может ей помешать.

И вдруг Васильев заметил Ашота. Юноша стоял, непонимающе глядя в то, что происходит. Не

помня себя, Михаил подскочил к Ашоту и, всем телом закрыв его, потащил в подворотню.

— Что ты, что ты! Неужели не понимаешь? Ведь это началось! Понимаешь? Началось!

То ли Васильеву передался испуг юноши, но он почувствовал, как холодеют ноги, как спазма перехватила горло. Лишь спустя какое-то время он нашел в себе силы выглянуть на улицу. Она опустела. Толпа ушла за арбой. До Васильева донеслись одинокие выстрелы, звон разбитого стекла и призывные, умоляющие крики.

— Боже мой, ведь там убивают! — закричал Ашот, вырываясь из рук Васильева. Но тот держал его крепко.

Улица была совсем безлюдна. И только на углу буднично стоял пристав Исламбек.

Буранов шел по улицам воскресного Баку, разыскивая указанный Хачатуром адрес. Он не знал, что в этом большом городе есть такие жалкие закоулки. Некоторые из них даже не имели названия; прилепились друг к другу несколько домишек чуть больше тех, что лепят дети из песка или глины, — и, пожалуйста, уже переулок. У них в селе, в Большом Саймапе, и то не увидишь такого жилья для людей.

Пытался Буранов спросить у кого-либо, где найти такую-то улицу, но в ответ одни кричали что-то непонятное про мусульман, другие испуганно отворачивались и убегали прочь.

Что-то тревожное происходило на улицах. Метались люди, мелькали, как падающие с неба снежинки. Они кидались в подворотни, стучались в чьи-то двери, испуганно озираясь вокруг.

Абдалла подумал, что могла начаться война. Неужели Турция или Персия? И сразу мысль: а как же он, Абдалла? Надо скорее домой, на Волгу. А может, вовсе и не война, а здесь, в этом армянском районе, всегда такая суэта?

Его внимание привлекла какая-то шумная процессия. На демонстрацию это было мало похоже, скорее всего, похороны. Впереди, сопровождаемая причитаниями и бабьими стенаниями, ехала огромная арба, какие бывают только на Кавказе. На ней лежал мужчина, а через всю арбу на черном лоскуте было написано: «Этого мусульманина зарезали армяне».

И вдруг Абдалла вспомнил: не о том ли говорил третьего дня большевик Михаил? Не есть ли это та самая резня, о которой он предупреждал?

Буранов не поверил тогда; как это может быть, чтобы один человек ни за что ни про что шел убивать другого? Бывало, конечно, и у них в селе дрались мальчишки-татары с соседями-чуваши, чья деревня паходилась на другом берегу речушки Сайман, тихого притока реки Сызранки. Да в каком селе дрались! А через час — друзья. А тут резня. Не верил, не верил Абдалла. Так и сказал Васильеву: мол, обижаешь меня. Что же, по-твоему, я пойду Хачатура убивать?

— Нет, ты не пойдешь, тебе это ни к чему, Буранов. Но правительство и Накапидзе найдут паемных убийц. В Петербурге царские солдаты стреляли в рабочих, а здесь более хитро: хотят вашими руками задунить движение пролетариата. Пусть, мол, они сами режут друг друга.

И все-таки Буранов тогда не верил. А выходит, большевик был прав. Но ведь армяне первыми убили мусульманина. Вон того, что лежит на арбе.

Процессия шла мимо него. Словно пьяные, люди палками били окна. В каком-то диком угаре врывались они в дома. И оттуда раздавались нечеловеческие, молящие о пощаде вопли.

Кто-то подбежал к нему:

— Слава аллаху!

Абдалла машинально ответил:

— Слава...

— Чего стоишь, магометанин, режь этих грязных армян! Они поганят нашу землю и нашу веру.

Буранов не ответил. Он смотрел в глаза этого человека; они были мутными, как уличные ручьи после дождя, белки — красные от гнева. Лицо почему-то желтое, а рот перекошен от безотчетной, неосознанной злобы.

Абдалла испугался — не за себя, нет, — за Хачатура. Может быть, и он сейчас вот так же кричит и зовет на помощь, как эти армяне в домах. Может быть, и его отец сейчас на коленях молит о пощаде вот такого же желтого убийцу.

Неожиданно Буранов услышал свое имя. Что это, не ошибка ли?

Он оглянулся и увидел Васильева. Тот стоял, обессиленно прислонившись к дереву. Пальто на нем было расстегнуто, на щеках таяли снежинки.

— А, это ты! — как старому знакомому сказал Абдалла. — Что же это? — простонал он. — Аллах не простит им этого, никогда не простит.

— Что ты здесь делаешь? — устало спросил Васильев, протирая пенсне и близоруко щурясь.

— Я к Хачатуру пришел. Он где-то здесь.

И вдруг встрепенулся, словно стряхнув с себя бессилие, Васильев.

— Где Хачатур? — решительно спросил он.

Буранов сказал адрес.

— Пошли.

Оказывается, это не так уж далеко — Нагорная улица. Они свернули туда, и было такое ощущение, словно шли они сквозь плотную завесу стонов и проклятий.

Возле одного из домов, в котором раздавались крики и стенания, стоял армейский офицер, отдававший какие-то распоряжения вытянувшемуся в струнку казаку. В руках у казака был полураскрытый саквояж, наполненный наспех вложенными туда вещами.

Васильев решительно подошел к офицеру.

— Разве вы не видите, что у вас творится за спиной?

Офицер презрительно посмотрел в его сторону.

— Проходите, проходите, не вмешивайтесь не в свое дело.

По обе стороны улицы лежали трупы. Какой-то городской стащил с убитого сапоги и пошел как ни в чем не бывало, зажав их под мышкой. Хмельные, раскраспевшиеся люди грабили магазины и дома, делились награбленным с городскими и казаками.

Неожиданно Буранов увидел покосившуюся вывеску: «Починю часы всякого вида». Маленький деревянный домик, наполовину вросший в землю, ничем бы не привлек внимания, если бы не эта вывеска, — он вспомнил, что отец Хачатура — часовой мастер.

— Здесь! — крикнул он Васильеву.

Михаил и сам уже присматривался к померу дома.

Они вошли в открытую настежь калитку, постучали в одну дверь, другую. Мертвая тревожная тишина была им ответом. На дворе повсюду были видны следы погрома — распоротые перины, разбитая посуда. В углу возле самых ворот лежал брошенный кем-то ржавый окровавленный топор.

В жуткой тишине, царившей в этом дворике, вдруг раздался легкий, едва уловимый шорох. Буранов встрепенулся. Из глубины двора прямо на него с огромной дубиной в руках шел Хачатур. Лицо его было в крови, старая, так хорошо знакомая Абдалле куртка изорвана в клочья. Он двигался вперед, пикого не видел перед собой, готовый опустить свою страшную палицу на первого встречного.

Ошеломленный, растерянный, Бурапов стоял, не в силах двинуться с места.

Васильев очнулся первым. Он шагнул вперед и тихо, почти ласково окликнул:

— Хачатур! Это я, Васильев.

На мгновение парежь остановился, словно задержался перед каким-то препятствием, и стал медленно, обессиленно опускать руки. Дубина выпала, но он не почувствовал этого.

— Откуда вы здесь? — спросил он.

— Ты звал меня в гости, Хачатур, — сказал Абдалла и сам поразился своему ответу.

Хачатур безразлично посмотрел на этих двух мужчин, зачем-то пришедших к нему, потом толкнул погой какую-то дверь, на которую они раньше не обратили внимания, и тихо сказал:

— Заходите.

Они успели пройти лишь маленький коридорчик и на пороге пахнувшей сыростью комнаты увидели человека. Он лежал с пробитым черепом, вскинув к голове руки. Глаза его были открыты. Хачатур стоял, направив в стену безумный, отсутствующий взгляд.

Васильев подошел к нему и, ни слова не говоря, положил руку на плечо. Он понимал, что слова сейчас излишни, но что не оставит этого парня здесь — уже решил твердо. Михаил еще не знал, как увидет

его, как переправит к рабочим на промысел, но понимал, что сделать это необходимо.

Абдалла был потрясен. Он осматривал маленькое бедное жилище, служившее одновременно и мастерской. Кому помешал этот маленький старикашка, упавший замертво от первого же удара? Кому? Кто поднял на него руку? Грабитель? Но ведь здесь и грабить-то нечего — нищета.

Он осмотрелся вокруг и вдруг замер от удивления: не во сне ли это? В углу, под маленьким подслеповатым оконцем, лежали часы — такие же, ну почти такие же, как у муллы, — с большим циферблатом, стеклянными дверцами и тяжелыми медными гириями. Что угодно ожидал увидеть здесь Бурапов, но не эту тайную, никому не высказанную мечту свою... Кто принес старику в ремонт часы, кто лишился их теперь навсегда? Ведь заберут, утащат их грабители «во славу аллаха»...

А может быть, эти часы принадлежали старому мастеру и он хранил их для сына, для своего Хачатура?

Ему стало стыдно — перед Хачатуром, перед этим русским, перед всем миром.

А на улице продолжалась резня.

Васильев возвратился домой поздно: он отвез Хачатура и еще нескольких армянских юношей в рабочий район Балаханы. Абдалла Бурапов сопровождал его всюду, и его татарская внешность спасала Михаила от многих неприятных столкновений.

По улице Красноводской, где он жил, пройти было невозможно: этот район густо населен армянами, и резня здесь была, видно, особенно кровавой. Можно только удивляться, как быстро полиция снаб-

дила погромщиков оружием — почти у каждого за поясом торчал револьвер военного образца, повестький, вороненый. Наверное, не только полиция, но и военное ведомство не поскупилось.

Мария встретила мужа вздохом облегчения, она немало поволновалась за него. Во-первых, пуля не разбирается, где армянин, а где русский, а во-вторых, Исламбек с его компанией может расправиться запросто с негодными, — поди потом доказывай, что это — дело платного убийцы, а не разъяренной толпы.

— Где Ашот? — тревожно спросил Михаил. Он оставил его дома, на попечение жены, и боялся, что сбежит этот темпераментный мальчишка в самое пекло.

— Я отвезла его в порт, он у надежных товарищей на русском пароходе, — успокоила его Мария.

У Михаила отлегло от сердца, и он обессиленно свалился на диван.

В тот же вечер к нему домой пришли Стопани, Джапаридзе, Фиолетов. Алеша выглядел не только растерянным, но и виноватым, будто поверь он сразу сообщению Сеида — что-то можно было предотвратить. Стопани молча шагал по комнате, а Ваня Фиолетов кричал, не помня себя:

— Бапдиты! Подлецы! За что? Жгут, громят, грабят. А Накашидзе спокойно разъезжает по улице, и мусульмане кричат ему «ура!».

Стопани сел и, сцепив руки, раскачиваясь, словно от зубной боли, сказал:

— Товарищи! Мы выпустили листовки, мы пытались предотвратить эту дикую резню. Но пока это еще не в наших силах. Совершенно очевидно, что наемным бапдитам было выдано оружие, которого у нас почти нет. И потом, резня была спровоцирована импе-

но здесь, среди непролетарских элементов. Давайте, товарищи, вместе решать, что делать дальше.

Товарищи молчали.

— Да,— сказал наконец Джапаридзе,— мы знали, кто виновник этих погромов. И пока еще не в силах остановить резню. Но мы должны разъяснить людям, что это братоубийственная резня и кому она на руку.

— Нужно ехать в рабочие районы,— сказал Васильев.— Нам не удалось предотвратить резню, по мы обязаны не допустить, чтобы она перебросилась туда.

Валя Фиолетов вскочил:

— Нужно создать боевые отряды из сознательных рабочих. Погромщиков тоже можно громить...

Васильев понимал, что создать такие отряды можно, однако сделать они все равно ничего не в состоянии: ведь на стороне погромщиков полиция, войска...

Но он не возражал. Сейчас все средства были хороши в борьбе против погромов. Фиолетов продолжал:

— Кроме того, я предлагаю организовать рабочую демонстрацию по улицам города и вывести на нее вместе и русских, и азербайджанцев, и армян — всех честных людей.

Разошлись быстро, была глубокая ночь, а каждому из них утром предстояло отправиться в промышленные районы. Васильеву пужно было идти на занятия.

В учительской стояла тишина. Педагоги растерянно поглядывали друг на друга, не зная, что предпринять. Занятий сегодня не будет — это ясно. Да и придут ли ученики?

бочим, населению и войскам с призывом не допустить дальнейшего кровопролития невинных людей, разъясая, кто является истинным зачинщиком этой безумной резни и каковы их цели.

«Обрушимся же на действительных виновников чудовищного преступления — полицию, администрацию, на самого самодержавного царя, как главного виновника всех бедствий и преступлений», — писал Васильев. Листовку эту Мария утром отнесла в скоропечатню Бакинского комитета, и сегодня она должна была появиться в городе и рабочих районах.

Кое-кто из учеников все-таки явился па занятия. Они были перепуганы: шутка ли, идти в училище мимо необруанных трупов, видеть лужи крови...

Учитель смотрел им в глаза и видел в них немой вопрос: что же это?

— Друзья, дорогие мои ученики! Вы уже не маленькие, — говорил Васильев, — и вы должны знать, что на улицах Баку происходит страшная несправедливость. Не армяне, не азербайджанцы ее главные виновники, а власти, царь, губернатор Накашидзе. Я говорю вам так потому, что сейчас нельзя говорить иначе, люди обязаны знать правду. Иначе можно потерять самое святое — веру в человека.

Он стоял посреди коридора, окруженный учениками. Он видел, что возле него остановились два учителя. Они внимательно слушали коллегу и молчали, не смея прервать «крамольную речь» его перед учениками.

Он постоял немного и тихо сказал:

— Пойдемте, я отведу вас по домам.

Они не хотели уходить: здесь, возле учителя, этого смелого и честного человека, им было безопасно. А выходить на улицу не хотелось — уж очень там страшно.

Вооруженного выступления против погрома организовать не удалось: не хватило оружия, да и подступы к рабочим районам были перекрыты полицией.

А вот демонстрация протеста против резни состоялась. Все члены Бакинского комитета разошлись по предприятиям, чтобы собрать на эту манифестацию представителей бакинского пролетариата.

Демонстрация шла по улицам города, и впереди ее рядом с Васильевым шагали Буранов, Хачатур, Ашот...

Полиция несколько раз пыталась разогнать рабочих, по этому ей не удалось. Большевики позаботились о том, чтобы охрана демонстрации была надежной, — боевые дружины были настроены очень воинственно.

Лозунги «Прекратить братоубийственную резню!», «Долой погромщиков!», которые несли демонстранты, вызвали сочувствие у большинства населения города, и это всерьез напугало Накашидзе. Резней, которая длилась четыре дня, была перепугана даже буржуазия: погромщики не щадили никого. Распоясавшиеся бандиты громили дома богатеев-армян; были совершены также налеты на зажиточных мусульман. Трудно сказать, была ли это провокация, акт мести или просто грабеж. Во всяком случае, представители азербайджанской, русской и армянской буржуазии, боясь выступлений рабочих и того, что погром может перехлестнуть национальные рамки, обратились к губернатору Накашидзе с просьбой «принять решительные меры».

10 февраля на улицах Баку была расклеена листовка Бакинского комитета РСДРП:

«Безумные жестокости, происходившие последние четыре дня на улицах Баку, поведение войск и администрации, загибье, наступившее сразу, как только

губернатор вмешался, все до очевидности ясно доказало, что царская полиция сознательно натравляла татар на армян, чтобы по примеру Кишинева, Гомеля, Могилева и др. городов попробовать разжечь национальную вражду, разъединить и ослабить могучее революционное движение пролетариата. Кровавая бойня в Баку — это ответ на последнее восстание рабочих в Петербурге. Но пролетарии всех национальностей России отзовутся на этот новый вызов самодержавия новым могучим революционным натиском, который свергнет ненавистное, залитое народной кровью царское правительство. И мы бастуем, чтобы сейчас же заявить это царскому правительству и выразить полную солидарность рабочим всех национальностей.

Долой позорное царское самодержавие!

Да здравствует всероссийское восстание!

Да здравствует международное единение рабочих!

Бакинский комитет РСДРП».

Васильев любовался этим человеком — неумным, неистовым. Его все, даже царская охрапка, знают под именем Алеши. Ему еще нет тридцати, этому черноглазому уроженцу селения Шердомети Кутаисской губернии.

Молод... Впрочем, молодым его можно пазвать лишь относительно: воп тамбовский нарепъ Вапя Фиолетов едва насчитал двадцать лет своей жизни. А одному из активных деятелей «Гуммета», уроженцу азербайджанской Шемахи Солтану Эфендиеву, и того меньше — еще восемнадцати не исполнилось.

«Гуммет» — гордость Алеши и всего Бакинского комитета. Работа среди азербайджанских рабочих

всегда была сложной: вековой гнет наложил свой тяжкий отпечаток на местных пролетариев.

В дни жестокой резни гумметовцы не только переводили на азербайджанский язык листовки Бакинского комитета, но выступали перед рабочими, призывая остановить кровавых громил.

После резни город не успокоился. Вопреки предположениям Накашидзе и Лилеева о том, что люди, словно мыши, забьются по своим углам, народ начал собираться на различные митинги и собрания: бакинцам необходимо было выговориться, послушать других, понять, что же происходит.

Васильев ходил на эти собрания в сопровождении учащихся реального училища, теперь они следовали за ним повсюду. Ученики почти всех учебных заведений города участвовали в митингах и сходках. Реалисты же были горды тем, что самым справедливым и самым горячим оратором на этих собраниях был их учитель естествознания.

...По заданию комитета они пришли на первый такой митинг вместе — Михаил Васильев и Алеша Джапаридзе. Местные либералы, пеистоощимые группы, соревновались в красноречии, и казалось, что они вовсе забыли, по какому поводу собрался этот митинг, какая жестокость царила еще вчера на улицах Баку.

С галерки, куда забрались реалисты, в большой зал общественного клуба посыпались большевистские листовки. На мгновение замер, застыл зал, а затем люди вскочили, вскинули руки и стали их ловить. Кто-то поднялся на трибуну и начал вслух читать листовку. Васильев знал ее слово в слово: она была плодом его бессонной ночи.

Он тронул Алешу за плечо:

— Начнем? От имени комитета...

— Давай, Михаил, ни пуха ни пера!

Васильев попросил слова. Председательствовавший на митинге незнакомый мужчина, глядя поверх очков, спросил:

— Вы, собственно, кто будете?

— А это сейчас станет абсолютно ясным. Что же касается фамилии, так это больше должно интересовать жандармов...

Итак, здесь много сегодня говорили — так много, что хватило бы на двадцать собраний. И, наверное, мне не следовало подниматься на трибуну, если хотя бы один из ораторов говорил по существу. Простите меня, господа, но, право, в такое время упражняться в красноречии — преступно. Воп как распинался господин адвокат: намеки, улыбочки, иносказания. Эзоп, да и только. Великий Крылов позавидовал бы. Можно подумать, что по улицам Баку лилось шампанское, а не человеческая кровь, что на мостовых лежали манекены, а не трупы нам подобных. Нет, господа либералы, время для болтовни не подходящее.

Зал взорвался овациями. Обстановку благодушия, навсяпного словоизлияниями либеральных буржуа, как рукой сняло.

— Не просить и намекать собрались мы сюда. Сегодня от имени Бакинского комитета Российской социал-демократической рабочей партии я обвиняю царизм, его сатрапов и холуев в убийствах сотен, тысяч ни в чем не повинных людей. Да, я виню в этом царя в Петербурге и Накашидзе в Баку!

Гул одобрения прокатился по залу.

— Вдумайтесь, почему резня началась в разных концах города одновременно, кто вложил в руки громил огнестрельное оружие, и вы без труда увидите, куда ведет дорожка, кто направлял погромщиков. Всем ясно, что этой бойне предшествовала подготов-

ка и что руководила ею опытная полицейская рука. Пусть господа ораторы объяснят мне без иносказаний: разве недостаточно было воинских и полицейских сил, чтобы прекратить беспорядки?

Председатель несмело, а потом все более настойчиво стал звонить в школьный звонок, который до этого бездействовал у него на столе. Из зала раздались возгласы:

— Не мешай говорить правду!

— Не нравится — уходи.

Васильев вежливо повернулся к председателю.

— Слыхали? Так что извольте не мешать.

И слова, обратившись к залу, продолжал:

— Общественная совесть требует не либеральной болтовни, не сдерживающих звоночков, а открытого, прямого суда, который бы раскрыл истинных виновников бакинской трагедии. Но могут ли быть судьями царские чиповники? Нет и еще раз нет! Трагедия эта, к стыду и ужасу России, является неизбежным следствием политики правительства; на царя и его правительство ложится вся ответственность за происшедшее, за тысячи трупов, за реки крови. Больше того, не может быть судьей сам виновник. Вот почему мы с полной ответственностью и решительностью заявляем: долой царское правительство! Оно ненавистно всем честным людям, с ним надо покончить как можно скорее и решительнее, иначе нет гарантий от повторения новых пасилий, новых ужасов, новых преступлений. Единственным средством покончить с этим врагом всех народностей России является всенародное восстание. Необходимо немедленно готовиться к революции, необходимо организовать и вооружиться!

138
Последние слова Васильева о революции как бы охладили некоторых. Не далеко ли зашел оратор?

Раздались робкие голоса либералов.

— Это уже слишком.

— Опять вооружаться? Опять кровопролитие?

— Да,— настаивал Васильев,— вооружаться, как бы там ни пищали царские подголоски, как бы ни прятались премудрые пескари. Революция грядет, и вождем ее будет пролетариат всех народов и национальностей России. Вы не сможете помешать ей, господа адвокаты царского трона! Вот почему комитет бакинских социал-демократов большевиков призывает:

Да здравствует всенародное восстание!

Долой царское самодержавие!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует пролетариат, освободитель всех угнетенных!

Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!

Да здравствует социализм!

Когда Васильев и Джапаридзе возвращались домой, от них ни на шаг не отступали Хачатур, Абдалла и, конечно, гимназисты.

В Петербург из Баку... Телеграмма начальника штаба отдельного корпуса жандармов господину командиру корпуса:

«В Баку анархия: вчера на собрании учитель Васильев призывал к убийству царя и уничтожению всего романовского дома. Заседание Думы по неотложным вопросам не состоялось вследствие скопления евреев, агитаторов-армян, пытавшихся произносить революционные речи. Подготавливается трехтысячное собрание в Варне, а в общественном собрании — гимназистов под руководством учителей.

Губернатор присужден к смерти. Если не будут приняты срочные меры, положение станет критическим.
Генерал Медем».

«Третий день в общественном клубе происходят открытые заседания для желающих, где члены революционного комитета призывают сбросить самодержавие и с оружием в руках смело двинуться в кровавый бой... Полиции не существует, власти в беспомощном состоянии...»

После традиционных слов «соблаговолите распорядиться» стояла та же подпись начальника штаба отдельного корпуса жандармов.

Финансовая комиссия собирала деньги на приобретение оружия. Узнав об этом, Михаил сказал:

— Надо, Маруськ, всенародный сбор объявить.

Вечером, выступая на очередном собрании, Васильев сказал:

— Весь город в огне, вся Россия следит за тем, как героически отстаивает свои права бакинский пролетариат. Мы первыми в России добились в декабре прошлого года договора между промышленниками и рабочими. Мы первыми в России ударили царских сатрапов по рукам за разжигание национальной вражды. Но для того, чтобы по-настоящему быть сильными и боеспособными, нам нужно оружие. Оружие во что бы то ни стало! Много оружия! А значит, и много денег. Я призываю вас внести свои рубли на благородное дело, на необходимое дело вооружения народа. Вооруженный народ — это сила, это подлинный справедливый судья. Вот почему наша партия призывает: деньги — на оружие! Оружие — народу!

Мария никогда не видала Михаила таким целеустремленным. Васильеву постоянно грозила опас-

ность, по Хачатур и Буранов не отставали от него ни на шаг. Абдалла изменился, словно резня пробудила его, раскрыла ему глаза па то, что происходит вокруг. Теперь, после всего, что пришлось увидеть и услышать, Буранов твердо знал, что с его прежней жизнью покончено.

Губернатор Накашидзе не выходил из своего дома. Генерал Лилеев про себя отметил: а он не из храброго десятка. Весть о том, что губернатор на одном из митингов приговорен к смерти, как-то сразу повлияла на Накашидзе, ошеломила, обезоружила. Он обмяк, как мяч без воздуха, с ним невозможно было разговаривать о чем-либо...

И только сообщение о том, что из Тифлиса спешно перебрасываются в Баку значительные контингенты войск, вернули губернатору обычную самоуверенность. Как всякий безвольный человек, Накашидзе тут же папустил на себя такую суровость, что вызвал у Лилеева едва сдерживаемую улыбку.

— Ничего, казаки покажут этим ораторам, где раки зимуют. Я вынесу смертный приговор этим социал-демократам. И имя же придумали себе — большевики. Ничего, мы еще посмотрим, кто из нас больше...

Он бегал по кабинету, на всякий случай выглядывая в окно — надежна ли охрана и кто из казаков сегодня дежурит. Он узнал за эти дни почти каждого в лицо и про себя решил, что непременно наградит их, если... Ох это «если»! Мысль о смертном приговоре не давала ему покоя.

— Как только придут войска, — распорядился губернатор, — разбудите наконец нашу благословенную полицию. Эти храбрецы боятся нос высунуть из своих

берлог — как бы не слопали их революционеры. Громить армянские магазины они мастера, а тут изволь надеяться на казаков. Нечего сказать, опора империи! На такой опоре долго не продержишься.

Начальник штаба отдельного корпуса жандармов генерал Медем посетил губернатора, когда тот, закрывшись в кабинете, спал в кресле, подалее от окна. Осторожность храброго бакинского правителя вызвала улыбку: он и па казаков не очень-то надеется.

Медем не был дипломатом. Он спросил прямо и, как показалось Накашидзе, пагло:

— Вы давно не были на воздухе, генерал?

— С чего вы взяли?

— На вашем лице какая-то непопятная бледность. Разрешите открыть окно?

— Нет, — испуганно вскочил с кресла губернатор, — не разрешаю.

И тут Накашидзе дал волю гневу. Он говорил так, словно перед ним стоял не один генерал, а весь жандармский корпус России:

— Шутить изволите? Издеваетесь над моим невольным заточением? А кто виноват? Где ваши хваленые голубые мундиры? Где полиция? Где порядок? Решили бросить меня буштовщикам, как собаке кость? Докладываете в Петербург о том, что губернатор присужден к смерти! Не понимаете, что моя смерть будет только началом, а потом уж и вам этой участи не избежать, господа генералы?

Он подошел к своему письменному столу и впервые за много дней снова почувствовал себя губернатором.

— Немедленно наведите порядок — огнем и мечом. Переловите говорунов, и этого... учителя Васильева в первую очередь! Если вы этого не сделаете, ваше присутствие в Баку бессмысленно. И телеграфи-

ровать об этом я буду не вашему уважаемому начальству, а самому государю!

Он хлопнул ладонью по столу и, по привычке глянув в окно, сказал:

— Я надеюсь, что наши очередные донесения в Петербург будут более оптимистичными.

Аресты и обыски начались в ту же ночь.

Дома Васильев не почевал. Ашот всякий раз предупреждал Марию Андреевну, где сегодня учитель, чтобы она не беспокоилась, — домой опять не придет.

...Трехтысячное собрание в цирке вылилось в огромное, значительное событие. Ни у кого из большевиков не было сомнения: сейчас, в эти дни, можно взять власть. Но надолго ли? Хватит ли сил удержаться? Весть о том, что из Тифлиса на Баку двинулись войска, заставляла задуматься, — с регулярной армией не совладать.

— Ничего, товарищи, — говорил Васильев, — мы живем не только сегодняшним днем. Бакинский пролетариат прошел в феврале этого года серьезную школу борьбы. А экзамен на аттестат зрелости еще впереди...

Что аресты начнутся именно с Васильева — у комитета сомнений не было. Учитель Васильев стал личностью известной, заметной, видной. Оставлять его на легальном положении было бы непростительной беспечностью. Васильев скрывался в рабочих бараках, на конспиративных квартирах. Но тучи над ним сгущались.

В училище он не появлялся — реалистам было не до учебы. Они так же, как гимназисты и техники, не пропускали ни одного митинга, ни одного собрания.

Вечерело. Мария сидела одна и думала о муже. Несомненно, ему грозила тюрьма. После стольких дней волнения, после такого нервного напряжения его болезнь несомненно обострится. Тюрьма может погубить его.

В дверь постучали. Мария прислушалась. Нет, на полицию это не похоже. Она открыла.

На пороге стоял закутанный в башлык незнакомый мужчипа. Нос красный, лицо тщательно выбрито. Он говорил каким-то утробным, неестественным голосом.

— Вам привет от большевика Васильева...

— Извините, я знаю учителя Васильева. Это мой муж.

— Ах, вот как, значит, большевиком вы его не признаете? Отказываетесь?

Мужчина развязал башлык — и она ахнула: Мишка! Михаил!

— Ты? Где же твоя борода? Где усы? Вместо пепсе какие-то очки...

— Ах, значит, и впешность мою не признаешь?

Она была вне себя: как он может шутить, если ему грозит опасность? Неужели он не знает, что дом оцеплен, что день и ночь вокруг шныряют шпики.

— Ты безумен! Ведь ловушка может захлопнуться. Они тебя ждут ежеминутно.

— Так то же меша. А перед тобой не я, а совсем другой человек.

Впрочем, он успокоил ее: дом оцеплен не только полицией, рабочая дружина не оставляет его одного. А с Исламбеком уже ведет разговор Абдалла Буранов, — кажется, о Магомете и всемогущей силе магометапства.

Он пришел проститься: комитет решил, что в Баку Васильеву оставаться нельзя, и предложил выехать в

Женеvu, к Ленину, чтобы рассказать ему о событиях последних месяцев на Апшероне.

— Ты понимаешь, я не мог устоять. Алеша так много рассказывал мне об этом человеке. Я столько читал его!..

Он словно оправдывался перед ней за то, что уезжает, что оставляет ее одну...

— Понимаешь, я на шаланде, морем. Вокзалы все оцеплены, пароходы тоже тщательно проверяются. И потом, пока ты здесь, они уверены, что я тоже в Баку. А ты приедешь ко мне через месяц-другой — прямо в Женеvu, па роскошное озеро.

Он шутил, а она вдруг вся попикла. Знала, что скучать ей не придется: работы у нее было хоть отбавляй. Но ей трудно было представить себя без него, в одиночестве.

Они попрощались так, будто завтра слова встретятся. Васильев вышел через черный ход, осмотрел двор и, увидев притаившегося возле подворотни парня, тихо свистнул. В ответ раздался условный сигнал: путь свободен.

Михаил прощально махнул рукой своему Маруську и тихо сказал:

— Пошли, Хачатур!

Над Каспийским морем плыли и плыли мрачные тучи. Шаланду, па которой уходил Васильев, раскачивала волна, — ненадежное рыбацкое суденышко. Ее хозяин согласился забросить пассажира в Дербент — этот маршрут был ему хорошо знаком.

Васильев стоял в шаланде и смотрел на берег. Там остались его друзья. Вот стоит Ваня Фиолетов, вот Солтан Эфендиев, а вот и два неразлучных дру-

га — Абдалла и Хачатур. Тяжкую цену уплатили они за свою дружбу.

Он не знал, встретится ли с ними еще когда-нибудь. С Вапей и Солтаном, пожалуй, встретится: у профессиональных революционеров часто сходятся пути. А вот с Бурановым и Хачатуром вряд ли... Абдалла здесь долго не задержится: его ждет Волга, семья, маленький Фатых. А Хачатур? Как сложится твоя жизнь, милый и добрый парень с черной гривой вьющихся волос? Что ждет тебя, прямой и горячий юноша Ашот? Ты стал Васильеву одним из самых близких и необходимых людей в Баку.

Он прощался с городом, в котором провел полтора трудных и радостных года. Здесь впервые в жизни он почувствовал себя не просто агитатором, но и борцом, воином; здесь впервые он ощутил огненное дыхание революции. Перед ним была целая армия будущих бойцов. Они еще не ринулись в решающий бой, еще не смяли неприятельские редуты. Но враг уже испытал на себе силу этой армии, этого пролетарского войска.

Михаил Иванович Васильев стоял в суденышке и махал руками, посылая прощальный привет всем друзьям, всем тем, с кем свела его борьба в этом огромном городе. И ей особый — его Марии, его товарищу, его любимой...

Шаланда уходила в море.

В Женева

После долгого пути — добирался он в Женеву через Петербург, Ригу, Германию — Васильев совершенно случайно познакомился на берегу Женевского озера с мужчиной лет сорока. Густые, зачесанные паверх волосы и квадратная с проседью борода. Слегка одутловатое лицо его не привлекло бы к себе внимания, если бы не книга, которую держал в руках этот человек, — «Н. Щедри».

— Вы русский?

— Да. Ошвейцаренный слегка.

Они разговорились. И как же обрадовался Михаил Иванович, когда узнал, что рядом с ним — хорошо известный в российских подпольных кругах Галерка, Михаил Степанович Ольминский!

Васильев заинтересовался происхождением этой «театральной» клички.

— А кто большей частью сидит на галерке? Но аристократия же... То-то...

Ольминский расспросил, как доехал, где остановился, с чего и с кого собирается начинать знакомства.

— Раз здесь, перед вами, то доехал. А вот остановился пока около вас. Только что с вокзала и вот решил поклониться озеру.

— Пойдемте ко мне, — предложил Галерка, — там и решим, что делать дальше.

Ольминский жил в тихой улочке и занимал небольшую комнату с отдельным входом. Обстановка ее располагала к труду. Несколько этажерок были плотно забиты книгами, около них — удобное мягкое кресло. Михаил обратил внимание на то, что на стене висели портреты Маркса и Щедрина.

Васильев, смертельно уставший с дороги, расположился в уютном кресле.

— Ну-с, а теперь о знакомствах. С кем познакомитесь в первую очередь? Конечно, с Бельтовым — Плехановым!

Васильеву не хотелось бы именно так ставить вопрос. Причем тут в первую очередь? Кстати, он здесь?

— Георгий Валентинович? Как же, как же. Царствует, царствует...

Михаил Ивапович почувствовал иронию и понял ее. Он знал о поведении Плеханова на Втором съезде и после съезда, о желании Плеханова всегда выглядеть мэтром, учителем, профессором среди студентов. Но ведь это Плеханов!

Галерка предложил:

— Знаете что, дорогой товарищ, сходим-ка с вами вечерком к Владимиру Ильичу Ленину.

Погода в Женеве чем-то напоминала бакипскую в самую благодатную пору. Подует с моря прохладный ветерок и успокоит тебя, обласкает. Немного таких дней бывает в Баку, но бывает.

— О, какой у нас сегодня гость! — всплеснула руками Надежда Константиновна, когда Ольминский представил ей Васильева, и так это у нее получилось просто, по-русски сердечно, что Васильев сразу почувствовал себя здесь свободно.

— Помилуйте, Надежда Константиновна, какой я гость!

— Самый дорогой, Михаил Иванович. И не скромничайте, пожалуйста, не надо. Ведь вы из России, а что для нас может быть интереснее и желаннее? Да к тому же Владимир Ильич о вас наслышан, за бакинские дела назвал даже воинствующим интернационалистом.

— Ну, уж и воинствующим, — смущенно произнес Васильев. — Впрочем, другими нам быть нынче никак нельзя.

— Владимир Ильич рад был бы услышать эти слова.

Ленина долго ждать не пришлось, а когда он услышал, какого гостя привел Ольминский, обрадованно произнес:

— А! Это замечательно! Великолепно! Я скорее хочу услышать рассказ о Баку, — сказал он просто. И тут же, весело рассмеявшись, добавил: — Но прежде всего, извините, руки вымою. Только что общался с меньшевиками, непременно пужно вымыть.

— Володя...

— Ничего, Надюша, Михаил Иванович, кажется, закопчил естественный факультет. Он знает, что такое зараза.

— О да, с этой прелестью я знаком уже не как естествоиспытатель, а как революционер.

— Вот видишь, Надюша, а ты боялась, что я сказал что-то не так.

— А знаете, Михаил Иванович, мне пришла в голову интересная мысль,— оживленно заговорил Владимир Ильич вернувшись,— Васильев — это звучит хорошо, но мало. Коротко. На Руси все выдающиеся полководцы получали в знак побед своих вторую фамилию. Суворов, если мне память не изменяет, Римникский, Румянцев, изволите ли видеть, Задунайский, даже Потемкин и тот Таврический. А чем же вы хуже, милостивый государь?

Михаил Иванович, ценитель шутки, рассмеялся.

— Так то вельможи да полководцы, Владимир Ильич. Им одной фамилии мало.

— А нам с вами и подавно,— ведь им не приходилось прятаться под псевдонимами. Нет уж, батенька, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Сейчас мы произведем обряд посвящения вас в вельможи.

Васильев расхохотался.

— Да, вельможа из меня получится знатный. Говорят, на юге князей куда больше, чем на Руси. Каждый третий себя князем именует. Мы, между прочим, этим неплохо пользуемся: пазовем подпольщика князем, к нему и власти с почтением относятся...

— Вот видите. Наденька, чем мы сегодня отметим производство Михаила Ивановича в вельможи?

— Позвольте, Владимир Ильич, по ведь есть целых два препятствия.

— Говорите, будем полемизировать. Чему-чему, а этому мы с вами научились. И так...

— Происхождение неподходящее,— улыбаясь, заметил Васильев. Ему нравилась эта обаятельная манера вести разговор, это дружелюбие и простота. «Интересно, как бы то же самое сделал Плеханов? Вероятно, сказал бы величественно-кратко: для пользы дела отныне будете именоваться так-то или так-то». — Мать у меня прачка, а отец — дворник.

— Не принимается. В словах «дворянин» и «дворянин» — один и тот же корень «двор». Так что происхождение вполне подходящее. Второе...

— Для того, чтобы заслужить такое вельможное право, пужны как минимум победы.

— Значит, милостивый государь, разжигать национальную рознь, как это делают вельможи, — победы, а гасить этот ужасный огонь — нет?

Васильев развел руками.

— То-то. А теперь, Надюша, придумывай фамилию.

— Нет, Володя, ты уж, пожалуйста, сам.

— Хорошо. Мы сейчас с Михаилом Степановичем займемся творческими вопросами, а ты, пожалуйста, позаботься об ужине. Конечно, мы можем закатить пир с шампанским и ананасами... (Галерка не выдержал и рассмеялся.) Но на сей случай требуется блюдо фирменное. А какое у нас блюдо фирменное, Михаил Степанович?

— Яичница.

— Вот именно. Так, значит, яичница по-крупски. Хм... Смею вас заверить, Михаил Иванович, Наденькина яичница лучше паюсной икры...

— Володя...

— Не буду... Итак, остановка за малым... Фамилия. Значит, Румянцев-Задупайский, Потемкин-Таврический, Васильев-Южин... А? Как, Михаил Степанович, вам правится Васильев-Южин? Звучит?

— Звучит.

— Надюша, а тебе правится? В самом деле, ныне столько Васильевых в революцию пошло, что надо ведь отличать одного от другого. Итак, милостивый государь, не последует ли возражений с вашей стороны?

— Очень метко, Владимир Ильич. Ведь я действи-

тельно Южин. Мой прадед захватил в плен кабардинку во время военного похода и женил на ней моего деда, так что есть в Васильевых южная кабардинская кровь.

— И природа вашей воинственности теперь попята, — заметила Надежда Константиновна.

— Вот видите. Но мы не за кабардинскую кровь вас Южиным парекаем, а за бакипские дела. Я немало слышал, по мне хотелось бы о них узнать побольше. Как там Бакипский комитет, как паша типография, как распространяется «Искра»? Скажите, пожалуйста, это не вы ударились в публицистику? Не ваш ли фельетон я читал в газете «Баку»?

— Мой, Владимир Ильич...

— А я и не сомневался. Здорово вы о муравьях. Образно и точно. Ну-с, я рад, дорогой товарищ Южин, что нашего брата литератора прибыло. Я тут уже усадил за работу и Воинова, и Луначарского, и Ворковского, и даже Литвинова приходится отрывать от его непосредственных обязанностей по связям с иностранными комитетами. Так что готовьтесь к письменным и устным выступлениям. И главная ваша тема — наши бакипские дела.

— Володя, давай сначала поужинаем. Тем более, что паш ужин много времени не займет...

Яичница у Надежды Константиновны действительно получилась знатная — не слишком зажаренная и потому мягкая и нежная.

— Знаете, — признался Михаил, — я словно в деревне побывал, в нашем южном Ставрополе, уж очень эта яичница приготовлена по-русски.

— И по-русски, и по-крупски, — уточнил Владимир Ильич.

— Я уже привыкла к этим комплиментам, — спокойно сказала Надежда Константиновна. — Если

всякий раз готовить одно и то же блюдо, невольно станешь специалистом...

Недолгий ужин прошел за веселыми шутками, и к концу этой немудреной трапезы Михаил чувствовал себя своим человеком в этом доме...

В этот вечер Владимир Ильич подробно расспрашивал о бакинских делах, особенно о настроениях пролетариата на нефтяных промыслах. Михаил Иванович рассказывал и о знаменитой бакинской нефти, и о невиданных прибылях нефтепромышленников, об ужасающих условиях труда и жизни рабочих.

Ленин слушал не перебивая, лишь изредка переглядываясь с Ольминским, взглядом подтверждая какие-то давние, уже известные Галерке мысли.

Но особенно оживился Владимир Ильич, когда речь зашла о позиции меньшевиков, о братьях Шендрикковых, их неприглядной роли в бакинских делах, и прежде всего в декабрьской всеобщей стачке.

— Вот-вот. Об этом непременно расскажите в своей лекции. Пусть наши златоязыкие меньшевики порадуются плодам своих раскольнических деяний. Пусть увидят, как их последователи в Баку вредят делу рабочего класса. Готовьтесь, товарищ Южин, вероятно, в майские праздники и выступите с докладом или рефератом — как вам будет угодно. И о резке расскажете.

Владимир Ильич встал, прошелся по комнате и остановился, глядя в окно.

— Это ужасно, это ни с чем не сравнимо. Один пролетарий убивает другого только за то, что он другой национальности. Искать выход из своего рабства в убийстве такого же несчастного, как и ты, — что может быть более жестоким и нелепым!

Он стоял бледный и строгий, совсем не похожий на того Ленина, которого Михаил наблюдал при

знакомстве. Надежда Константиновна задумчиво сказала:

— Все это действительно жутко и страшно и у каждого честного человека должно вызывать гнев и возмущение.

Михаил Иванович не представлял себе, что первый его доклад в канун Первомайских праздников перед русской социал-демократической эмиграцией вызовет такой интерес — послушать его пришли и большевики, и меньшевики. Тут были и Мартов, и Максимов, и Юсов, — словом, маленькой группе большевиков трудно было бы тягаться с ними, если бы завязался какой-либо спор.

— Вы все-таки вверните пару слов насчет предательства меньшевиков, — шепнул ему на ухо Галерка. — Вот писку-то будет.

— Потоньше, Михаил Иванович, — посоветовала Надежда Константиновна, — пусть эти интеллектуалы взвываются в поднебесье...

Владимир Ильич представил оратора:

— Сегодня с рефератом о бакинских событиях и мусульmano-армянской резне в феврале нынешнего года выступит член Бакинского комитета РСДРП товарищ Южин...

Легкий шумок прошел среди присутствующих: «Южин? Кто такой Южин?..»

— Уточняю: Михаил Иванович Васильев-Южин, один из наших активных боевиков на юге России. Впечатления его непосредственны и свежи. Он сам был основным оратором на митингах в Баку. Я думаю, и нам всем полезно будет послушать о том, что происходит сейчас в одном из крупнейших пролетарских центров России.

Васильев заметно волновался. Ему не впервой было выступать перед самой различной аудиторией. Он слыл горячим пропагандистом, хорошим оратором. Но никогда еще перед ним не было таких слушателей, как сейчас: в зале были Ленин, Луначарский, Ольминский, Воровский. Напротив него сидел Юлий Мартов, этот признанный лидер меньшинства. Было от чего волноваться.

— Уважаемые товарищи по борьбе! Владимир Ильич представил меня как одного из участников событий, происшедших недавно в Баку. Уточню: одного из рядовых участников... Я приехал в Баку из Мелитополя почти два года тому назад — в сентябре 1903-го. Но активно и по-настоящему деятельно Бакинский комитет пачал работать лишь в следующем, 1904 году, когда к нам прибыли такие преданные революции товарищи, как Александр Митрофанович Стопани, Алеша Джапаридзе, Цецилия Зеликсон-Бобровская, товарищ Ефрем.

— А братья Шендриковы? — воскликнул кто-то из меньшевиков.

— Что касается братьев Шендриковых, то по ходу моего скромного выступления я постараюсь осветить их роль в бакинских событиях.

Владимир Ильич перекинулся удовлетворенным взглядом с Надеждой Константиновной — знай, мол, наших. «А у него приятный стиль», — шепнул Ильичу Луначарский.

Васильев-Южин продолжал... Он рассказал об ужасных условиях жизни бакинского пролетариата, о том, как нефтепромышленники, высасывая нефть из скважин, так же хищнически сосут кровь из рабочего люда.

— Я побывал на балаханских и биби-эйбатских промыслах, я видел знаменитые Сабунчи и смею вас

заверить: ничего ужаснее, ничего несправедливее в мире не сыщешь... Миллионные прибыли Ротшильдов добыты кровью и потом бакинского пролетариата.

Южин уже успокоился, он говорил легко и уверенно, словно и не было того волнения, с которым он начинал доклад. Теперь для него было главным не упустить что-либо важное, парисовать не только картину положения парода, но и его борьбы.

— Позвольте мне теперь поведать об одной из трагических страниц в жизни бакинского пролетариата — об армяно-мусульманской резне в феврале нынешнего года. Я уже информировал вас о том, что в конце 1904 года в Баку состоялась длившаяся почти месяц всеобщая забастовка, которую мы тщательно и долго готовили. Добавлю только: забастовка состоялась вопреки воле некоторых знакомых вам лиц, которые на каждом шагу ставили нам палки в колеса. Особенно преуспевал в этом беспартийный «Союз балаханских и биби-эйбатских рабочих», весьма подозрительная организация зубатовского типа. Я удивился не меньше, чем сейчас, видимо, удивитесь и вы, когда узнал, что во главе этого союза стоят почтенные братья Шендриковы.

Весть эта была воспринята, вопреки ожиданиям Южина, спокойно: «Ах вот как! Этим вас, господа, не удивишь, оказывается».

— Так вот, будучи не в силах подавить забастовочное движение с помощью всяких зубатовских организаций, губернатор Накашидзе решил разделаться с ним по-своему. После событий в Петербурге в январе нынешнего года он был срочно вызван в столицу. Его возвращение ознаменовалось каким-то подозрительным затишьем.

— Опять подозрительным? Не много ли подозрительного? — не успокаивался кто-то из меньшевиков.

— Много, милостивый государь, очень много. История рассудит, насколько истинны эти подозрения. А февраль 1905 года показал, что они не так уж неосновательны.

— Правильно, — поддержал Галерка...

— Если в Петербурге был кровавым январь, то в Баку обагрился кровью февраль. Накашидзе не только защищал, но и поощрял погромщиков. Он позволял им грабить магазины и лавки армян, убивать их прямо на улице. Я видел истекающих кровью людей. При мне городской снимал сапоги с убитого армянского юноши, чтобы затем натянуть их на себя... Знали ли мы, социал-демократы, о готовящейся резне? — продолжал Южин. — Догадывались. У меня на квартире заседал по этому поводу Бакинский комитет. Мы выпустили листовки на трех языках — армянском, азербайджанском, русском, где обратились к рабочим с призывом не допустить кровопролития. Но, видимо, дело зашло уже слишком далеко.

— Может быть, в этом тоже повинны меньшевики? — съязвил все тот же голос.

— Это смотря что пазывать виною. Армянские националистические организации — «Дашнакцутюн», национальные социал-демократы тоже не считают себя повинными. Но ведь они посмеялись над нашим предупреждением, заявив, что ни о какой расправе между мусульманами и армянами в Баку и речи быть не может. А потом удирали из города в одних портках. Именно их обвинили в убийстве азербайджанца Бабаева, ссылаясь на то, что оно произошло возле армянского собора.

Четверо суток, четыре дня и ночи, — я не буду описывать их: здесь собрались люди, выдавшие и кровь, и утраты, — длилась эта резня. Скажу только, что не приказал бы Накашидзе остановить погром,

если бы по нашему призыву не всколыхнулись рабочие окраины, а в центре города не начались уличные демонстрации. В большом зале общественного клуба собрался митинг. Мне пришлось выступать на нем...

Но не я вышел на трибуну первым. Мы долго слушали различных ораторов — от буржуа до некоторых лиц, именующих себя социал-демократами. И среди них — братьев Шепдриковых, столь любезных сердцу меньшевства. Это они намеренно или по глупости попустительствовали бандитам, не дали рабочему классу сказать свое веское и революционное «нет!». А теперь судите сами, предательство это или не предательство. Подозрительно или не подозрительно. Революционно или контрреволюционно...

Южин еще говорил, а аудитория уже неистовствовала. Заскрипели, застучали стулья, размахивая кулаками, повскакали со своих мест меньшевики.

— Довольно...

— Провокация...

Васильев, постучав по стакану, на минуту овладел вниманием.

— Напрасно, напрасно... Мне, повидавшему резню в Баку, ваша демонстрация не страшна. Тем более — вы всё правильно поняли...

Южин словно подлил масла в огонь. Он знал, что подобные сцены возможны, но, что меньшевики пустят в ход кулаки, представить себе не мог. «Ай-ай-ай,— подумал он.— Такие почтенные люди... Вот важ и интеллектуалы. Не на это ли намекала Надежда Константиновна?»

Он медленно, словно его не касалось то, что происходит вокруг, собрал свои записи, положил их в боковой карман пиджака и направился туда, где Галерка усиленно выяснял отношения с одним из меньшевиков.

— Хулиганство,— вопил голос, который все время прерывал Южина. — Бог знает что такое...

— Обвинить меньшевиков в измене — это же уму непостижимо,— истерически кричал пунцовый Мартов.

Кто-то взял Васильева под руку, это был Владимир Ильич. Они вышли на улицу.

— Что, товарищ Южин, хороша драчка? А все-таки наша взяла... И заметьте, несмотря на их численный перевес. Ну-с, пойдёмте, нас ждет еще одно сражение — в шахматы...

За шахматной доской они встречались не часто: не хватало времени, хотя Владимир Ильич любил эту древнюю мудрую игру. Шахматистом Ильич был весьма сильным и, по мнению Галерки, мог бы успешно состязаться в турнирах с опытными игроками...

В редкую свободную минуту он с охотой садился за шахматный столик. Васильев-Южин оказался достойным партнером.

За игрой Владимир Ильич держался непринужденно, иногда напевал негромко какую-либо мелодию. Ходов обратно, даже явно ошибочных, не брал, по и противнику не делал поблажек.

— Этак, батенька, вы и в политике будете брать ходы обратно. Как же тогда на вас положиться прикажете? Нет уж, любезнейший, сделал ход, так умей за него и ответить.

Васильеву иногда казалось, что Владимир Ильич не просто играет в шахматы, что он в каждой партии ищет каких-то аналогий, что мысли его где-то далеко за пределами доски, они шире и глубже, чем просто обдумывание очередного хода. Иногда, когда

ему приходилось атаковать Васильева, он, словно между прочим, замечал:

— Нет, батенька, уж не за свое дело вы, пожалуйста, не беритесь. Изводить губернаторов — этому вы научились. А вот защищать короля — не взыщите. Монархист из вас получился бы прескверный...

Как правило, Ленин сражался до тех пор, пока исход не становился очевидным.

Как-то во время партии Михаил забросил словечко насчет возвращения домой.

— В Россию бы мне, Владимир Ильич. Не по мне эта заграничная обстановка.

— А вы думаете — по мне? А я не хотел бы сейчас вдохнуть свой родной симбирский воздух? Волга, ширина, размах — сказочно.

Он говорил увлеченно, глядя куда-то вдаль, словно видел уже и Волгу, и Венец, и крутые симбирские берега...

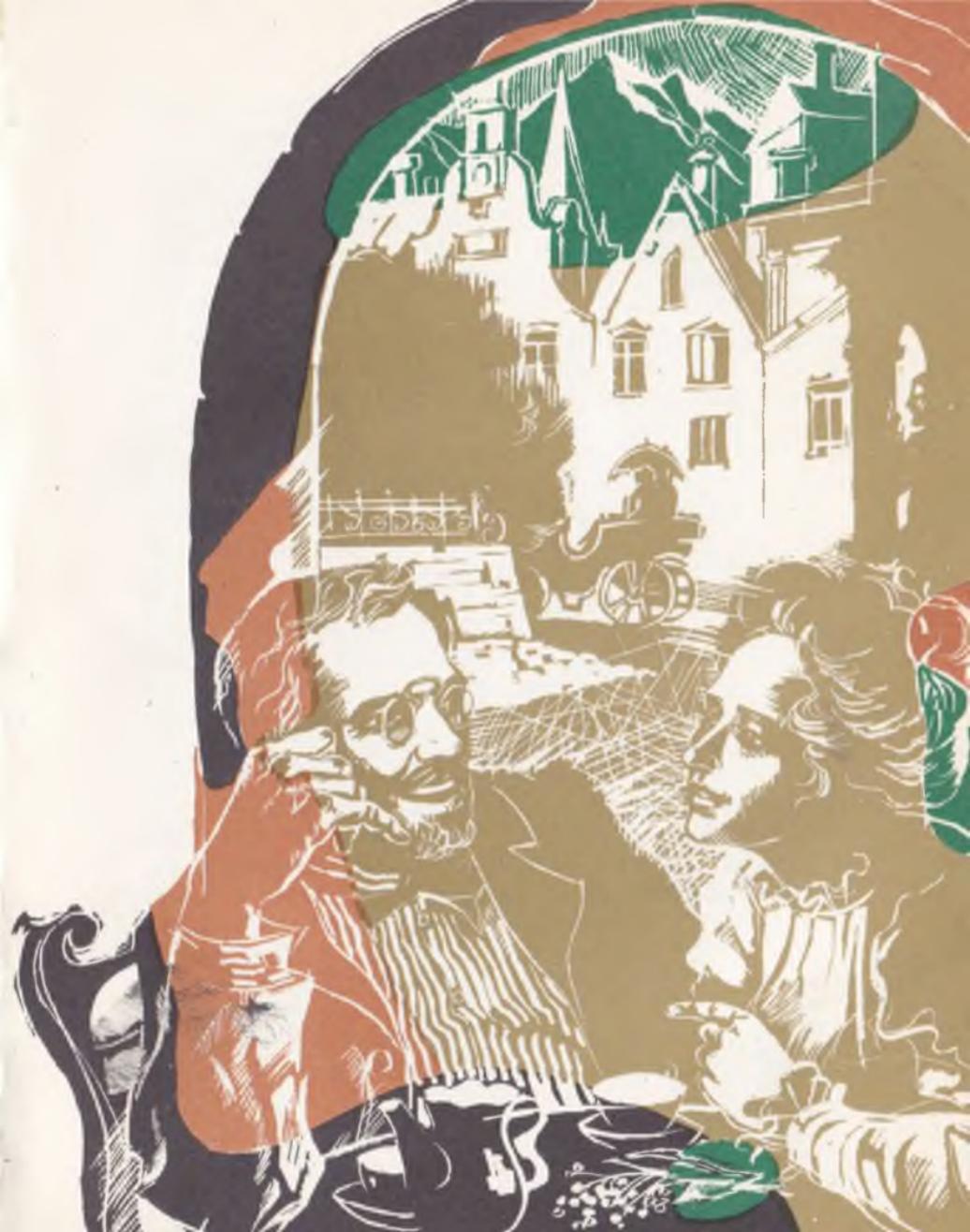
— Россия... Нельзя вам пока туда, дорогой Михаил Иванович. Еще след ваш после бакинского пожара не поостыл. Уж поверьте мне, старому конспиратору...

Васильев и сам знал, что надо подождать. Да всякий раз, когда вспоминал о родине, становилось невмоготу.

Больше всего ему почему-то хотелось в Москву. Ему казалось, что именно там, в белокаменной, что-то назревает грозное и неотвратимое...

— Эх, Михаил Иванович, нам бы сейчас не просто домой, а на жаркое дело вернуться... — говорил Владимир Ильич. — А мы вот тут на эти очаровательные берега любимся...

Женева в июне действительно очаровательна. Природа одарила ее всем — и жаркими солнечными лучами, и горным ветерком, и этим уютным озером.



Южин умел ценить красоту и все-таки не мог избежать сравнений с другими местами. И всегда, как ни крути, получалось не в пользу Женевы... Озеро? Ну разве сравнишь его с Каспием. Горы? Красивы, ничего не скажешь. Но тот, кто видел, как серебрятся под солнцем, словно два гигантских алмаза, вершины Эльбруса, тот поймет состояние уроженца предгорий Кавказа.

И все-таки Васильев понимал необходимость пребывания здесь. Лекции в эмигрантских клубах, общение с Лениным и его боевыми товарищами были ему очень дороги, наполняли его сознанием своего места в борьбе партии, в большой и трудной революционной работе. С докладом о бакинских событиях он дважды выезжал в Берн и Париж по заданию Владимира Ильича.

Чаще других встречался Васильев с Галеркой. Привлекало в Ольминском его увлечение Щедриным. Он не просто читал этого великого писателя, не просто увлекался им. Михаил Степанович как-то научно подходил к каждой фразе сатирика, вел словарь его наиболее метких выражений и слов.

— Знаю,— говорил Галерка,— не время теперь для такой работы, а не могу бросить.

— Представьте себе, Михаил Степанович, я это прекрасно понимаю. Потому что сам не просто люблю Лермонтова, а обращаюсь к нему за советом и помощью в самые, кажется, неожиданные моменты своей жизни. И представьте, помогает.

Странное дело: именно Щедрин помог Михаилу Ивановичу понять этого человека. Сколько раз, читая гневные, едкие статьи Галерки, Васильев удивлялся: в жизни тот был мягким и добрым человеком. Как-то он высказал эту мысль Михаилу Степановичу...

— Не беру ли я свою злость взаимы? А вы знаете, что Щедрин был очень добродушным человеком? И вообще, сатирики — это самые добрые люди на земле. Это не парадокс. Никто еще не писал сатиру ради зла: ее всегда творят во имя добра.

Васильев любил эти тихие вечера, проведенные в небольшой комнатке Ольминского. Галерка почти всегда что-то писал для «Пролетария», и тогда Васильев подсаживался к этажерке и читал допоздна, порою не проронив ни слова.

По совету Ленина Васильев не оставлял публицистику. Он написал статью о революционных событиях в России для «Пролетария». Ольминский прочитал, кое-что скорректировал.

— Да, внушительная картина получается... Бурлит, вот-вот закипит Россия.

Михаил Иванович не мог предположить, что его статья в «Пролетарии» будет издана отдельной листовкой Бакинским комитетом РСДРП.

Эту новость привезла Мария Андреевна.

Васильев мог ожидать кого угодно, только не ее. Он был по-настоящему счастлив. Свидание с любимой — большая радость, а нежданное свидание — вдвойне. Мария рассказывала ему о бакинских делах, о том, что ее прислал сюда комитет с различной корреспонденцией и отчетами о работе типографии.

— Жандармы ни на минуту не перестают искать тебя. Дважды приходили с обыском. А пристав Исламбек — помнишь его? — меня ежедневно провожал и встречал: не попадешься ли ты со мной.

Она передала бесконечное количество приветов, а он все расспрашивал, расспрашивал, расспрашивал...

В тот же день он показывал ей Женева.

— Вот и озеро. Готовы ли вы, мадам, совершить по нему прогулку?

— Нет, мсье, не готова,— в тон ему ответила она.— Я очень хочу есть.

— О, это мы сейчас устроим,— потирая от удовольствия руки, прогворил Михаил.— Я знаю тут один волшебный ресторанчик.

Он ввел ее в крошечный, прямо игрушечный, зал с пятью столиками. В этот час они оказались единственными посетителями.

К ним тут же подошла ярко-рыжая девушка-официантка, поздоровалась по-французски и подала меню.

Мария попыталась сразу же передать его Михаилу, но тот галантно отказался.

— Нет уж, мадам, читайте и выбирайте сами... Можете читать вслух, если что не поймете, я помогу.

Что это были за названия! Ничего знакомого. И вдруг Мария воскликнула восторженно:

— Вот это! Бомб де Сарданапал! И стоит дешево.

— Действительно,— тут же согласился Михаил.— Звучит экзотически: бомба, да еще царя Сарданапала. У тебя губа не дура. Ну, а кроме этой царской «бомбы» что закажем?

— Думаю, и одной «бомбы» на двоих нам хватит. Это вкусно? — спросила она рыжеволосую официантку. Когда Михаил перевел ее вопрос, девушка так и засветилась в улыбке.

— О, мадам!

Каково же было удивление Марии Андреевны, когда мигнул через десять официантка принесла металлический судочек, в котором лежала... обыкновенная картофелина, политая белым соусом и чуть присыпанная мелко порезанной зеленью.

— Ох-ох-ох,— смеялся до слез Михаил.— Нет, Маруськ, стоило приезжать в Женеву, чтобы отведать здесь картошки.

Эта история их очень развеселила: картофель, приправленный необыкновенно острым и тонким соусом, пришелся им по вкусу. Всегда потом они с удовольствием вспоминали свой изысканный, царский обед в маленьком женевском ресторанчике, и каждый раз это вызывало у них взрыв веселья.

В этот же день они вместе ходили на собрание слушать Ильича.

— Какая логика,— поражалась Мария,— и как просто! Как все становится удивительно ясным и понятным! Я видела, что даже Мартов аплодировал ему. Но ведь это почти невероятно...

Михаил познакомил Марию с Надеждой Константиновной.

— Молодчина, хорошо перевезли корреспонденцию,— похвалила Крупская Марию Андреевну и, смеясь добавила: — Только зашивать в юбки нынче не модно, да и рискованное это дело. Поедете обратно — корсет вам соорудим, да такой, чтобы в него весь тираж «Пролетария» можно было вместить...

Мария была в восторге от того, как содержит Надежда Константиновна свою небольшую квартиру. А ведь на ее плечах было немало дел и забот в ЦК.

Васильева рассказала Ленину о денежных делах бакинских революционеров, о выпуске листовок с финансовыми отчетами комитета перед рабочими и забастовщиками, даже о том, как однажды пришлось инсценировать ограбление, чтоб избежать огромных взбосов в «государеву казну»...

Владимир Ильич с удовольствием слушал ее. Многих членов комитета Ленин знал лично. Алеша Джапаридзе в 1903 году побывал у Владимира Ильи-

ча в Женеве. И не только Алеша. Приезжал к Лепипу и молодой Шаумян, лишь недавно возвратившийся на Кавказ, да и многие другие.

— Хочется в Россию, хочется увидеть все самому. Да пока придется отложить это до лучших времен, — сказал Владимир Ильич.

Мария была счастлива от встречи с Лениным и Надеждой Константиновной, от того, что снова видит она своего Михаила целым, певредимым, от того, что наконец-то не ходят по пятам шпионы.

Но долго пробыть в Женеве Марии не довелось.

В этот вечер они разговаривали мало: Галерка сидел за своим Щедриным, а Южин просматривал свежий номер «Пролетария». Он уже собирался уходить — его ждала Мария, — как в дверь постучали.

— Кто бы это?

Галерка открыл и удивленно воскликнул:

— Владимир Ильич! Пожалуйста...

— Извините за позднее вторжение. А вот и вы, милейший товарищ Васильев-Южин. Вас-то мне и нужно.

Южин немало удивился: зачем это он мог потребоваться Ленину столь неожиданно и столь срочно?

Владимир Ильич присел на диван.

— Разговор, товарищи, будет серьезным и строго секретным. Даже здесь, в Женеве, прошу хранить полнейшее молчание. Милые меньшевички нам уже достаточно навредили из-за нашей российской доверчивости.

— Что случилось, Владимир Ильич?

Ленин многозначительно помолчал и сказал:

— Восстал на Черноморском флоте броненосец «Князь Потемкин-Таврический»...

— Восстал? Как? Что?

— Знаю только, что матросы выбрали там, на флоте, свой центр, что есть в нем большевики. Но они ли руководят восстанием — мне пока неизвестно...

— А в связи с чем восстание? — спросил, зажигаясь, Южин.

— Газеты сообщают — бунт из-за червивого мяса. Впрочем другого сообщения от них ожидать не приходится. Необходимо срочно отправляться в Одессу.

Южин понял уже, почему именно его разыскивал Ильич; он с благодарностью и ожиданием смотрел на Ленина.

— Как вы догадались, Михаил Иванович, Центральный Комитет поручает именно вам ехать в Одессу.

— Я очень рад, Владимир Ильич. Бунт это или организованное восстание — кому-то из наших необходимо там быть.

Ленин испытующе посмотрел на Южина.

— Боюсь, что для одесских товарищей восстание на «Потемкине» оказалось слишком неожиданным.

Владимир Ильич встал, прошелся по комнате.

— ЦК анализировал первое сообщение... Конечно, все это похоже на бунт... Но только похоже. Ведь матросы не просто взбунтовались: они захватили корабль, отправили к акулам его командиров, выбрали своих руководителей... Если бы всей России удалось вот так же послать акулам нынешних правителей и установить свою народную власть!

— Так, может быть, это начало?

— Не будем гадать, дорогой Михаил Иванович. Задача сейчас состоит в том, чтобы придать этим событиям организованный характер, чтобы они были подготовкой к последующему наступлению...

Васильев смотрел на Ильича и невольно ловил себя на том, что не только слушает, но и любит-ся им.

— Так вот, товарищ Южин, вы поедете в Одессу не просто связным, а уполномоченным ЦК. Нужно на месте разобраться и максимально использовать восстание для того, чтобы поднять юг России. Понимаете? Дело архисерьезное...

— Я готов.

— Погодите. Все не так просто. «Потемкину» на море долго не продержаться. Адмирал Чухнин найдет способ с ним разделаться. Было бы гораздо лучше, если б матросы высадили десант в Одессе... Город необходимо захватить...

Ленин помолчал, а затем произнес задумчиво:

— Может быть, потемкинцы — это и есть начало революционной армии. Пролетарской, рабочей...

— Но ведь матросы — это в основном крестьяне, — включился наконец в разговор Галерка.

Ленин живо обернулся к нему.

— Так ли? По происхождению — безусловно. Но ведь и рабочий класс не из помещиков. А что такое современный корабль, особенно такой, как «Потемкин»? Это завод, со своими цехами, техникой, мастерскими. Он сплачивает людей, объединяет, и мы на флоте всегда должны и будем иметь союзника верного и боевого.

Обращаясь к Южину, Ленин продолжал:

— «Потемкин» должен поджечь фитиль. Немедленно разошлите по селам и деревням агитаторов и организаторов. Пусть крестьяне берут землю, огонь «Потемкина» поддержит их. Из бедняков, батраков и середняков следует создать революционные комитеты. Таким образом движение крестьянских масс сольется с восстанием в городе и на флоте.

Наступила общая пауза. Ленин на несколько секунд задумался.

— Может быть, для всего этого и не сложатся обстоятельства,— несколько тише продолжал он.— Но я говорю о задачах, о том, куда надо вести восстание на «Потемкине». Вот почему дорог каждый день. Поэтому я прошу вас выехать немедленно.

Южин ответил с готовностью:

— За мной задержки нет, Владимир Ильич. Я хоть завтра. Но как быть с документами?

— Кое-что припасено...

— Владимир Ильич, если восстание удастся, вы смогли бы приехать в Одессу?

— Не только смогу, но и непременно приеду. Если события будут развиваться благоприятно и к «Потемкину» примкнет Черноморский флот, присылайте за мной быстроходный миноносец в Констанцу. Но обо мне потом. Для вас есть кое-какие документы. Их привез один из наших товарищей... Но вот беда: паспорт выписан на генеральского сына.

Южин удивленно посмотрел на Ильича, затем на Галерку.

— Помилуйте, да какой из меня генеральский сын? Любой обнаружит липу.

— Ну нет, не скажите... Оденем вас соответствующе. А манеры? Ну да мы сейчас займемся вами...

Михаил усмехнулся.

— Владимир Ильич, вы ведь тоже на генерала не шишко похожи, а уж Михаил Степанович и по-давно.

— Вот видите, Галерка, наш потемкинец зазнался. Мы с вами, оказывается, в генералы уже не годимся. Посмотрим еще, какой из вас получится адмирал. Не забудьте, что на стороне командующего Черноморским флотом Чухнина все романовские ван-

дали. Ну-с, извините, я тороплюсь. Завтра встретимся и завтра же расстанемся.

— Владимир Ильич, еще один вопрос. Если в Одессе... ну, словом, — замялся Южин, — как вам сказать...

— Говорите прямо — поражение? Что ж, не исключено.

— Можно мне в Москву?

— Да. Правда, в Москве сейчас Шанцер-Марат образцово наладил работу комитета, но события там назревают бурные и помощь опытного товарища будет кстати. Однако это только на крайний случай.

После ухода Ленина Южин и Галерка сидели молча. О чем они думали? Вероятно, о нем, об этом человеке — удивительном и простом. И еще о том, что они расстанутся и бог весть когда встретятся. Да и встретятся ли?

...На следующий день, с паспортом генеральского сына, Михаил Иванович Васильев-Южин покидал Женеву. Владимир Ильич наставлял его:

— При случае щегольните знанием французского языка — на наши голубые мундиры это производит впечатление. Ну-с, а главное... Вы знаете, в чем главное: понимать, что независимо от исхода восстание на «Потемкине» — это великое событие в истории России.

Мария встретила известие об отъезде спокойно — пужно, — значит, пужно — и тут же начала собираться сама.

— Нет, Маруськ, вместе мы не поедем. Ты еще поживи здесь недельку, а потом уж в Баку.

— Как — в Баку?

— Да, пока туда. Бог весть где я буду, что сулит мне одесская поездка. Ну, а затем вызову. В Одессу ли, в Москву ли — не знаю.

Увидев, что Мария загрустила, он тут же шутливо добавил:

— И потом учти, что ты мне вовсе не пара. Я как-никак генеральский сынок, и паспорт мой завтра подтвердит это. А ты кто? Жена какого-то бездомного революционера.

Она печально улыбнулась; конечно, вместе им через границу не перебраться. Ему самому удалось бы. Да и она не может ехать налегке: Надежда Константиновна, вероятно, уже готовит ей «посылку для Баку», и, видимо, нелегкую посылку. Провезти ее будет непросто.

Они прощались. Как мало, как мало пробыли они вместе! Уже завтра утром им предстоит расстаться.

Но рядом с грустью в ней было и чувство гордости от сознания того, с каким важным заданием Ленина и ЦК уезжает в Россию ее муж.

Он приехал в Женеву Васильевым, а покидал ее Васильевым-Южиным, навсегда убежденным в верности выбранного пути. Революционер-большевик, уполномоченный Центральным Комитетом партии, он возвращался в Россию, туда, где взвился красный флаг революции над мятежным броненосцем.

Он был полон надежд.

В Москве

Васильев-Южин в Москве. Сойдя с поезда, он сразу же затерялся в разноликой толпе на Киевском вокзале.

Москва, Москва, он помнил ее всегда. Он мечтал возвратиться сюда и из нежной, улыбчивой Ялты, и из маленького Мелитополя, и из ветреного, всегда куда-то устремленного, словно надутый тугой парус, Баку... Рвался в Москву и из Женевы, хотя встречи с Ильичем останутся у него в памяти на всю жизнь.

Москва совсем не изменилась за столько лет. Те же москвичи: озабоченные и разудалые, франтоватые и до неприличия неряшливые, шикарные и оборванные... Москва, Москва, как все уживается в тебе, как соединяются воедино город и деревня, монастырь и рабочая казарма, роскошный дворец и протухший Охотный ряд...

Он пошел на Моховую, побродил по университетским коридорам, с замиранием ожидая, что вот-вот выбегут из аудиторий его однокашники. Но выбежали другие, очень похожие на тех, из девяностых годов прошлого столетия... Такие же озорные и неугомонные, казалось, они схватят его, закружат, как старого приятеля, с которым давно не виделись. Но

студенты только вежливо сторонились, завидя изрядно полысевшего мужчину с профессорским пенсне на переносице...

Разыскать Марата было нетрудно: присяжный поверенный, кандидат прав, помощник преуспевающего московского адвоката Павла Николаевича Мальянговича имел свой кабинет и принимал посетитель в доме Королева на Арбате.

Опытный глаз Васильева сразу же заметил, что на противоположной стороне, у витрины магазина, без дела слонялся какой-то тип в зеленом демисезонном пальто и тростью в руке. Низкий, словно нахлобученный, лоб, профессиональное умение видеть, будто не глядя. Такому на глаза попадаться нельзя: бакинская жандармерия наверняка разослала по всей России фотографии государственного преступника, учителя реального училища Михаила Васильева. И хотя с его лица исчезли борода и усы, присмотревшись, узнать его было нетрудно.

Он вошел в кабинет Шанцера лишь на второй день, выбрав момент, когда шпик куда-то исчез...

Перед ним за большим канцелярским столом сидел странного вида человек. Густые черные волосы были растрепаны, словно он только тем и занимался, что ворошил их. Лицо адвоката обрамляла густая недлинная борода. Портрет дополняли дымчатые очки, делавшие лицо Марата суровым...

Одет был Шанцер в простой серый пиджак, на белой рубашке неловко сидел большой галстук-бабочка. Он встал навстречу, предложил стул и неожиданно мягким, добродушным голосом спросил:

— Чем могу служить?

Васильев серьезно ответил:

— Михаил Иванович Васильев-Южин...

Боже, как изменчиво это лицо! Оно вдруг озари-

лось такой лучезарной улыбкой, таким ослепительным светом, что Васильев невольно заулыбался в ответ. Еще больше удивился он, когда Марат воскликнул:

— А, бакинский Робеспьер! Гроза Накашидзе и Шендриковых! Наслышан, наслышан. Читал ваши статьи в «Пролетарии»... Деловые и яркие. Вы, милейший, и оратор пламенный, и публицист божьей милостью...

«Он и хвалит-то неистово, без полутонов»,— подумал Васильев.

Марат вдруг замер, словно что-то вспомнив:

— Позвольте,— строго, словно допрашивая, поинтересовался он,— а как вы попали в Москву? Насколько мне известно...

— Я должен быть в Одессе,— перебил его Южин,— не так ли?

И, не дожидаясь ответа, он рассказал Марату, как пересек русскую границу, как приехал ночью в неожиданно тихую Одессу, как, сказавшись Михаилом Андреевичем Конкиным, остановился в гостинице, а утром отправился на явку.

Он опоздал... Совсем еще юный парнишка, который встретил его в комитете, обнаружил удивительную осведомленность и рассказал уполномоченному ЦК товарищу Южину, как Чухлин направил корабль против «Потемкина», как повел себя «Георгий Победоносец».

«Все так, как предвидел Владимир Ильич. Но почему же одесские большевики не воспользовались этим восстанием?»

Ответ на этот вопрос молодой человек не смог дать. Он назвался Емельяном, фамилия его была Губельман. Он пытался что-то объяснить Южину, хотя казался растерянным. Впрочем, Михаила не удивила

эта растерянность: Губельман лишь недавно был выпущен из тюрьмы и сам пытался разобраться в том, что произошло в Одессе. Во всяком случае, он считал события на «Потемкине» и неожиданными, и очень значительными.

Михаил Иванович слушал Емельяна, и рассказ этого человека словно подтверждал опасения Ленина, что одесские товарищи не сумеют как следует использовать восстание. Как точно предвидел все Ильич... «Город надо захватить в наши руки, затем немедленно вооружить рабочих и самым решительным образом агитировать среди крестьян. На эту работу бросьте как можно большее количество сил одесской организации... Зовите крестьян захватывать помещичьи земли...» Да, именно этого не сделали одесские товарищи. А сейчас поздно: «Потемкина» в Одессе уже не было...

— Как мне отправиться в Новороссийск? Быть может, я смогу догнать броненосец,— настаивал Южип.

— Бесполезно... Он ведь ушел за границу, в Румынию...

Михаил Иванович рассказывал об этом Марату, и у него снова, как тогда, больно защемило сердце... Опоздал... Слишком поздно пришло сообщение о восстании в далекую Женеву... Слишком долго тянулся этот проклятый курьерский поезд. Слишком, слишком... События опередили Южина; всего одиннадцать дней продержался революционный корабль и, непобежденный, ушел в Румынию... О эти одиннадцать дней! У революции появилась своя военная сила, свой боевой корабль. Он разговаривал с царизмом как представитель народной власти, он предъявлял ультиматум, он ознаменовал новую веху в истории России — переход армии и флота на сторону революции.

Первая встреча с Маратом длилась всего около часа. Рассказали друг другу только самое важное, в общих чертах. Они решили, что в кабинете видеться опасно, и договорились поближе познакомиться на конспиративной даче в районе Москвы-Сортировочной...

— А сейчас,— сказал Марат,— воспользуйтесь этой дверью. Отсюда вы попадете в пустой кабинет моего сослуживца, а оттуда уж... Ну, не мне вас учить. Только помните: у московских шпиков мертвая хватка...

Васильев вышел из двора соседнего дома и посмотрел на противоположную сторону: флиер насто-роженно стоял у своей витрины, вытянув шею, точно старался заглянуть в окна второго этажа.

Михаил Иванович и Шанцер долго петляли по узким зеленым улочкам, пока не очутились перед плотным, довольно высоким забором, надежно скрывавшим дачу от посторонних глаз. Оказывается, эта дача находилась у самой железной дороги, слышен был шум поездов, но Шанцер, конечно, неспроста так удлинил путь к ней. Почти вплотную подступал к даче лес.

— Ну вот и пришли. Осваивайтесь, Михаил Иванович... Впрочем, если не возражаете, мы бы могли перейти на «ты»...

— С удовольствием, Виргилий Леонович! Давайте, пожалуйста, я начну... Ты уверен, что здесь безопасно?

Марат улыбнулся.

— Во-первых, дача надежно охраняется. Хозяин уже на посту. Во-вторых, выход в лес многое значит, а в-третьих, мы собираемся здесь по воскресным и

праздничным дням, когда филеры тоже не прочь отдохнуть и закусить селедочкой вонючую стопку водки.

Дом был небольшой, но с широкой террасой. Стол приспособили под одной из лип, и ветки опускались прямо к головам сидевших под деревом. Между липой и террасой — небольшая цветочная клумба. Узкие дорожки от калитки к столу и к террасе были аккуратно посыпаны песком, и это вызвало недовольство Марата.

— Опять посыпали... Зря... Следы отпечатываются лучше. Песок-то мокрый...

— Хозяева надежные? — спросил Михаил.

— Вполне...

Марат представил им Южина просто:

— Решением Московского комитета в него введен Михаил Иванович Южин. Он будет ведать в нашем комитете вопросами агитации, пропаганды и печатного дела... Знакомьтесь, товарищи.

Как это могло случиться, что Михаил Иванович не заметил его сразу, этого рослого седеющего мужчину? Как не обратил он внимания на его богатырскую фигуру, на широкий размах плеч? Как его не привлек пристальный, недоумевающий взгляд?.. Перед его мысленным взором вдруг возник домик-вагон на железнодорожных путях...

Только сейчас понял Васильев, почему так удивленно смотрит на него Михаил-большой... Ну конечно же время нас меняет, да и фамилия совсем другая — Южин...

— Здравствуйте, товарищ Булгаков.

— Здравствуй, Михаил-маленький.

Они пожали друг другу руки с радостью, благодарностью, как бы скрепляя давнюю мужскую дружбу.

Марат, наблюдавший за ними, спросил:

— Вы, оказывается, знакомы?

— Он жизнь мне спас! — воскликнул Булгаков.

— А он мне путь в жизни подсказал, — ответил Южин.

Познакомился Васильев со своим однофамильцем Андреем — широколицым белобрысым парнем в серой косоворотке, степенным Станиславом Вольским, молодым, не по годам серьезным Тимофеем. Он-то и сообщил Марату: беспокойно что-то на станции. Заметил какое-то оживление и Станислав.

— В случае чего, — предупредил Шанцер, — в лес и разбрелись в разные стороны. А пока продолжим.

Беседа на даче помогла уяснить Южину многое из того, что происходило в эти дни.

Состояние дел в Москве Марат не переоценивал. Трудностей было немало, комитет видел их отчетливо. В отличие от петербургских или ивановских, московские рабочие, в большинстве своем вчерашние крестьяне, еще не вполне осознали свое новое положение в обществе. В трудных условиях работали московские большевики, но первые успехи уже были. Михаил Булгаков рассказал о том, что железнодорожники Московско-Казанской дороги готовы бастовать, хотя вряд ли решатся сделать это первыми.

Марат поинтересовался, в чем причина.

Михаил-большой объяснил, что на железной дороге «действует» союз, который на решительные действия не способен. «И здесь либеральные болтуны», — подумал Васильев. Его удивило, что Станислав не согласился с Булгаковым, мол, для Москвы сейчас любая организация — большой шаг вперед.

— Нет уж, — не выдержал Южин, — мы с вами революционная организация. Этак завтра цыганский хор у «Яра» вы объявите прогрессивным союзом.

— Верно, абсолютно верно, — подхватил Марат. — Эти союзы растут как грибы. Даже «Союз союзов» объявился. Трещат как сороки, сами не знают, чего добиваются. Мы должны вырвать железнодорожников из сетей либеральных инженеров, пусть они поют не чужие, а наши, революционные песни. Пожалуйста, займитесь этим в первую очередь, товарищ Булгаков.

Вихрастый, с волосами словно из проволоки, Тимофеев жаловался на стариков: уж было, казалось, все готово в Замоскворечье, да помешали они, отговорили молодежь проводить забастовку...

Южин попросил разъяснить ему, кто это такие — старики?

— Да просто старые люди, — объяснил Тимофеев. — Они недавно из деревни, но связаны семьями и надеждой на хорошие заработки, потому ведут себя по-рабски покорно, боясь слово вымолвить против царя.

— У, бородатые черти, — не выдержал Марат, и все невольно расхохотались: уж очень потешно прозвучало это из уст бородатого секретаря МК.

— Зато на Даниловской мануфактуре дело налаживается, — словно оправдываясь, произнес Тимофеев. — Правда, и там не все в порядке.

Он помялся немного и, виновато поглядывая на Марата, сказал:

— Вчера старики нашего агитатора избили. Чуть не до смерти. Слушали его, слушали, пока про экономические требования говорил, а как лозунг произнес «Долой самодержавие!»... Ну, словом, за рубаху его — и стянули с мостков, да и заехали по карточке.

Васильев расхохотался, вызвав недоумение Марата. Не мог же он объяснить, что нечто похожее однажды едва не приключилось с ним, когда вел он свою полемику с Шендриковым. И кроме того, очень

уж смешно прозвучало у Тимофея «по карточке»...

— Весело? — без улыбки спросил Шанцер.

— Не очень, — в тон ему ответил Южин. — Правда, я вспомнил сходный эпизод в Баку.

— Вот и отлично, — твердо сказал Марат. — Ты и сходишь на Даниловскую мануфактуру — вместо того парня. Только предварительно в Замоскворечье пойдешь, надо помочь Тимофею организовать забастовку... — И с лукавинкой в глазах добавил, обращаясь к Михаилу Булгакову: — Как думаешь, не памнут бока нашему бакинцу?

— Конечно, памнут... Для пользы дела, — ответил Михаил.

Южин рассмеялся; ему все больше и больше нравился Марат — и серьезный, и деловой, и вместе с тем очень простой.

— А теперь, — произнес Шанцер, — приступим к чаепитию.

Он с удивительным проворством перескочил через перила террасы и вскоре появился с роскошным, в медальях, медным самоваром.

— Давай, Михаил, — крикнул он Южину, — принимай эту бомбу, а то разорвется. Готовьте чашки, начинается пир!

Но пировать не довелось. Прибежал хозяин дачи и встревоженно объявил, что в поселке появилась конная полиция, кого-то ищут, повсюду рыскают...

— Не знаю, казаки или стражники...

— А возле дачи никого? — спросил Марат.

— Ходят какие-то... Вижу впервые... Может, гуляющие, может, и нет...

Марат подошел к забору, заглянул в щелку...

— Так... Ясно... Будем расходиться. Поодиночке и парами, как договорились. Первыми уйдут Южин и Тимофей...

— Эх, и чаю не дали попить, фараоны проклятые...

— Может, прихватим самовар? — предложил Южин.

— Нет, — не понял шутки Тимофей. — Тяжело.

Когда дача опустела, в поселке раздался пронзительный свисток полицейского и дробно разлетелся в лесной чащобе.

Под ногами трещали сосновые шишки. Давненько не был Михаил в хвойном лесу. До чего же соскучился он по пьянящему аромату его да тихому шепоту ветвей! Эх, если бы была с ним сейчас Маруськ, как радовалась бы она этой чаще! Где она сейчас? Успела ли вернуться в Баку? Как много бы он отдал, чтобы она оказалась с ним рядом!

Тимофей шел молча, то ли думал свою думу, то ли не хотел испугнуть чужую. На нем была черная грубошерстная рубашка со стоячим воротником, и он скорее был похож на художника или поэта, чем на рабочего.

До станции идти пришлось недолго, хотя думалось, что лесу не будет конца. Показавшаяся из-за деревьев зеленая опушка была залита солнцем, и на ней беззаботно играла детвора. Каким покоем и благополучием веяло от этой картины...

Из состояния зачарованности Михаила вывел Тимофей, молча схвативший его за руку, — станция была запружена жандармами. Выходить из лесу не имело смысла, и они, снова углубившись в него, присели отдохнуть под высокую сосну.

В Москву возвращались последним поездом. Михаил видел, как садился в соседний вагон Марат, держа под руку какую-то respectable дачницу.

«Может, напрасной была тревога,- подумал Южин.— Может, не стоило расходиться: мало ли причин собраться людям на даче».

И вдруг мимо него по платформе прошел мужчина, лицо которого показалось знакомым. Где он его видел? Ах да... Арбат, большая магазинная витрина, зеленое пальто и будто бы скользящий мимо взгляд... Нет, не отдыхать приезжал сюда этот Маратов «телохранитель».

С Тимофеем Михаил расстался на Казанском вокзале, сговорившись встретиться за фабричным корпусом на пустыре.

— Посмотрите наше Замоскворечье... Там мой помощник орудует, обещал собрать народ: хотят большевистского агитатора послушать. Меня они в счет не берут, я для них человек свой. Так что приходите, Михаил Иванович.

Смеркалось. Михаил Иванович ждал Тимофея в негустом кустарнике, окружавшем несколько одиноких молодых кленов с ярко-красными осенними листьями. Тимофей пришел не один. Вместе с ним был темноволосый, смуглый молодой человек. Что-то знакомое в нем заставило Михаила насторожиться. Он всмотрелся в его лицо и тотчас узнал юношу, хотя не сразу в это поверил. Здесь, в Замоскворечье,— бакинец Хачатур!

— Вот кого не ожидал здесь увидеть. Ну и везет мне в последнее время на неожиданные встречи! Как же ты здесь очутился, Хачатур?

— После смерти отца... Абдалла к себе в Симбирск уехал, а я сюда, в Москву. Не мог я там больше.

— Понимаю. Значит, вместе? Сообща будем агитировать?

— Сообща, — ответил Хачатур. — Раньше — вы меня, а сейчас — сообща...

Наступал вечер. Рабочие все не шли и не шли. Привести их должен был товарищ Хачатура, которого он и Тимофей в разговоре называли Василием. Хачатур изгрыз, нервничая, несколько травянок, прицался уж было за какую-то веточку, но она оказалась слишком горькой и он, выразительно скривившись, сплюнул.

На руке у бакипча были огромные, обтянутые кожаным чехлом часы, — видимо, все, что осталось у него от отца-часовщика. Он то и дело поглядывал на них, прикладывал к уху и, разводя руками, удивленно приговаривал:

— Не идут.

— Что же это? — спросил наконец Тимофей. — Может, объяснишь?

Он обратился к Хачатуре сердито, словно тот был виноват.

— Я при чем, — оправдывался парень, — если их на аркане тянуть надо. Какие они революционеры? Мужики и есть мужики.

— А ведь он прав, — успокоил Тимофея Южин. — Организовывать такие дела надо иначе...

Михаил не успел объяснить: к ним, ломая кустарник, шел Василий. Видавшая виды кепка сдвинута на затылок, лоб взмок, голова низко опущена, взгляд прячет. Стало ясно: неудача.

— Что? — спросил Тимофей.

— Что-что... Ничего! Разве этого мужика вытянешь? У него один лапоть на фабрике, а другой в деревне. Какой это пролетарий!

Южин, скрывая улыбку, переглянулся с Тимофеем — видишь, мол, какие дела.

— Да к тому же,— продолжал Василий,— проболтались старики,— я ведь с рабочими еще вчера сговорился. Ну, администрация и всполошилась — полицию вызвала.

— И вы испугались? — спросил Южин.

— А как же? Они вон до зубов вооружены. У каждого наган да «селедка» па боку. Разве с такими управишься? А у нас — пичего.

— Бедненькие... А кто же вам это оружие доставать будет? Это ведь хорошо,— говорил Михаил Иванович,— что полиция пришла с палашами да наганами. Значит, и нужно этим пользоваться.

— Покупать, что ли?

Южин рассмеялся.

— Если продадут, можно купить. А если нет — и так взять. Мы в Баку охотно разоружали жандармов. Правильно, Хачатур? Да и вчера на Казанской дороге не испугались полиции.

О вчерашнем собрании на Каланчевской площади Михаил рассказывал с умыслом: нужно было поддерживать молодых товарищей.

— Это Михаил Булгаков организовал? — с поткой ревности спросил Тимофей.

— Он, конечно. Кто же еще? И не вечером, а в обеденный перерыв. Рабочие собрались прямо на улице. Сначала их было не так уж много, а затем, когда я начал говорить, на полицейские свистки начали останавливаться и прислушиваться любопытные прохожие, и те, кто о нашем собрании не подозревал, стали невольными его участниками. Словом, всю улицу, что выходит на Каланчевку, запрудили, движение остановилось: конка, извозчики, ломовики — потеха!

Михаил видел, какой завистью горят глаза у парней.

— Ну а потом? — торопил Хачатур.

— А ничего потом. Конечно, суетилась полиция, свистела, пыталась помешать. Да только ничего не получилось. Один, правда, подобрался ко мне, так ему дали по шапке в прямом смысле слова. Вот так.

И Южин натянул кепку Василия прямо ему на пос.

— Да как же собрать людей?

— А зачем собирать? — хлопнул себя по лбу Тимофей. — Через неделю праздник, в этот день все рабочие идут к Даниловскому монастырю...

— Вот это верно, — подхватил Васильев. — Там мы и устроим такой молебен, что богу жарко станет. А пока — по местам. Нельзя собрать людей — работайте с каждым в отдельности. Перед посевом нужно хорошо возделывать почву. Правильно я говорю?

— Да уж правильно, — тихо ответил Василий.

Приехавший из Баку человек передал, что арестован Бакинский комитет и его финансовая комиссия, что взяли и Марию. Она благополучно приехала в Баку из Женевы, включилась в работу, привезла переданную Крупской литературу, и вот по какой-то причине провал.

...С тех пор, как Мария Андреевна включилась в активную революционную деятельность и возглавила финансовую комиссию Бакинского комитета, они стали жить с мужем одной, общей жизнью, поровну делили опасности и лишения.

Особенно почувствовала Мария свою самостоятельность и ответственность, когда Михаил вынужден был скрываться от полиции, а затем и вовсе уехать из Баку. Жандармерия сбилась с ног в поисках оратора-большевика. Уже на следующее утро в

квартиру ворвался ротмистр с целой свитой, вооруженной до зубов. С места в карьер он спросил:

— Дома учитель Васильев?

— Дома его нет, — ответила Мария.

— А где же?

Васильева вспомнила, как вел себя в таких случаях муж, — он никогда не терял чувства собственного достоинства.

— Было бы логичнее, если б я спросила у вас, где мой муж. Такая тревожная ночь, такое тревожное утро, а его нет. Я была уверена, что вы лучше знаете, где он...

Ротмистр почувствовал издевку, и злая улыбка исказила его лицо.

— Искать! — коротко бросил он жандармам, точно охотничьей своре, потерявшей след.

Искали повсюду — под кроватью, на кухне, даже в пустой бочке во дворе.

Ротмистр похлопывал себя перчатками по рукам. Он нервничал, а это забавляло Марию.

Когда обыск был окончен, он резко встал:

— Ну-с, мадам, дома его, кажется, действительно нет. Но вы не беспокойтесь, мы разыщем его непременно и к вам еще заглянем.

Жандармы ушли.

Однако во дворе выросла фигура рыжего шпика. Он надежно охранял выход на Красно-Крестовскую улицу, не зная, разумеется, о другом выходе, которым обычно пользовались товарищи по подполью. Мария теперь выходила специально через двор, и шпик тотчас увязывался за ней, провожая до порта, а затем и обратно домой. Она делала вид, что не замечает слежки, и это успокаивало филера.

— И все-таки, — сказал как-то Джапаридзе, — оставаться тебе, Мария, здесь опасно. Поезжай, по-

жалуйста, в Женеву. Документы мы тебе приготовим, задание получишь — и счастливого пути!

Спасибо, милый Алеша; конечно, в Женеве ей было хорошо: тихая жизнь, наполненная радостью встречи с Михаилом.

И вот возвращение в Баку с литературой, напечатанной на папирсной бумаге и зашитой в корсет. И снова тревога, постоянная опасность. Комнату Мария спяла другую, уже на Воронцовской улице. Слежка за ней не прекращалась.

Конечно, и ее Михаилу сейчас нелегко. Как хорошо, что он не знает о ее трудностях, о тревожном сне, о бесконечном волнении!

Только в Баку узнала Мария, что Михаил в Москве, — ей сказали об этом в комитете. На словах передала мужу через товарищей, что дела у нее идут успешно, что в Баку она вручила почту Алеше Джанашидзе, что задание Надежды Константиновны выполнено.

Сегодня она снова должна быть на баиловской электростанции, где назначена межрайонная конференция, на которой должен был обсуждаться доклад о Третьем съезде партии.

Жаркий августовский день. Баку как раскаленный котел. Делегаты — а их было человек сто, — слушающая докладчика, буквально изнывали от жары.

И вдруг пронзительные полицейские свистки...

Мария поняла, что ареста не избежать, когда прямо перед ней выросла фигура хорошо знакомого ей жандармского ротмистра.

— Ах, какая встреча, — издевался он. — Госпожа Васильева... вот, право, кого не ожидал увидеть.

Мария думала о том, не осталось ли дома каких-нибудь документов, — ведь обыск неизбежен. Как будто бы нет, она всегда была начеку.

А ротмистр между тем продолжал:

— Я ведь в долгу перед вами, мадам. Один должок, увы, пока вернуть не могу, — скрылся ваш супруг, что поделаешь. Но представиться вам я могу-с: ротмистр Заврадный, добрый гений вашей семьи. Извольте, пожалуйста, в мой фаэтон.

Странно, Мария не испытывала страха. Она знала: улик против нее нет, а товарищи не предадут. Беспокоило другое: успеют ли скрыться Джапаридзе и другие комитетчики? В жандармском управлении напротив нее сидел парень — грязный, оборванный, несчастный мальчишка...

— За что тебя?.. — участливо спросила Мария.

— Да вот сам не знаю, за что избили, привели сюда. Чем я им не понравился?

Ей было жалко этого парня, которого, наверное, следовало прежде всего умыть. Вспомнились почему-то Сеид и Ашот... Где они сейчас? Давно уже не видела их Мария...

Ее присоединили к остальным арестованным. Оказывается, и Стопани, и Джапаридзе уже беспокоились, что случилось с ней, почему ее отделили от остальных. Они много говорили в этот первый вечер своего тюремного заключения.

— А знаете, я ведь вам о Женеве не все успела рассказать, — тихо сказала Мария. — Я больше не Васильева.

— Как это не Васильева? — с улыбкой спросил Алеша. — Кто же ты — княгиня Накашидзе?

— Нет, бери повыше. Я теперь Мария Андреевна Васильева-Южина.

И она передала им рассказ мужа о том, как Ильяч «окрестил» его Южиным.

— М-да, побывать бы там еще разок, — мечтательно сказал Джапаридзе. — Ничего, вот сделаем ре-

волюцию — обязательно Ленина сюда, на юг, позовем... И в Баку, и в Тифлис, и в Ереван... Я его в горы повезу. Казбек покажу... Вы видели Казбек? А, вы все на свете видели. Хотите, про Казбек стихи прочитаю? Нашего грузинского поэта Александра Казбеги.

Он встал в артистическую позу и приготовился декламировать, как вдруг дверь отворилась и жандармы втолкнули туда еще одного заключенного. Мария сразу же узнала в нем того самого парня, с которым она встретилась в жандармском управлении. Ей показалось, что встреча с ней была для него неприятной неожиданностью, он даже подался было к двери. Какое-то необъяснимое подозрение закралось в ее сердце...

А оборвыш завел все ту же песню — избили сам не знаю за что... Алеша Джапаридзе сразу же размяк: этот мужественный человек был равнодушен к обиженным.

Мария подошла к парню:

— Снимай рубаху.

— Чего? — заморгал мальчишка.

Алеша пришел ему на помощь.

— Ты не бойся. Она доктор... Ну, фельдшерица, понимаешь?

Начавший догадываться, в чем дело, Стопани подошел к парню и сказал строго:

— Давай-ка, давай, раздевайся...

Снять рубашку мальчишке было не так уж сложно. Никаких ссадин или кровоподтеков на теле не оказалось.

— Ах провокатор! — закричал Стопани.

— Конечно, провокатор... Только маленький еще.

Пу-ка, генацвале, рассказывай, как ты до такой подлости дошел.

Мальчишка изменился в лице и готов был зареветь.

— Ну ладно,— примирительно сказал Стопани.— Рассказывай, зачем пришел сюда.

Обычная полицейская история: поймали мелкого воришку — карманлика, пригрозили тюрьмой и побоями. А потом предложили совсем безопасный выход из положения. От него требовалось совсем немного: слушать и передавать услышанное.

Когда незадачливого провокатора надзиратель вытолкал из камеры, Алеша патетически воскликнул:

— Товарищи! Я при всех во всеуслышание объявляю, что признаю превосходство этой женщины. Если б не она, я бы читал Александра Казбеги перед этим сопляком. Мария Андреевна, приказывайте, я выполню любое ваше распоряжение.

Они долго смеялись в первый вечер своего тюремного заключения...

А потом был какой-то вонючий подвал в Шемахе, и снова Мария Андреевна оказалась добрым гением. В семье уездного начальника Хечинова ей приходилось в свое время оказывать медицинскую помощь, и теперь вот он разрешил уступить требованиям заключенных: в подвал принесли кровати, поставили умывальник, а «персонально госпоже Васильевой» был вручен пакет с медикаментами. В этот вечер заключенные беспрепятственно пели «Вихри враждебные», а вооруженный тюремщик у двери лишь тяжело вздыхал.

Они недолго пробыли в Шемахе; поезд увез их в Карс, и на каждой станции Алеша Джапаридзе и Стопани затевали митинги. Мария удивлялась: люди встречали поезд на станциях, ждали его, опи откуда-то узнавали, что в нем едут политические, что будет митинг. В исступлении свистели жапдармы, звелили

станционные колокола, пытаюсь заглушить ораторов. Но митинги гремели, митинги пельзя было заглушить. И уже под стук колес начиналась песня:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Поезд уходил, а песня оставалась там, на станции, с людьми.

Тимофей — Владимир Моисеевич Савков, — несмотря на молодость (ему едва перевалило за двадцать), считал себя опытным революционером. Он был ответственным организатором в Сокольническом районе. Московский комитет назначал в каждый район ответственного организатора, и тот был главным исполнителем воли комитета среди рабочих района. Перевод в Замоскворечье Тимофей почел для себя за честь: здесь работать труднее. Значит, доверяли ему большевики, доверял Марат.

Но постепенно неудачи стали следовать одна за другой. Марат заметил, что Тимофей теряет уверенность в себе, что он готов ринуться на рабочих, не поддающихся убеждению, чуть ли не с кулаками.

— Ты помоги ему, — говорил Южину Марат, — парень он верный, да знаний у него маловато. С его энергией можно горы свернуть.

Михаил рассказал Виргилию о неудаче на пустыре, о встрече с бакинским товарищем, о решении устроить митинг у Даниловского монастыря. Шанцер запустил руку в свою шевелюру.

— М-да, это, конечно, пужно... Но нам с тобой предстоят дела посерьезнее. Нужны статьи, нужны листовки. Есть к тебе еще одна просьба: займись-ка ты студенчеством. Я знаю, учащиеся парни — твоя

страсть. Конечно, это не рабочие, по и их движение следует направить по правильному пути.

— Но ведь в университете дело ведет Алексинский.

— Так-то так... Да только и Алексинскому нужен руководитель. Он как слабое дерево в каменистой почве: вверх тянется, а корни ненадежные.

Васильев с удивлением слушал Марата: он был иного мнения об Алексинском, да и отзывы о нем не совпадали с тем, что говорил Шанцер.

— Я рад был бы ошибиться,— сказал Марат.

Даниловский монастырь находился на окраине Москвы. Видимо, здесь когда-то был лес, несколько деревьев и поныне сиротливо росли у монастырских стен. Открытые настежь ворота выпускали и впускали потоки людей, а по бокам — нищие. Боже, сколько их — просящих, молящих, оборванных, грязных и калечных!

Не теряют времени торговцы: справа и слева от ворот расположились многочисленные лотки и столики со всякой всячиной — пирожками, яйцами, жареным хлебом, помидорами и разными соленьями. Где-то шипит пузатый самовар, где-то предлагают кваском прохладиться.

Тимофей толкнул Южипа в бок — гляди, мол. Но Васильев ничего не заметил.

— Эх ты,— засмеялся Савков,— а еще подпольщик! Гляди на того парня. Сейчас чаю напьется, а уйдет пьяным.

Михаил удивленно посмотрел на товарища, а потом на торговца чаем: он стоял в белом фартуке, плутовато поглядывая по сторонам, и что-то доставал из-под стола.

— Полиции боится, чертов охотнорядец,— и тут же снова расхохотался.

К столику, за которым стоял охотнорядец в фартуке, подошел дюжий полицейский. Он строго посмотрел на торгаша, что-то сказал ему и, оглянувшись, мгновенно опрокинул стакан, который налил ему предприимчивый мужичок. Полицейский довольно крикнул, взял со стола пирожок и затолкал его в рот. Затем погрозил пальцем изогнувшемуся в три погибели охотнорядцу и двинулся степенно дальше. А торговец выпрямился, выпятил живот и закричал что есть мочи:

— Чаю, чаю продать желаю! Все на свете я имею — и что послабже, и что посильнее! Подходи, шевелись, у кого деньги завелись...

— Слышал,— сказал улыбаясь Южин,— шевелись... Давай и мы пошевеливаться. Пошли к нашим...

Возле монастырской стены на примятой траве расположились группами рабочие с женами, детьми,— видно, по праздникам они нередко приходили сюда провести время.

Среди них Южин узнал Василия. Тот встал, помаhal рукой.

— Присаживайтесь, угощайтесь, Михаил Иванович,— пригласил Василий.

На газете, расстеленной на траве, лежали куски хлеба, вареные яйца, соленые огурцы, печеная картошка. В самом центре стояла большая квадратная бутылка водки.

— Развлекаетесь? — спросил Михаил.

— Вроде,— поспешил с ответом Василий.— Да вы не сомневайтесь, товарищ Южин, тут все для дела. Думаю, можно начинать.

Тимофей остановил парня.



— Погоди, горячая голова. Что же, товарищ Южин на весь монастырский двор кричать будет?

Михаил осмотрелся; все так же прохаживались в толпе полицейские, сновали вездесущие босоногие мальчишки, заводили свою нудную, жалостливую песню нищие. Группками, разрозненно сидели рабочие, и Южину показалось, что все это в миниатюре олицетворяет всю Москву с ее разноликостью и суе-той.

Он присел рядом с Тимофеем и Василием.

— Найдется ли среди вас двое дюжих парней?

— Конечно,— ответил Василий,— вон Петр и Григорий подковы гнут. Кулаком быка любой свалит.

— Ну, быка валить не придется. Меня на руках выдержите? — спросил, обращаясь к Петру, Южин.

— Чего там,— хмыкнул парень,— вы не чижолый.

— Вот и хорошо. Прокламации розданы?

— Все в порядке,— ответил Тимофей.

— Ну тогда разливай свою водку... Гармонист, садись поближе.

Парень в синей ситцевой косоворотке придвинулся к Южину, привычно пробуя меха трехрядки.

— Ну, ребята, какая тут песня у вас позазывнее?

Гармонист, склонив голову к плечу, взял аккорд и запел немного сипло:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит.
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

И подхватили парни песню, и полилась она громко, совсем некстати в этом святом месте, у монастырских стен. Кто-то из нищих, недовольный тем, что заглушили его жалобный вой, закричал истошно:

— Одурели, нехристи! Бога бы побоялись.

Песня сделала свое дело. Васильев рассчитал точно: покои веков на гармонию сходились люди на Руси. С ней было легче горе, без нее и веселье не веселье. Вот и сейчас привлекла гармонию людей, объединила доброй русской песней.

Извела меня кручина,
Подколотная змея.
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я...

Собирала людей «Лучинушка». Со строгим видом городской проталкивался сквозь толпу. Южик, улыбаясь, взял его под руку:

— Разве вам эта песня не по душе? Вы же русский человек.

— Здесь песни петь не положено. Вы бы еще на святом месте плясовую отчебучили.

— Да мы ж не поем, мы молимся...

Южик заметил, как жадно заблестели глаза городского, когда он увидел бутылку. Михаил вспомнил находчивого охотника. Он палил из бутылки в стакан и поднес городскому:

— Выпейте за здоровье гармониста. Ему сегодня двадцать стукнуло.

— Ну, если двадцать...

Городской виновато глянул на монастырь, мелко перекрестился и залпом выпил. Хачатур пришел на помощь:

— Закусите, ваше благородие. Вот огурчик...

— Не суйся! — осердился городской. — Видишь, с умным человеком разговариваю, — значит, не встречай. Ишь ты, выдумал! Я не закусываю на службе. После, после закушу. Было б чего...

И он снова выразительно посмотрел на бутылку.

— И правильно, — подхватил Михаил Иванович. — Не станет господин городской кутить вместе

с вами. Он для того найдет и другое время, и другое место.

— Вот сразу видно благородного человека,— про-
басил страж порядка, видя, как Васильев завернул в
бумажку бутылку и какую-то снедь. Он взял этот
сверток, аккуратно прижал к себе и, еще раз строго
посмотрев на Тимофея, сказал: — Только без крика.
И чтоб пляски не было! Места-то, не забывайте, свя-
тые...

Городовой подмигнул стоявшему неподалеку по-
лицейскому, и они вместе ушли куда-то подальше от
людей.

А Ванюша играл уже другую песню. И вдруг
Южин остановил гармониста.

— Давай-ка, Ваня, грянем нашу, рабочую.

И встали молодые парни, и рванул Ваня мехи, и
взорвала тишину боевая, призывная:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Что случилось на тихой поляне близ массивной
монастырской стены! Какой переполох внесла эта
песня в пеструю толпу людей! Защищали, как от
ушата холодной воды, нищие, свернули свои товары
перепуганные торговцы, забежали обрадованные не-
обычностью и непонятностью происходящего маль-
чишки.

Петр и Григорий подхватили на плечи Южина, и
оп вскинул руку, призывая к вниманию. Теперь уже
все поняли, кто перед ними, о чем будет речь.

— Товарищи! Мы не случайно сегодня здесь, у
монастырской степы, недаром разливаются трелями
свистки полицейских. Настало время поговорить по

душам. Хозяевам, нанявшим этих сторожевых псов, нужно, чтобы вы только молились и плакали. Кто эти хозяева? Жирные купцы, фабриканты, помещики, попы и тучи чиновников.

Хачатур ощутил горячий прилив гордости. Вот это здорово! Вот этого-то мы и ждали. Слушайте его, люди, слушайте! Уж я-то знаю — он всегда дело говорит. За ним в огонь и в воду пойти можно.

— Довольно молиться и просить! — продолжал Южин. — Царь ответил на ваши просьбы и молитвы огнем. Кровь обагрила стены его дворца — рабочая кровь! Два года льется рекой кровь наших сыновей и братьев в далекой Маньчжурии. Кому это нужно? Зачем? За что?

— Правильно!

— Хватит!

— Долой фараонов! — раздавалось вокруг.

Васильев продолжал, не переводя дыхания. Он видел — собрание удалось. Радостно блестели глаза у Тимофея, он словно ожил, этот парень. Зорко глядел вокруг Василий, чтоб никто не посмел помешать оратору.

— Московские рабочие! Народ хочет свободы. Он ждет сигнала от вас — из самого сердца России. Ваша партия, партия рабочего класса, зовет вас к революции. Долой царское самодержавие! Да здравствует революция!

Наверное, никогда степенные монастырские стены не были свидетелями такого. Кто-то закричал «ура!», кто-то подхватил: «Да здравствует революция!» Заверещали полицейские свистки. Петр с Гришей опустили Южина на землю и обняли его, словно приготовились защищать. Хачатур уже тоже был рядом. Тимофей пожал Михаилу руку и восторженно закричал:

— Эх и здорово же! Ну спасибо, Михаил Иванович!

А Ванюша вдруг вспомнил о своей гармонии и что есть силы дернул мехи:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

И полетели, как огромная стая белых голубей, в воздух прокламации, и закричали горластые мальчишки:

— Читайте, читайте, читайте! Да здравствует революция!

Вдруг Южин почувствовал за спиной возню. Он обернулся и увидел: какой-то субъект пытается вырвать что-то из рук Василия.

— Что случилось?

— Шпион... Пока вы говорили, он все записывал. Я с него глаз не сводил.

Услышав это, Петр подошел к филеру. Удар — и тот свалился, даже не успев вскрикнуть.

— погоди,— остановил Петра Хачатур.— Записная книжка уже у нас. Теперь еще кое-что поищем.

И он, пошарив у шпики по карманам, вытащил оттуда небольшой револьвер «бульдог». Выразительно посмотрев на Южина, мол, вот как мы научились добывать оружие, он поднял на ноги филера и, пронзительно свистнув, командовал:

— Ну-ка галопом беги, чтоб духу твоего не было! Да смотри не попадайся больше!

Разошлись только тогда, когда послышался цокот конной жандармерии. Михаил Иванович поблагодарил Тимофея, пожал руку гармонисту:

— Хорошо играешь. И поешь душевно.

Петр, Григорий и Хачатур не оставили Южина до

тех пер, пока он не дошел до центра и не скрылся в тихом арбатском переулке.

К Васильеву Хачатур питал особое чувство и потому старался быть ближе к нему, выполнить любое его поручение.

Он-то и сообщил Михаилу Ивановичу, что рабочие Замоскворечья с завистью говорили нынче о том, какне молодцы, мол, эсеры: создали на заводе Гужона боевую дружину.

Васильева это сообщение немало удивило: о существовании такой дружины он ничего не знал. Скорее всего, это очередная авантюра эсеров. С их ультралевыми лозунгами Южип сталкивался уже не раз.

— Знаешь что, Хачатур, давай-ка завтра поедем на Гужон...

Завод Гужона, огромное литейное производство, далеко, совсем в другом конце Москвы, на Владимирке. Хачатура не удивило огромное скопление людей, собравшихся послушать Васильева. Рабочие тянулись к правде. Царское правительство, напуганное событиями 9 января, сделало попытку утихомирить народ «подарком» — созывом булыгинской думы. Важно было разъяснить рабочим, что этот «подарок» — очередной обман.

— Нет, — говорил Южип, — ничего нам не надо ни от царя, ни от тех, кто правит от его имени. Нам надо настоящее народное правление. Не хотим мы ни старого пасилия, ни нового лицемерия. Только народное восстание может дать настоящую свободу и народное правление. К этому призываем вас мы, большевики.

— Почему это вы? А мы, эсеры? Разве не мы истинные друзья крестьянских масс?

Стоявший возле Южина Хачатур весь напрягся, точно готовился к прыжку. Михаил положил ему руку на плечо, не торопись, мол, всему свое время.

— Видите ли,— спокойно продолжал Южин,— свою преданность делу народа надо ведь еще доказать. Мы, большевики, призываем народ вооружиться, зовем его к восстанию.

— А мы вооружились! — гордо воскликнул все тот же эсер. — Наша дружина — это... это...

— Это миф,— закончил за него Михаил. — Эсеры вообще любят называть громкими словами всякий пустяк, который не стоит выеденного яйца.

Шум, который поднялся после этих слов, не дал Южину говорить. Человек пятнадцать парней без какой-либо команды, не слишком организованно подошли к трибуне. То ли раззадоренные словами оратора, то ли подстрекаемые кем-то, они вытащили из карманов ножи, кинжалы, преимущественно самодельные. Лишь три человека оказались обладателями огнестрельного оружия.

— И это вы называете вооруженной дружиной? Да вас иначе не назовешь, как банда! Вон ты, с кинжалом из театрального реквизита,— указал под обший хохот Михаил на молодого рабочего, принявшего воинственный вид,— ты со своим куском железа пойдешь против конного городского?

— Против конного не-е-е... — промычал парень.

— Ну вот, значит, противника выбирать себе будешь, чтоб и пешим был, и без оружия... Нечего сказать, герой...

Хачатур смеялся больше всех. Он видел, как нелепо выглядят эти вояки в глазах рабочих, и решил, что обязательно расскажет у себя в Замоскворечье обо всем, что видел и слышал.

— Нет, товарищи, не такое вооружение нам нуж-

но. Рабочие люди обязаны наладить производство оружия настоящего, боевого, огнестрельного. Нам нужны винтовки, пистолеты, нам нужны пушки. Потому что вооружать мы будем не горстку людей, а народ, рабочий класс! Но и этого мало. Мы должны научиться владеть этим оружием. Рабочие Пресни ездят в леса, чтобы учиться стрелять, и вашему заводу не пристало хвастаться вот этой, с позволения сказать, дружиной. А чем вы хуже пресненцев? Разве вооруженное восстание народа не касается завода Гужона? Или вы доверите свою судьбу этой эсеровской компании?

Шум и возгласы убедили Хачатура: сила на стороне большевиков.

— Да здравствует всеобщая стачка! Да здравствует вооруженное восстание!

Домой шли с Хачатуром вместе. Парень был в восторге: ему казалось — нет на свете человека умнее и красноречивее, чем его бакинский друг.

— Здорово вы, Михаил Иванович, очень здорово! И где только слова у вас такие берутся?

— Слова? — спросил Южин. — Давай-ка присядем, Хачатур, я тебе прочитаю несколько слов. Слушай.

Михаил оглянулся, нет ли кого-нибудь вокруг. Шумели листвою деревья у Патриарших прудов.

— «Судьба русской революции зависит теперь от пролетариата... Только он может новым геройским усилием поднять массы, разъединить колеблющуюся армию, привлечь на свою сторону крестьянство и вооруженной рукой взять свободу для всего народа, раздавив без пощады врагов свободы...» Знаешь, кто это написал?

— Нет, — признался Хачатур.

— Ленин Владимир Ильич.

Стоял погожий сентябрьский день, когда Михаил вместе с Хачатуром направились на митинг железнодорожных рабочих. Это были дни, когда революционные события в Москве начали развиваться с новой силой. Вспыхнула всеобщая забастовка печатников; бастовало шесть тысяч типографских рабочих. Более десяти дней не выходили газеты в Москве, и градоначальник вынужден был разрешить типографским рабочим собираться в закрытом помещении для обсуждения своих дел.

В эти дни Васильев выполнял важные задания МК: он вместе с другими членами комитета выезжал на крупнейшие предприятия города, добиваясь того, чтобы забастовка охватила все рабочие районы.

В мастерских Брестской железной дороги в это время бастовало свыше тысячи рабочих.

Хачатур бывал уже на многих митингах и собраниях вместе с Южиным, и всякий раз убеждался в необходимости своего присутствия. Михаил Иванович, увлеченный работой, порой забывал об опасности.

Вот и сейчас они узнали, что мастерские оцеплены войсками.

— Вы не имеете права рисковать! Вам нужно уйти,— сказал Хачатур.

Михаил посмотрел на него сурово.

— Ни в коем случае! — решительно сказал он и обратился к железнодорожникам: — Товарищи! Вам нечего бояться ни жандармов, ни войск. Вы не одиноки в своей борьбе. Бастуют печатники и пекари, бастуют фабрики и заводы. Придет время, и солдаты, вчерашние рабочие и крестьяне, тоже встанут с нами в один ряд.

Заливистые свистки заглушили речь Южина.

— Р-разойдись! — командовал казачий командир, сдерживая нетерпеливого коня.— Предупреждаю — мне приказано открыть огонь, если не прекратятся безобразия.

В том, что этот свирепый усач выполнит свою угрозу, сомнений не было. И все-таки отступить нельзя, теперь это понимал и Хачатур. Он только старался быть поближе к Южину, прийти к нему на помощь, если это потребуется.

Михаил продолжал, словно и не слышал угрозы казачьего командира:

— Нас не испугают ни угрозы, ни пули. Да здравствует всеобщая стачка! Да здравствует всенародное восстание!

Выстрел взорвал воздух — командир стрелял вверх.

— Шашки наго-ло! — скомандовал он.

Казачи устремились на железнодорожников.

— У кого есть оружие — ко мне, — кричал Южин, не сходя со своего места.

И вдруг он почувствовал, как что-то горячее и острое вонзилось в его плечо. Он оглянулся, инстинктивно схватил правой рукой пенсне, точно боялся, что оно может упасть.

— Михаил Иванович! — закричал Хачатур, увидев, что рассеченный рукав пальто Южина набухает кровью.

Казачья шашка задела плечо, вызвав обильное кровотечение. Хачатур в эти дни не уходил из квартиры Михаила Ивановича, ухаживал за ним, как самый близкий и преданный человек. Несколько раз заходил и Булгаков, приносил ему гостинец — вкусные

картофельные оладьи, «деруны». Их готовила старшая дочь Михаила.

Поредела некогда большая булгаковская семья. Похоронил Михаил-большой жену, ушли на заработки сыновья.

— Да,— приговаривал Булгаков,— не пишут мои сыновья. Хорошо хоть через друзей вести от них получаю. Твои братья, Михаил Иванович, тоже, кажется, разлетелись...

Васильев редко делился с друзьями своим горем, своими бедами. Где сейчас Мария, в какой тюрьме, а может быть, ссылке? Сердце замирало, когда вспоминал он о жене...

Уже три месяца, как не посылает он денег матери: пет ее больше в живых. Надорвалась она на непосильной работе, а окончательно подкосило ее известие о гибели самого старшего — первенца ее. Чужие люди сообщили Михаилу Ивановичу о смерти матери, приписав, что деньги, которые он посылал ей, пришлось отдать, чтоб похоронили ее по-хорошему, похристиански. Когда доведется ему посидеть возле ее могилы...

Где-то еще один брат Михаила. Да где? И жив ли?

Об отце Михаил почти не вспоминал: не мог он простить ему изломанной жизни матери.

Уже через неделю после рабения Южин получил от Московского комитета новое важное поручение.

— Мы обязаны помочь молодежи пойти за рабочими,— говорил Марат.

Южин тоже понимал, насколько важно направить учащих по революционному пути.

Молодежь он знал хорошо и верил в ее традиционную революционность. На его памяти были первые марксистские кружки рабочего толка в университете, он видел, как тянутся студенты к рабочим, он

и сам именно среди рабочих впервые ощутил силу марксистских идей, дважды был арестован — в девяносто шестом и девяносто девятом годах. Южин видел, как революционно настроены многие московские учебные заведения. Он написал от имени Российской социал-демократической рабочей партии листовку, которую так и озаглавил: «К учащейся молодежи».

Сколько статей, сколько листовок написано им, и всякий раз он волнуется, словно пишет впервые.

Листовка кончалась призывом к студентам Московского университета:

«Вы должны остаться в университете, превратив его в очаг революции. Вы должны объявить университет принадлежащим вам и его аудитории превратить в политическую школу. Довольно пассивных протестов! Теперь не время мирных манифестаций, пора сменить их открытыми действиями, открытым выступлением».

Васильев знал силу большевистских листовок и прокламаций, не раз проверял ее во время бакинских событий, помнил, как тянулись к этим маленьким листочкам бумаги рабочие, как остервенело искали их и уничтожали враги. Но он даже не мог предположить, что эта листовка так быстро найдет себе путь к сердцам студентов, что так ускорит она дальнейшие события.

В эти дни двери Московского университета были открыты для рабочих, в аудиториях проходили сходки и собрания. Неоднократно заседал здесь и Московский комитет РСДРП; в одной из университетских аудиторий объявил Марат о начале всеобщей забастовки, вошедшей в историю как знаменитая Октябрьская стачка.

После скучных, надоевших, тягучих профессорских лекций вдруг взорвались аудитории огненными речами, полными революционных лозунгов, остроумного красноречия и беспощадной, бескомпромиссной полемики. Задавали тон большевики, проводившие в здании на Моховой свои, рабочие собрания.

Забастовочное движение в Москве ширилось с каждым днем, и охранка принимала свои меры. Зубатов пустился на хитрость, пытаясь собрать не просто верных ему людей, но и, как он выражался, «народные силы». Охранка сколотила вокруг себя лишь самых отпетых головорезов — охотнорядских мясников да разного рода жуликов, которыми особенно славилась тогда Марьиная роща.

Южин хорошо знал, для чего создала охранка «черную сотню». А разве резня в Баку не тот же бандитский, не единожды проверенный метод борьбы против революционно настроенных масс? Резня, погром, а следом за ними нападения на интеллигенцию, на революционно настроенных рабочих. Черносотенцы не раз пытались разгромить техническое училище, где находилась штаб-квартира большевиков.

Южин знал, как бороться с бандитами: черносотенное отребье особой храбростью не отличалось. И когда охотнорядцы напали на техническое училище, Михаил вывел им навстречу рабочую дружину. Несколько выстрелов было достаточно, чтобы и след черносотенцев простыл...

Но была у него и еще одна встреча...

Михаил шел к центру города поздним вечером — заседание комитета закончилось в двенадцатом часу. Он думал о Марии. Скучные сведения доходили о ней до Москвы. Михаил, не зная подробностей, получил, однако, известие о том, что перевели ее из Баку в тифлисскую тюрьму, а затем в крепость Карс...

Внезапно мысль оборвалась: Южина окликнули. В темной московской ночи, не освещенной ни одним уличным фонарем, этот оклик показался зловещим:

— Эй, подожди!..

Неподалеку, шагах в десяти, стояли какие-то люди, освещенные полосой света, падающего из приотворенной ставни. От них отделился человек в короткой теплой куртке и высоких куческих сапогах. «Вроде приказчик,— подумал Южин,— видно, из охотнорядских».

Человек в куртке подошел поближе и грубо спросил:

— Ты откуда? Не из технического ли училища?

Что ответить? Хитрить? Вон их сколько... Теперь ясно: черносотенцы.

— А тебе какое дело? — так же грубо ответил Михаил.

— Забастовщик, значит? Ах ты, сволочь драная!

Эти слова как огнем обожгли Михаила. Он уже не думал о своей безопасности, о том, что случится дальше. Он нащупал и сжал в кармане браунинг.

Почувствовав опасность, черносотенец попытался схватить Южина за руку и истошно закричал:

— Забастовщик он! Бей его, ребята!

Но прежде чем орава головорезов приблизилась, Михаил ударил бандита браунингом по голове. Тот только охнул и повалился на тротуар, обхватив голову руками. «Ребята» почему-то не спешили на помощь своему дружку, да и Михаил не стал ждать — нустился что есть силы бежать в сторону центра. Завернув в какой-то переулок, оглянулся: погони не было. Он вытер пот со лба, передохнул и вдруг расхохотался — неожиданно для самого себя. Ему было радостно от ощущения победы — маленькой, не очень существенной, но все-таки победы. А впрочем, такой

ли уж маленькой? Ведь не окажись у него в кармане браунинга, кто знает, чем бы закончилась эта ночная встреча в темном переулке.

Между тем черносотенцы все чаще и чаще навещали к университетскому зданию. Слово «студентик» в их устах начало звучать и презрительно, и угрожающе: видимо, охранку не на шутку взволновало поведение молодежи.

Октябрь принес в Москву холода. Сначала они пришли в город северным, пронизывающим ветром, а затем осели на опавшей листве, на побелевших куполах и крышах, на покрытых утренним инеем бульварах. Люди начали одеваться потеплее. Студенты поверх своих форменных курток надевали шинели с блестящими пуговицами или просто пальто — так вольнее и незаметнее.

Однажды — было это в середине октября — Михаил шел мимо университета. Его внимание привлекло нагромождение различных предметов — столов, скамеек, стульев, досок, бог весть откуда оторванных. «Что за баррикады?» — удивился Южин, глядя, как плотно закупорены университетские ворота, и вдруг услышал:

— Товарищ Южин, скорее сюда, а то будет поздно.

Голос раздавался оттуда, из-за баррикад, — кто-то из студентов узнал Михаила Ивановича.

В воротах появилась щель, и тотчас чья-то рука потянула Михаила к себе... Он даже не успел оглянуться, как очутился по ту сторону этого импровизированного ограждения.

— Что случилось? К чему эти баррикады? От кого вы ограждаетесь?

Ответы сыпались с такой же быстротой, как и вопросы. Юноши наперебой рассказывали Южину, что

полиция и черносотенцы решили напасть на университет, что налет ожидается с часу на час и что студенты вместе с рабочими решили оборонять университет.

— А много вас здесь?

— Тысячи две...

— Оружие есть?

На этот вопрос ответить оказалось труднее. У рабочих, конечно, кое-что есть — у кого браунинги, у кого ножи да кинжалы.

— А это чем не оружие? — сказал раскрасневшийся студент, указывая на камни, которыми вымощен был университетский двор. — При случае в каждую руку по булыжнику — уже четыре тысячи...

Южин понял, что попал он сюда удивительно вовремя. Нет, это не стихийное сопротивление врагу, это борьба, и он, Михаил, имеет отношение к революционному настроению этих парней. Но кто руководит ими сейчас, в эту ответственную минуту? Достаточно ли здесь рабочих, чтобы возглавить студенчество, да и действительно ли реальна угроза университету?

В аудиториях шли митинги, и люди на них были разные. Все ли они захотят ввязаться в вооруженную стычку с полицией?

— Кто-нибудь из партии социал-демократов здесь есть? — спросил Южин у молодого парня, по-видимому рабочего, которого товарищи называли Петром.

— Выступает один на митинге, Алексинский кажется. Вон в той аудитории.

Южин слушал Алексинского со смешанным чувством. Говорил оратор остроумно, ему много и часто аплодировали. Михаил не сомневался, что перед ним человек талантливый, яркий. И вместе с тем было в его речи что-то грубое, едкое, неприятное. Алексин-

ский громил черносотенцев, не жалел уничтожающих эпитетов и сравнений. Был Алексинский чем-то похож на красивое суденышко, подброшенное могучей морской волной. Почему пришло в голову это сравнение, Южин не смог бы объяснить. Может быть, сыграло роль мнение Марата? Может быть...

Когда Алексинский закончил речь, Михаил подождал его, поздоровался.

— Вы уверены, что университету грозит опасность? — спросил он.

— Конечно. Я не могу точно сказать, когда начнется нападение, но мне доподлинно известно, что полиция собирается закрыть университет, разогнать или арестовать студентов.

— Что ж, студентов в обиду не дадим,— твердо сказал Южин.— Теперь задача в одном: организовать максимально. Во-первых, давайте посоветуем всем, кто желает, покинуть университет, пока это возможно. Во-вторых, нужно создать что-то похожее на штаб. Нельзя действовать по принципу «кто — в лес, кто — по дрова».

— Кажется, такой штаб уже есть,— нетвердо ответил Алексинский.

— Кажется? Нет уж,— решительно сказал Михаил,— очень прошу вас уточнить. Если есть, то назовем его революционным комитетом по обороне университета. Мы с вами войдем в него от имени МК. Если нет, этот комитет надо создать. Как вы думаете, надолго затянется эта оборона?

Алексинский неопределенно пожал плечами. Чувствовалось, что он не задумывался над этими вопросами. Движение студенчества не представлялось ему делом серьезным, требующим особой организации.

— Трудно сказать... И вообще, следует ли к этому относиться серьезно?

— В революцию не играют,— твердо сказал Михаил.

— Да разве это революция? — с нескрываемой проницательностью спросил Алексинский.

— Пока еще нет... Но огонь ее уже разгорается. И самое главное — не дать загасить его.

Вскоре комитет собрался. Он оказался немногочисленным, и каждому хватало дел: следить за улицей, проверять, кто входит в университет и кто выходит, поддерживать боевое настроение у студентов.

— А питаться чем будете? — задал прозаический вопрос Южин.

Над этим никто не задумывался. Может быть, они и в самом деле надеялись в перерыве между боями сбегать домой пообедать? Южин вновь заметил ехидную усмешку Алексинского.

— Значит, так: один из членов комитета возьмет эти деньги, соберет еще, подыщет на свое усмотрение десяток шустрых парней — и бегом за продуктами. Подвезти их нужно по переулку за университетским двором. Рассчитывайте дня на два, не меньше... Купите самое необходимое, хлеб прежде всего. Помните: нужно много хлеба.

— Кому поручим это важное дело?

— Петру Сомову — он у нас хозяйственный.

Петр — долговязый худой парень из рабочих — не скрывал радости. Он гордился данным ему поручением и тотчас выбежал из аудитории.

— Теперь,— продолжал Южин,— об оружии. Надо подсчитать, сколько у нас револьверов. Пожалуй-ста, возьмите двух комитетчиков, товарищ Алексинский, соберите всех, кто вооружен огнестрельным оружием, и разбейте их на отряды.

Алексинский пожал плечами и вышел, кивнув головой двум сидевшим рядом с ним студентам.

— А нам,— продолжал Васильев,— предстоит решить одну научную задачу.

— Научную? — удивился вихрастый паренек в короткой студенческой куртке.

— Именно научную. Есть ли среди вас химики?

Студенты молчали,— видимо, химиков среди них не было. Это огорчило Михаила Ивановича: он надеялся, что молодежь могла бы изготовить динамит, который сейчас очень пригодится. Он знал, конечно, теорию взрывчатых веществ, но практических навыков не имел.

— А мы реквизируем из химической лаборатории серную кислоту или азотную, наполним ими колбы — и будьте уверены, какие бомбы получатся,— сказал очкарик, взглядом испрашивая у Южина разрешения.

— Что ж,— ответил Михаил,— на худой конец и это неплохо. Идите к профессору — он живет в университетском здании — и заберите ключи от лаборатории.

Увидев замешательство среди комитетчиков, Южин добавил:

— Будет профессор отказываться — арестуйте.

Будто только этих слов и ждали студенты. Они вскочили, крикнули что-то и выбежали с очевидной готовностью «арестовать профессора». «Юпость пробует силы», — подумал Михаил.

Ночь прошла спокойно, даже более спокойно, чем можно было предвидеть. Забыв обо всякой опасности, вопреки всяким правилам маскировки и конспирации, студенты жгли на университетском дворе костры, кипятили чай, варили в позаимствованных из лабораторий посудилах пищу. Продукты Петр Сомов привез самым исправным образом.

— Что же, — сказал Южип, — мы поручаем вам, товарищ Сомов, полный контроль за их расходом. Наказ такой: экономить каждую крошку хлеба, каждый грамм!

Васильев уснуть не мог и почему-то думал о Ленине. Что бы он сказал об этой ночи, об этой попытке организованного выступления студентов?

С тех пор как они расстались, Михаил Иванович не пропускал ни одной его статьи, ни одной опубликованной речи и всякий раз получал лишнее подтверждение тому, как прозорлив и глубок в своих суждениях Владимир Ильич.

...Южин смотрит сейчас на молодых людей и думает об их судьбе, об их будущем. Конечно, большинство из этих воинственных мальчишек вряд ли станут революционерами, многие попали сюда случайно. Но ведь им нужно пройти сложную школу борьбы, понять себя.

И все-таки Южину казалось, что молодежь не чувствует всей сложности момента: студенты смеялись, сыпали шутками и анекдотами. Поначалу это насторожило Васильева, но постепенно он начал понимать, что это — жизнелюбие, что это и есть молодость, с ее отчаянным блеском в глазах, с презрением к унынию и опасности, и в какой-то степени — игра в «революцию».

И это веселье, эта жизнерадостность заразила, увлекла его. Он смеялся вместе со всеми, шутил и острил, а потом пел с ними озорные и веселые студенческие песни.

Несмотря на позднее время, Михаил решил отправить связного к Марату: нужно поставить в известность МК о событиях в университете. Южин снова припомнил предупреждения Ильича — события иногда будут опережать организаторов забастовок и вос-

станции. Важно не плестись в хвосте этих событий, вовремя возглавить их, направить по правильному руслу...

Рассвет в октябре наступает поздно. Было уже около восьми утра, когда прикорнувшего в одной из аудиторий Васильева разбудил Петр.

— Полиция, — коротко и тревожно сказал он.

Южин выглянул в окно и увидел, что вокруг университетского здания в несколько рядов стоят цепи полицейских.

— Связной из МК не возвратился?

— Нет.

Васильев видел в окно, как замкнула кольцо вокруг университетского здания полиция, как занимают позиции стянутые сюда, на Моховую, войска, как плечом к плечу становятся солдаты и взоры их направлены на университетские окна. Хорошо, что пока еще только взоры.

Южин прошелся по аудиториям и с сожалением увидел, что многие студенты выглядят далеко не так бодро и уверенно, как вчера днем и тем более ночью.

— Ну что, ребята, нос повесили? Солдат испугались? Вы ведь их камнями забросать хотели, — язвил Алексинский. Ему казалось, что он поддерживает боевой дух.

— Вас хочет видеть ректор университета, — сказал Петр Южину. — Он тут все призывает разойтись по домам.

Васильев слышал немало о ректоре Московского университета профессоре Мануилове. Он был известен как либерал, которого любая, даже малая уступка со стороны самодержавия приводила в неопикуемый восторг.

Ректор утратил свою обычную солидность. Он метался по аудиториям и умолял пощадить универси-

тетскую честь и здание, — вопи и войска уже прибили.

— Мы их сюда не звали, — решительно ответил Васильев. — Здание мы пришли не разрушать, а оборонять от бандитов и черносотенцев.

Ректор убежал, поминутно повторяя застрявшее на языке слово:

— Безумие! Безумие! Безумие!

В это время Южина разыскал связной с запиской от Марата.

— Петр, — попросил он, — соберите ревком.

Заседание было коротким. Южин сказал:

— Мы с Алексинским связались с Московским комитетом РСДРП. Обстановка не благоприятствует продолжению борьбы. Гласные городской думы отказались создать в Москве временный революционный комитет. Рабочие готовы выступить, но, к сожалению, у них мало оружия. А войска — вот они, вы видите их в окно. Пока на солдат надежды плохи. Есть ли смысл продолжать инцидент?

Ответ был единодушным: нет. Одни произнесли это слово более охотно, другие — менее, но другого мнения не было.

— В таком случае поручите нашей тройке — мне, Алексинскому и Петру — продолжить разговор с ректором. Сейчас главное — не подвергнуть опасности ни одного студента, ни одного забастовщика.

Ректор не пришел, а примчался, когда ему сообщили о том, что его приглашают на заседание ревкома. Он внимательно всматривался в лица, стараясь по ним узнать, что будет дальше.

Южин говорил спокойно, даже излишне медленно, и Алексинский отметил про себя, что человек этот обладает немалой выдержкой.

— Господин ректор, я обязан довести до вас решение ревкома. Мы будем оборонять университет до

последней капли крови и тем самым докажем, что его свобода — не пустой звук и не повод для бандитских действий охотнорядских мясников. Конечно, война есть война, и я не могу вам гарантировать безопасность как людей, так и всего здания с его имуществом.

Он видел, как побледнел и сразу осунулся Мануилов, и где-то в душе открылась маленькая дверца для жалости.

— Нам очень жаль и здание, и вас, уважаемый ректор, но поймите, мы не видим другого выхода.

Петр понял Южина, его жестокую дипломатию и словно невзначай шлепнул ладонью по огромной бутылке, стоявшей недалеко от дверей.

— Что это? — спросил профессор.

— Так, ерунда, — театрально произнес Истр. — Где серная кислота, где гремучие смеси... Артиллерия...

Южин видел: еще минута — и ректор упадет в обморок. Профессор терял самообладание всякий раз, когда речь шла об опасности для университетского здания. Михаил понимал ректора, здание было дорого и его, Васильева, сердцу.

— Если окажется необходимым, мы сами подожжем университетское здание, — сказал Южин.

— Что я могу сделать? — жалко, почти беспомощно, без всякой надежды на успех спросил Мануилов.

Михаил помолчал, переглянулся с ревкомовцами и спокойно сказал:

— Если московский градоначальник даст гарантии, что никто из находящихся в университете, во-первых, не будет арестован, а во-вторых даже обыскан, да-да, даже обыскан, — словом, что к нам никто притронуться не посмеет, мы готовы обсудить вопрос о выходе из университета...

Ректор недоверчиво огляделся вокруг, но, поняв, что все это сказано совершенно серьезно, воспрянул духом.

— Я обещаю вам... Я переговорю с властями. Я... скоро вернусь...

Васильеву показалось, что ректор посмотрел на него не только с надеждой, но и с благодарностью.

Марат нервно шагал по коридору технического училища в Лефортове. Дошла ли его записка до Южина, сумеет ли Михаил найти бескровный выход для своей нетвердой студенческой армии?

Обстановка в Москве была сложной. Московский комитет заседал почти ежедневно, и, прежде чем ответить на записку Южина, Виргилий серьезнейшим образом советовался с членами МК. Мнение было единым: Москва не готова к восстанию. И хотя рабочие дружины, разумеется, не оставили бы в беде студенчество, нужно попытаться избежать схватки: революционные силы нельзя расплывать, их нужно готовить к грядущим боям.

И все-таки Виргилий попросил Николая Шмита, социал-демократа, владельца мебельной фабрики на Пресне, направить фабричную вооруженную дружину к университету — в случае чего поддержать студентов.

— Главное — не допустить провокации. Войска-то еще без команды не ввяжутся в драку, а за черносотенцев поручиться нельзя. Они умышленно могут завязать бой, чтоб втянуть в него войска.

Ректор университета возвратился не скоро, и Михаил предложил членам ревкома разойтись по аудиториям, поддержать людей, но, как только он даст сигнал, немедленно собраться.

Остался с ним один Алексинский. Южину уже казалось, что был он несправедлив к этому человеку. Ну что из того, что не сходила с уст его презрительная усмешка, что был он излишне горяч и груб в речах? Говорят, черносотенцы даже приговорили его к смерти, — значит, досадил он им немало. Да и студенты относились к нему доверчиво, с удовольствием слушали его речи.

Михаил Иванович все еще был во власти своих мыслей, когда Алексинский спросил:

— Ты всерьез надеешься на милость градоначальника?

Южин ответил не сразу.

— Если б я целиком надеялся, не было бы здесь бомб, этих бутылей с кислотой, не было бы и вооруженных рабочих. Но признаюсь тебе честно, что надежды не теряю.

— Почему?

— Да потому, что градоначальнику сейчас не до студентов. А рабочих здесь не так уж много. Ведь что ни говори, к нам студенчество на волне революции приплыло. У каждого из этих мальцов за спиной родители — у кого мелкий буржуа, а у кого и покрупнее...

— Значит, мы во главе буржуазного войска?

— Что ж, в революции и такое может случиться. Надеюсь, ты помнишь Маркса. И Ленина, надеюсь, читал...

Алексинский не ответил. Ехидная улыбка, к которой Михаил начал уже было привыкать, сейчас раздражала его.

— Но сейчас дело не в теории. Нужно вывести отсюда людей, и ради этого мы с вами пойдем на переговоры не только с ректором, но и с самим генерал-губернатором.

И вдруг Южин заметил, как исчезла улыбка с лица Алексинского. И словно голеньким стало это лицо, растерянным и незащищенным...

— Я не пойду,— негромко сказал он, и Васильев вдруг почувствовал, что это решение давно обдуманно и давно принято.

— Как это — не пойдете?

— Очень просто... И вам не советую. Я знаю одну профессорскую квартиру, мы можем через нее безопасно выбраться отсюда. А там и остальные разойдутся. Так будет лучше.

— Вы говорите серьезно? — спросил Южин и тут же рассердился на себя: к чему этот нелепый вопрос? Конечно же серьезно, до обидного серьезно.

— Вполне,— ответил Алексинский.

И в это время вошел ректор.

— Я уполномочен...

— Одну минутку, профессор. Мы закончим небольшое совещание.

— Ах, простите,— пропел обиженно Мануилов,— я полагал, что в этом здании я имею право входить без доклада.

И он, не дождавшись ответа, вышел.

Южин едва сдерживал гнев. Он подошел вплотную к Алексинскому и жестко сказал:

— Сейчас не время для дискуссий и объяснений. Человек еще может предавать, партия — нет. Наша партия, большевистская,— подчеркнул Южин.— Если вы уйдете отсюда — уйдете из партии. Это я вам обещаю. А теперь зовите ректора и комитетчиков.

На лице Алексинского снова появилась усмешка. Он смущенно пожал плечами и вышел из аудитории.

Ректор уже забыл об обиде на Южина, который фактически выставил его за дверь. Он был весь во власти милости, предложенной губернатором.

— Он согласился,— говорил профессор, захлебываясь.— Он согласился. Вы выходите из университета, и вас никто пальцем не трогает... Больше того, вас будут охранять войска... То есть не войска, разумеется, а особо доверенные лица.

Южин улыбнулся: дипломат из ректора Мануилова получился бы неважный. А может, не градоначальник хитрит, а он сам? Нет, вряд ли.

— Вы меня не поняли, господин ректор,— сказал Южин, поглядывая на товарищей. Алексинский стоял в стороне, и его взгляд выразительно говорил: я же предупреждал — обманут. Что мы можем! — Вы меня не поняли, профессор. Я сказал конкретно и безоговорочно: нам нужны полные гарантии, что ни единого человека, вышедшего из университета, пальцем не тронут. А вы можете дать свое честное профессорское слово, что эти самые войска не откроют огонь по безоружным студентам?

Ректор неопределенно, но вполне честно развел руками: такой гарантии он, разумеется, дать не мог.

— Единственное, что могу вам обещать,— раздумчиво проговорил он,— это то, что пойду вместе с вами, пока все не разойдутся по домам.

Южин с уважением посмотрел на Мануилова: не трусость, а искренняя любовь к университету руководила им.

— Ну, дорогой профессор, этого не будет. Вас первым и прихлопнут, да еще с удовольствием. Для охотнорядцев что студент, что профессор — одно и то же... Нет, требование наше окончательное: убрать все войска. С черносотенцами мы сами справимся. А в качестве гарантии с нами пойдет сам градоначальник или другая не менее важная птица...

У ректора аж дыхание перехватило. Вот когда он струсил.

— Сам градоначальник? Да вы с ума сошли! Я не посмею ему и заикнуться об этом.

— И между тем это единственный выход, и решимость наша непоколебима.

— Говорите сами. У меня в кабинете генерал, помощник градоначальника. Он прибыл лично. Вы понимаете... Я гарантировал ему безопасность.

«А он не так прост»,— подумал Михаил и вслух добавил:

— Что ж, помощник так помощник. Ведите нас к нему. Мы втроем, если не возражает комитет, и двинемся: Петр, Алексинский и я.

Комитет не возражал, но ректор замялся.

— Видите ли,— сказал он осторожно,— не лучше ли, если с генералом будут разговаривать студенты...

— Разумеется,— успокоил его Васильев.— Можете не сомневаться.

Михаил шепнул что-то Петру, тот понимающе улыбнулся, и мгновению все было сделано: Южин, Алексинский и Петр надели на себя студенческие куртки, не забыв переложить из своих карманов оружие.

— Так надежнее,— сказал Васильев, проверяя, заряжен ли пистолет.

Ректор многозначительно вздохнул.

— Безумие,— пролепетал он и направился к выходу.

Уже перевалило за полдень, и первые предвечерние серые блики легли на окна. Кабинет ректора не был затемнен шторами, и Южин решил, что уже пятый час.

В массивном кожаном кресле, широко и вальяжно развалившись, сидел генерал, и Южину показалось, что он где-то видел его.

— Кто это? — строго спросил генерал у ректора.

— Это... депутация... то есть я хотел сказать... от студенчества...

— И чего же они просят? — не поворачивая головы, спросил генерал по-французски.

— Мы ничего не просим, — ответил также по-французски Южин. — Мы требуем гарантий.

Генерал до смешного поспешно вскочил.

— Что? — спросил он по-русски. — Каких еще гарантий? Да как вы смеете, сопляки...

Петр повернулся к Южину.

— Пошли, пожалуй... У этого генерала слишком громкий голос.

Южин посмотрел на Петра и искренне порадовался за парня.

— Ты прав. Генерал, видимо, забыл, что мы пришли сюда не с просьбой, а с требованием.

Генерал побагровел:

— Вы понимаете, сам градоначальник гарантирует вам безопасность! Охранять! Охранять даже, черт побери! Да я бы... Да я бы... Мальчишки! Бунтовщики!

Алексинский со своей иронической улыбкой смотрел уже не на генерала, а на Южина.

Михаил посмотрел на него, потом на теряющего последние надежды ректора.

— Вот что, — твердо сказал он. — Если вы будете разговаривать в таком тоне, мы попросту уйдем, — и, обращаясь к ректору, добавил: — Как видите, каков помощник, таков и губернатор. Словом, не получился у вас обман, господин полицейский генерал. Пошли, товарищи...

Такого оборота дела полицейский не ожидал. Видимо, он имел все-таки твердые указания договориться и избежать схватки, потому что неожиданно для всех троих он вдруг резко изменился.

— Погодите... Не так, видншь ли, с ними разговаривает,— ворчал он с видом провинившегося папаша.— А как? Бунтуете ведь, бунтуете, молодые люди. Ну ладно, ладно, садитесь. Да садитесь, я вам говорю!

— Господин генерал так хочет нас посадить, что просто невозможно отказаться.

Южнин уселся в кресло, Алексинский и Петр расположились на диване.

— А вы чего? — спросил генерал у профессора.— Садитесь же...

Ректор поблагодарил, однако в свое кресло за письменным столом пропустил генерала, сам же пристроился на стоявшем одиноко стуле. Можно было подумать, что именно он основной виновник случившегося.

Генерал чувствовал себя неловко, и Михаил понимал это. Как разговаривать с этими людьми? Он привык повелевать, командовать, а тут... Нет, не просто ему начать разговор.

Генерал перекладывал без толку бумаги на столе, зачем-то вертел в руках телефонный шнур...

— Ну, я понимаю, рабочие,— начал накопец он.— Им терять нечего. Но вы... вы... Дети почтенных родителей, сами образованные, интеллигентные люди. Вот по-французски изъясняетесь.

— Не теряйте времени, генерал,— резко перебил его Васильев.— Не здесь выяснять, в чем интеллигентность, а в чем варварство.

— Ну, ну... Так, значит, к делу. Вы боитесь, что вас арестуют и даже обыщут, хотя... Ну ладно. Мы обещаем вам, что ничего такого не случится. Не бойтесь.

— Мы не боимся, господин генерал. Профессор Мануилов понял нас более точно. Мы не хотим кро-

ви и разрушений. Может быть, на него подействовало то, что он видел наши бомбы.

Помощника градоначальника передернуло; он стал пупцовым и не смог скрыть своего гнева.

— Вот именно разрушений,— пролепетал ректор.

Генерал взял себя в руки, хотя стоило это ему немалых усилий.

— Хорошо, мы не будем вас обыскивать. Вы выйдете из здания и разойдетесь, куда захотите. Но наши требования вы тоже должны принять.

— Какие же? — спросил Васильев.

— Прежде всего, мы сами укажем вам, в каком направлении идти. Во-вторых, никаких песен и, как это у вас называется, лозунгов... И в-третьих, небольшими группами. Не длинной колонной, а группами...

— Я понял вас, генерал. Продолжайте.

— Ну вот, пожалуй, и все.

Южин смотрел ему в глаза и думал: ловушка или выпущенный компромисс? Что они боятся этой массы — несомненно: ни песен, ни лозунгов, ни общей колонны... А может быть, есть еще какая-то причина уладить дело миром? Михаилу казалось, что генерал чего-то недоговаривает, что вертится у него на языке какая-то новость, которую он не может огласить.

— У меня вопрос: когда мы пойдем, уберете ли вы жандармов, полицию, войска? Вам господин ректор передал это наше требование?

— Да, господин градоначальник согласился. За исключением небольшого отряда драгун.

— А это еще зачем?

— Для охраны. Сами понимаете, вы вызвали своими действиями гнев народный. Как бы народ...

— Народ? — Южин рассмеялся. — Из Охотного ряда или из Марьиной рожи? С этим «народом» мы сами справились бы. Но если вы настаиваете...

— Д-да,— поспешил подтвердить генерал.— Градоначальник настаивает на этом.

— Хорошо.

Улыбка исчезла с лица Алексинского,— значит, он не согласен. Петр тоже недоуменно посмотрел на Михаила. Но он взглядом успокоил их.

— Хорошо,— повторил он.— Если градоначальник настаивает, как не уважить. Но небольшая уступка со стороны градоначальника... Взаимная, так сказать. Он пойдет вместе с нами до тех пор, пока последний студент в полной безопасности не отправится своей дорогой.

— Кто пойдет с вами? — не понял генерал.

— Господин градоначальник, ваше превосходительство,— членораздельно ответил Южин.

Ректор едва не упал со стула, вызвав совсем некстати смех у Петра. Алексинский с удивлением посмотрел на Южина: такого хода он не ожидал. А генерал замолк, словно проглотил преострую перчину.

— Вы... вы...— наконец выдохнул он,— понимаете, что говорите?

— Мне повторить? — спокойно спросил Южин.— Впрочем, я вижу — вы достаточно хорошо все поняли.

— Да как вы смеете!

— Ну, генерал, этого я от вас не ожидал,— сказал с достоинством Южин.— Вы — и вдруг такой неуверительный довод: как мы смеем. Да раз посмели, значит, смеем, значит, имеем право.

— Откуда вы знаете... про свое право? — с ноткой испуга спросил генерал, и Южин снова почувствовал, что он что-то скрывает.

— Мы его уже завоевали, если вы сейчас выпущены разговаривать с нами. Мой довод логичнее, не правда ли?

— Но поймите, сам градоначальник... Градо-начальник...

— Не надо, — оборвал Южин. — Для вас он фигура, а для нас... Словом, это — наше требование. Без такой гарантии мы остаемся в университете.

— Но ведь я... Мне нужно доложить.

— Телефон перед вами, генерал.

Южин смотрел на помощника градоначальника и пытался понять, что же скрывает он, что он затаил.

Генерал нервно крутил ручку телефона, и на его лице видно было неподдельное волнение. Он едва выговорил градоначальнику только что услышанное.

— Да-да, ваше превосходительство... Вы... или другое значительное лицо, — добавил он от себя, но Южин не перебивал. — Я понимаю. Но я обязан был вам доложить. Извините... Что? Я? Но это ведь... Хорошо. Боюсь, что моей скромной персоны окажется мало, — мстительно говорил генерал. — Впрочем, попробую уговорить. Слушаюсь, ваше превосходительство.

Он положил трубку и с удивлением посмотрел на Южина, на Петра, на Алексинского. Кто они, эти люди? В чем их сила? Этот, в пенсне, уже не юноша и, конечно, не студент. Умец. А может, это и есть главный большевик? Нет, для главного молод. Знает по-французски, а может быть, не только по-французски.

— У меня один вопрос, — сказал он наконец. — Если я пойду с вами...

— Вы пойдете с нами, и это вовсе не вопрос. Ведь вам приказано, — без графа юмора сказал Южин.

— Да-да, разумеется. Значит, вы согласны?

— Это решит комитет. Мы возвратимся через полчаса и объявим вам результат.

— Пойдите, — замылся генерал, — теперь у меня вопрос: а чем вы гарантируете мою безопасность?

Южип сжидал этого вопроса: генерал с самого начала не показался ему храбрецом.

— Ваша безопасность — в ваших руках. Если будут молчать полиция и жандармы, если войска или ваши охотпорядские подручные сумеют сдержать себя, вам ничего не грозит. Но имейте в виду: я иду рядом с вами и мой пистолет падежно заряжен. Рабочие дружины, все наши товарищи будут извещены, а уж вы соблаговолите, милостивый государь, дать распоряжение своим. Мы уложим без колебаний всякого, кто поиробует папасть на нас. Вот и все мои гарантии. Других не имею, господин помощник градоначальника.

Генерал выслушал речь Южипа как приговор. Боясь, что он откажется, вмешался ректор:

— Я тоже пойду с вами, господа. Если позволите...

Он был храбрее генерала, этот сугубо гражданский человек. Наверное, потому, что знал зачем, во имя чего...

— Да, да, разумеется, мы не возражаем, — величественно разрешил помощник градоначальника.

Люди выходили из университета по одному — условия были обсуждены на собраниях в нескольких аудиториях. Первыми вышли и образовали своеобразный заслон те, кто имел огнестрельное оружие.

Уже наступил нетерпеливый октябрьский вечер. Что скрывает эта темнота? Что готовит она этим, в большинстве своем не оперившимся, птенцам?

Все эти юноши предупреждены об огромном риске, которому подвергаются, выходя собсща. Кто хочет, может попытаться выскользнуть самостоятельно, через проходные дворы. Нет, ни один не согла-

силы, — все решили, что организованная сила надежнее.

Шли по Большой Никитской улице. В домах горели одинокие огоньки, улицы были тускло освещены: газовщики Москвы бастовали. С темнью сплелась в одну косу тишина. Даже двигались вроде на цыпочках — пастороженно, бесшумно. Юноши шли плечом к плечу, а как только приходилось свернуть, молча пожимали руки товарищам и уходили сквозь рабочее заграждение...

Почти в самом первом ряду шли помощник градоначальника и ректор университета профессор Мануилов. За генералом шел Южин. Здоровую руку он держал в кармане, и в памерепиях его не было никаких колебаний.

И вдруг шествие задержалось, остановилось, как испуганный копь. Генерал застыл, раскинув руки и этим останавливая и как бы успокаивая людей. Ректор инстинктивно подался назад, а Южин вплотную приблизился к помощнику градоначальника...

— На пощаду не рассчитывайте, — тихо сказал оп.

— Помолчите, — в тон ему ответил генерал.

Из-за перекрестка медленно и зловеще показался отряд конных драгун... Он ехал молча, лишь стук копыт любовно кованых лошадей звучал как барабанная дробь. У каждого драгуна была на боку шапка и за плечами — карабин. Конечно, такому отряду солдат не противостоять этим юношам.

Петр схватился за оружие, но Алексинский сдержал его — к нему уже полностью вернулось самособладание. Юноши в передних рядах притаились, испугавшись этой военной демонстрации.

Генерал был бледен. Он лучше других понимал напряженность момента: если хоть у кого-нибудь не

выдержат нервы, если прозвучит даже один, пусть случайный, выстрел, произойдет страшное...

Нет, он не думал сейчас ни о ректоре, ни о своем обещании, ни тем более об этих безумных мальчишках. В конце концов, получили бы то, что заслуживают. Страх, инстинкт самосохранения был сильнее его: очень уж не хотелось умирать так нелепо, ради этих сопляков, из-за безволия и трусливости градоначальника. И зачем он сам пошел в этот ужасный, нелепейший поход! Неужели он должен расплачиваться за тот документ, который лежит сейчас на столе у градоначальника и завтра-послезавтра будет объявлен народу и перестанет быть тайной... А теперь умирай нелепейшим образом — ведь этот, в пенсне, с прямым посом и плотно сжатыми губами, выстрелит, ни на минуту не задумается.

Драгуны проехали, умолк звон копыт, и шествие пошло легче. Как длинна, оказывается, Большая Никитская...

Ряды студентов заметно редели. Теперь уж вправо и влево уходили целые группы, и колонна таяла буквально на глазах. Вот и Тверской бульвар...

Генерал остановился, подчеркнуто вежливо, прищелкнув каблуками, козырнул и направился к стоявшему на углу экипажу. Он был доволен собой...

Когда экипаж тронулся, Петр крикнул вслед:

— Профессора захватите...

— Что вы, я ведь возвращаюсь обратно,— ответил ректор.

Южин и Алексипский свернули на Тверской бульвар.

депт», как назвал его Марат, уже казался не очень значительным эпизодом. Буквально через пару дней выяснилось, что скрывал от Южина помощник градоначальника, — точно бомба разорвалась в воздухе весте о «царской милости» — манифест 17 октября...

А еще через несколько дней Москва хоронила зверски убитого черносотенцем Грача — Николая Эрнестовича Баумана... Южин не успел близко сойтись с этим человеком, но первое впечатление не было обманчиво. Он мог себе представить его где угодно — в бою, на демонстрации, в бурной беседе на Воздвиженке у Горького или на Спиридоньевке у Морозова, он мог его представить себе моряком или солдатом, арестантом или каторжником, но только не мертвым, только не в гробу. Это было противоестественно. Шапцер рассказывал, какая это жизнелюбивая патура, как много в нем нерастратенных, неизрасходованных сил.

Никогда не мог он забыть эти похороны. Да пет же, это не похороны, это могучий взрыв народного гнева, который с огромной магнетической силой привлекал к себе людей. Похоронная процессия казалась полноводной рекой, и каждый переулок, каждая улочка стали притоками к ней. Порой думалось — гнев этот выйдет из берегов, захлестнет Москву, захлестнет Россию. А может быть, так и было?

Вместе с товарищами он нес гроб с телом Баумана и, может быть, в этот момент больше, чем когда-либо, чувствовал себя борцом, революционером. Эхом отдавались в его сердце слова траурного марша:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...

Московский Совет был создан в конце ноября. А прежде районные Советы появились на Пресне, в Хамовниках, Замоскворечье... Михаил ездил на собрания, и всякий раз приходилось ему выступать, разъяснять решения Московского комитета большевиков. Однажды он настоял на том, чтобы было принято решение о работе среди солдатских масс.

Южин великолепно помнил, что говорил Ленин о восстании на «Потемкин». Он помнил, как предвидел Ильич ход событий, к сожалению, опередивших решительные меры, которые он рекомендовал принять.

И сейчас, как никогда, он видел необходимость использования армии в интересах революции...

— Мы обязаны, — говорил Южин, — связаться тесно с войсками и сделать все возможное для того, чтобы согласовать движение среди солдат с революционными действиями пролетариата. Не исключено, что и в Московском округе начнется восстание, и мы должны уметь использовать его, поддержать братьев солдат.

— А эти братья — в нас из ружей, — слышался голос седого рабочего.

— Что ж, и это не исключено, — ответил Южин. — И все-таки мы обязаны сделать все, чтобы солдат понял, что боремся мы за свободу всей России.

Он шел домой, обдумывая очередное задание Шанцера — создать новую большевистскую газету.

— Теперь эта газета должна быть легальной, — говорил Виргилий, — и поэтому еще более острой и популярной. — Шанцер потерял бороду и добавил: — Помогать тебе будут Скворцов-Степанов, Покровский; чаще привлекай Максима Горького. Центральные комитет обещает прислать в помощь Дес-

ницкого. Да и наши Черномордик, Дубровинский к твоим услугам.

Слова «легальная газета» звучали для большевиков тогда непривычно, но и это было завоевано рабочими, после того как в начале ноября профессиональный союз рабочих печатного дела постановил прекратить посылку периодических изданий в цензуру. Московские издатели благосклонно отнеслись к постановлению; они опубликовали его и предупредили, что тому, кто нарушит это решение, будет объявлен бойкот. Так газетная цензура оказалась безработной.

Конечно, правительство приняло свои меры: оно вынуждено было заменить одну дубинку другой. Место цензурного комитета занял уголовный суд, который требовал от издателей предварительной цензуры, если они не хотят подпасть под 129-ю статью Уголовного уложения. Но теперь уже ничто не могло остановить хлынувшую волну легальной рабочей печати.

Южин не любил свою квартиру на Патриарших прудах. Она всегда казалась ему удивительно пустой, и чувствовал он в ней себя очень одиноко. То ли дело в Баку. Там была Мария...

Подходя к дому, Южин по привычке проверил, нет ли «хвоста». Он особенно был осторожен после университетских событий: помощник градоначальника вряд ли откажется от удовольствия разыскать его по приметам и пустить по следу ищейку. Михаил прошел мимо дома, осмотрелся, перешел на противоположную сторону и... замер: в его окне горел свет.

Машинально оглянувшись по сторонам, Михаил снова двинулся подалее от дома, мысленно переби-

рая каждый свой шаг: где, когда ошибся, просмотрел слежку? Нет, ничего такого вспомнить не мог. А что «крамольного» осталось дома? Черновики статей сжег в камине, номера газет — они легальны. Правда, в этих легальных газетах много такого... Но теперь это как будто неподсудно, по крайней мере официально. Нет, ничего особенного пайти там не могли. Что же делать? События надвигаются главные, и совсем не хотелось даже на время снова попадать в Таганку. Уйти? Но куда? Если слежка, только притащишь «хвоста»... А может, подождать, пока уйдут?

Он снова возвратился к своему дому, заглянул в подъезд — никого. А, была не была... И он, поднявшись по лестнице, решительно вставил ключ.

Как это случилось, что он предполагал все, что угодно, только не это? Нет, если б он сейчас ушел, наверное, не простил бы себе никогда.

В комнате сидела... она, положив руки на колени, и улыбалась, склонив голову. Он стоял удивленный, пораженный и смотрел на нее так, будто видел впервые. А она не шелохнулась — словно они никогда не расставались, словно ничего удивительного нет в том, что она сейчас сидит перед ним.

— Мария, — едва слышно сказал он, а ей показалось, что он кричит, что комната огромного размера и ему хочется перекричать расстояние. Она не двигалась, а все так же улыбалась: не ждал? Ну удивляйся же, удивляйся...

Он подбежал к ней и поднял на руки. Камин обдал его горячим жаром. А может быть, вовсе и не камин? Может быть, это тепло припесла в его уютную комнату на Патриаршие пруды она, Мария, его Маруськ?

232 ...Если б эта ночь длилась долгими сутками, она бы все равно не успела рассказать ему, как приеха-

ла в Москву, как побывала у Шанцеров, как Наталья Федоровна передала ей «конспиративный» ключ от квартиры Михаила...

Михаил слушал — и не верилось. Неужели это она, его Мария! Неужели это она рассказывает о себе, о своей борьбе? Как выдержала она этот арест, не слишком ли тяжело пришлось его ясноглазому Маруську?

И к чувству гордости, которое он испытывал, приешивалось другое — сострадание. Сострадание к ней, к этому маленькому, хрупкому существу, которому пришлось так много пережить в этом трудном девятьсот пятом году.

Организация новой газеты увлекла Южина. Один из ее ответственных редакторов, он много времени отдал техническим вопросам: существовавший тогда «явочный порядок» требовал регистрации газеты у градоначальника с изложением ее программы, с представлением сведений обо всех ее участниках. Разумеется, ничего подобного Южин не намерен был делать, и пресловутый «явочный порядок» следовало обойти...

Прежде всего пужно было подыскать официального редактора, именем которого подписывалась бы газета. Южин предложил Александра Павловича Голубкова, человека степенного, с благообразной профессорской внешностью. При всей своей солидности был Александр Павлович достаточно ловким и находчивым человеком да к тому же верным товарищем: вступив в партию в 1902 году, он входил в Техническое бюро ЦК РСДРП и был его активным работником... Московский комитет согласился с мнением Южина, и Голубков был утвержден официальным редактором новой газеты.

Он-то и прибежал однажды в МК с совершенно необычным предложением:

— Давайте называть нашу газету «Книжный рынок «Вперед»».

— Чего, чего? — переспросил Южин, желая убедиться, что он не ослышался.

Присутствовавший при этом Марат разделил недоумение Южина: зачем большевикам этот книжный рынок? Да и какой смысл в сочетании слов «книжный рынок» и «вперед»?

Голубков не торопился объяснять. Он с таинственным видом поглаживал свою бородку клинышком, покашливал, и Южин уже чувствовал, что дядя Саша приготовил какой-то сюрприз.

— А мне нравится, — вдруг удивил всех Михаил. — Одной своей нелепостью это заглавие привлекает внимание к газете. Представляете себе? «Охотный ряд — назад», «Тишинский базар — вправо», «Большой театр — влево», «Книжный рынок — вперед»... Представляете, что будет твориться в Москве? Сенсация...

Марат подошел к Южину, приложил руку к его лбу, сказал выразительно: «Жар!» — и устало опустился на диван.

— Ох и падоели вы мне, остряки! Ну-ка, официальный редактор, выкладывай свою идею.

Голубков, не говоря ни слова, развалился в кресле, запустил руку в боковой карман, вытащил оттуда сложенный вчетверо лист бумаги и положил его на стол.

Марат прочитал вслух. Это было разрешение на выпуск еженедельного критико-библиографического сборника без всякого политического содержания, публикуемого различного рода аннотации, рецензии

и списки выходящих книг... Название этого ежесдельника уже определено: «Книжный рыпок».

— Что это такое? — спросил Марат.

— Считайте, что это разрешение на выпуск нашей газеты.

— А рецензии?

Но тут уже в разговор вмешался Южин.

— Ну, за рецензиями дело не стапет. Весь самодержавный строй прорецензируем.

— Где же ты это достал?

— А,— махнул рукой Голубков.— Пришел в меньшевистский журнал, а там лежит у редактора на столе эта бумаженция. Он, бедняга, не знает, что с ней делать... Словом, мы сейчас поедем с ним к портариусу и перепишем это разрешение на мое имя...

Так возникло столь необычное и довольно интригующее название газеты — «Книжный рынок «Вперед»». Дело было сделано...

Теперь необходимо было разыскать издателя. Никто не решался братья за издание газеты со столь нелепым и потому подозрительным названием.

— Ты подыщи кого-нибудь пожаднее, такого, кто в суть не смотрит...

Голубков отыскал на Тверском бульваре типографию не очень чистоплотной газетки «Вечерняя почта» Холчева. Человек этот действительно был жадеп беспредельно, и, узнав о цене, которую он заломил, даже Николай Шмит, хорошо знавший эту братию, развел руками и зло бросил:

— Ну и жила! Знает, на чем наживаться. Ладно, деньги пайдем. Дядька Савва Тимофеевич не откажет, да и мне сам бог велел.

Комнату для редакции сняли большую, просторную — в доме 22 по Никитской улице. Секретарем редакции стал Александр Павлович...

Однажды Южин, работая над статьей для одного из первых номеров газеты, увидел вошедшего в редакцию вихрастого юношу. Он положил на стол Голубкова какие-то листки и что-то быстро проговорил; затем, обернувшись ко всем, передал привет от рабочих Иваново-Вознесенска и Ярославля, тряхнул своей могучей шевелюрой, суетливо попрощался и вышел.

Южин подошел к столу Голубкова, посмотрел на рукописи. Статья «Памяти Ольги Михайловны Генкиной, убитой черносотенцами в Иваново-Вознесенске 16 ноября» была подписана Лапиным. Другая рукопись — корреспонденция из Ярославля — была подписана просто именем Емельян. Да это же он, его одесский знакомый! Южин пожалел, что не узнал парепька сразу.

— Он сейчас в Москве? — спросил Михаил у Голубкова.

— Приехал на дедек из Ярославля...

Южин продолжал писать статью. Еще вчера договорился он с Шанцером, что посвящена она будет росту сознательности рабочего класса.

«Больше сознательности, товарищи!» — написал он заглавие. А дальше уже все сложилось в уме, каждый абзац, каждая фраза...

Статья эта была написана в один присест, и с особым чувством он подписался: М. Южин.

В эти дни Михаилу Ивановичу стало ясно, что революционный пафос, митинги, речи, воодушевление захлестывают его, а пужно делать гораздо больше. Масштабы событий оказались крупнее, чем можно было предполагать.

Видимо, это ощущал не только Южин. Не знал отдыха и Марат. День и ночь заседал то Московский комитет, то Совет, то Федеральный комитет по руко-

водству восстанием, в который вошли от большевиков он и Южин. Жизнь ставила перед руководителями МК новые и новые вопросы, и на каждый из них пужно было ясно ответить.

Нет, не мог примириться Южин с решением комитета по поводу Ростовского полка. Ведь другой раз такой случай может не представиться...

О событиях в этом полку стало известно накануне заседания Московского комитета РСДРП. Солдаты восстали против командиров и предложили свои услуги Совету. Как уговаривал Михаил Марат воспользоваться волнениями ростовцев, чтобы немедленно пачать восстание! Он помнил, что говорил Ленин по поводу завоевания армии во время событий на «Потемкине».

Но Московский комитет высказался против немедленного выступления. Да, против большинства МК Марат не пошел, и Южин с огромной горечью сказал: «Товарищи, это самая большая опибка, которую мы совершаем сейчас». МК ограничился воззванием по поводу событий в Ростовском полку: «Товарищи! Царскому правительству с каждым днем труднее приходится. Последняя опора его — войско тоже поколебалось и пачинает прямо восставать против него. После Севастополя, Кронштадта, Пятигорска, Риги и Самары заволновались войска и у нас в Москве. В Ростовском полку удалены все офицеры, сняты все правительственные караулы, — казармы и оружие в руках восставшего полка.

В других войсках тоже беспокойно.

Не сегодня-завтра, может быть, настанет решительный день, когда войска... выйдут на улицу. Близок, быть может, день решительного боя. Готовьтесь же, товарищи, к тому, чтобы оказать помощь нашим товарищам солдатам. Готовьтесь к тому, чтобы и все-

общей стачкой, и другими мерами помочь нашим товарищам и дружным натиском свергнуть общего врага. Организуйтесь, готовьтесь к решительному бою!»

Михаил Иванович перечитывал это воззвание, и ему казалось, что в нем как раз проглядывает какая-то перешителность, в то время как настала пора действий. А в начале декабря Южин убедился, что благоприятный момент был действительно упущен...

...В начале декабря... Не могли тогда предположить ни Марат, ни он, Михаил, что столь безжалостной окажется к ним судьба, что они, стоявшие во главе Московского комитета партии в самый сложный период подготовки революционного восстания, не смогут выйти вместе с рабочей Москвой на баррикады, что нелепый, глупый, слепой случай вышибет их из седла, как всадников на скаку.

Только накануне состоялось заседание Московского комитета РСДРП, которому суждено было стать историческим: на нем было принято решение о вооруженном восстании. Делегации рабочих завода Гужопа, фабрик Шмита, Мамоптова, Прохоровской мануфактуры, Брестских железнодорожных мастерских сказали, что их дружины вооружены и готовы к сражению против царизма...

Голосование, на котором настояли рабочие, сомнений не оставило ни у кого.

Наутро по всей Москве были расклеены прокламации — воззвание комитета РСДРП:

«Товарищи! День решительного сражения с правительством наступил. Правительство шибко зазналось. Слишком нагло действует. Поэтому собрание представителей сознательных товарищей социал-демократов всей Москвы, созванное МК РСДРП, решило начать всеобщую политическую стачку для борьбы с правительством...»

Ах, если бы знать, что произойдет той темной, жуткой московской ночью в Косом переулке за Страстным монастырем! Если бы знать... Но разве могли предположить два большевика, два опытных подпольщика, что один из участников совещания, эсер Переверзев, приведет за собой «на хвосте» целую орду жандармов. Сколько раз помогала им ночь, сколько раз была их верной союзницей, а тут...

Им необходимо было провести совещание о выпуске «Известий Совета рабочих депутатов» — Южин должен был редактировать их в дни восстания и выпускать вместо всех ранее выходивших газет. Он принес с собой первый номер «Известий»; надо было договориться о выпуске последующих.

И вдруг — облава, целое подразделение жандармов. Сопротивление оказалось бессмысленным.

И Михаил, и Марат не впервые встречались с жандармерией и полицией и ареста могли ожидать каждый день, каждую минуту. Однако сейчас, в самый канун восстания, — что может быть несправедливее!

Но и жандармы просчитались: они и знать не знали и ведать не ведали, что этой ночью им в руки попали руководители готовящегося восстания. Только поэтому Марат, Южин и все их товарищи избежали неминуемой смерти. Да и рабочие Москвы не знали о случившемся. Машина декабрьского восстания была запущена, и ничто не могло ее остановить. Уже строились колонны демонстрантов, уже проверялось, надежно ли оружие, написаны ли лозунги, готовы ли красные революционные флаги. Первый штурм царского самодержавия, подготовленный московскими большевиками во главе с Виргилием Шапцером-Маратом и Михаилом Васильевым-Южиным, начался.

В Астрахани

«Совершенно секретно

Выписка из агентурных сведений по г. Астрахани по Российской социал-демократической рабочей партии...

Розыском заведует полковник Бураго...

Астраханская социал-демократическая организация деятельность свою прекратила...»

Полковник Бураго под этими словами поставил свою размашистую подпись. А несколькими днями позже, сидя в своем кабинете, он читал документ, который не мог его оставить спокойным.

«МВД. Департамент полиции по особому отделу. 19 августа 1910 г. № 114299.

Секретно
Циркулярно

Препровождая при сем... копию извещения Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии под заглавием «О созыве общепартийной конференции», заключающего в себе указания способов производства выборов делегатов на означенную конференцию, департамент полиции вновь просит Вас, в случае устройства в местности,

вверенной Вашему наблюдению, конференции членов социал-демократической организации или собрания для выставки делегатов на Общероссийскую конференцию, арестовать участников таковых и о результатах доносить департаменту.

Подписал: исполняющий обязанности вице-директора С. Виссарионов.

Скрепил: заведующий особым отделом, полковник Еремин».

Нет, полковника Бураго сыскной опыт не подвел. Просто в своем донесении он несколько погрешил против истины. Интуитивно чувствуя, что в городе что-то происходит, полковник понимал, что существует если не организация, то по крайней мере отдельные, пока еще разрозненные революционные группы.

Начал беспокоить Бураго и Красный Яр — небольшой городок, расположенный примерно в сорока верстах от Астрахани. Полковник внимательно читал сообщения оттуда от своих агентов, и пух старого, много повидавшего на своем веку полицейского подсказывал ему: не только в Астрахани, но и там, в Ярах — Черном и Красном, — следует искать... Но кого? Одного из ссыльнопоселенцев? Или местного жителя? Или, может быть, уже целую группу?

В руках у полковника зазвенел колокольчик.

— Шестнадцатого ко мне, — потребовал Бураго.

«Шестнадцатый» оказался рослым человеком с белесыми, словно выцветшими волосами. Он угодливо смотрел на полковника, часто моргая бесцветными ресницами.

Бураго бросил на стол несколько экземпляров газеты «Астраханский листок».

— Вы читаете иногда эту газетку?

— Конечно... Иногда...

— То-то, «иногда», — передразнил его полковник. — Возьмите эти газеты и прочитайте все сообщения из Красного Яра. Завтра отправитесь туда... Вам когда-нибудь приходилось ловить рыбу? Разумеется, не в мутной водичке.

«Шестнадцатый» улыбнулся.

— О, вы еще не утратили чувства юмора... Приятно... Это кстати... Вам следует выяснить, кто это подписывает свои заметки буквой Н. Я мог бы, конечно, узнать это в редакции, но... Словом, пока не стоит. Вы меня поняли?

— Так точно. Как не понять!

— И что же вы поняли?

— Узнать, войти в контакт... Насчет связей...

Бураго прервал агента. Ему неприятно было видеть его угодливую улыбку.

Как только не аттестовали Астрахань: красавицей и захолустьем, освежающей и зачумленной. Стоит город в самых низовьях Волги. Впрочем, и Волга здесь уже не Волга. Словно сопротивляясь Каспию, она разлилась на многие рукава, на речки и речонки, чтобы как можно дольше задержаться на этой опаленной солнцем земле. И появились Ахтуба, Бузан, Болда, омыв волжской водой астраханские степи, напоили знаменитые арбузы, мелколистный вяз и белую акацию, душистый тополь и теплолюбивую шелковицу...

Город как бы вобрал в себя по маленькой толике от каждой эпохи, и по его строениям можно изучать трагическую историю Руси. Астраханский кремль строился из кирпича, взятого на развалинах Сарая-Бату — столицы Золотой Орды. Все повидал на своем веку астраханский кремль — и гнев восставших кре-

стьян, предводимых Иваном Болотниковым, и последний шабаш изменника атамана Заруцкого, бежавшего сюда вместе с Мариной Мнишек. Служил пристанищем вольнице Степана Разина во время осады царскими войсками...

И еще был этот город местом ссылки на Русь... Всем, кого отправляли сюда на поселение, предлагали «проветриться»: сухие, колючие ветры продували этот край пaskвозь.

Предложили «проветриться» в Астрахани и Михаилу Ивановичу Васильеву-Южипу.

Но в самой Астрахани, однако, Васильеву остаться не разрешили: его сиределили на поселение в Красный Яр.

Честно говоря, Михаилу в эти дни было безразлично, Астрахань ли, Красный Яр... Ему необходимо было лечь, положить голову на подушку, избавиться хоть на время от тюремных решеток.

Мария встретила весть о Красном Яре даже с каким-то удовлетворением: Михаил нуждался в тишине и покое.

Поселились Васильевы на тихой улице, рядом с домом местного кунца Банникова, и от той тишины, которая воцарилась в их жилище, повеяло не столько ссылкой, сколько больницей...

— Ну, Маруськ, — сказал Михаил Иванович, — если я здесь и излечусь от своего кашля, то наверняка лишусь рассудка. Эта тишина, эта обывательская тишина... Хоть бы ты пошумела, Маншеница, спей, что ли...

Но Марии петь не хотелось. Она понимала, что мечта о покое несбыточна: ее муж попросту не рожден для покоя.

— Мы с тобой на книжки нажмем, — говорила она.

— Разумеется. Ты будешь читать мне вслух стихи, я буду восторженно слушать и восхищаться Жуковским...

— Почему именно Жуковским?

— Ну, может, Фетом... От него покоем веет... Идиллия...

«Идиллию» нарушил пристав. Он вошел, не постучавшись, и вместо извинения представился:

— Пристав Ветвицкий.

У Ветвицкого были потухшие глаза, чуть согорбленная спина, немолодое лицо. Все в нем выдавало человека много повидавшего. Он холодным, равнодушным взглядом оглядел неказистое жилище ссыльного, посмотрел внимательно на Марию и тихо спросил:

— Супруга, стало быть?..

— Жена...

— В законном браке?

— В законном...

— Дети имеются?

— Пока нет...

— Это хорошо, — задумчиво, даже как будто с завистью произнес пристав, словно именно с детьми у него было связано немало жизненных неприятностей.

Пристав оказался разговорчивым человеком; он рассказал о том, что много лет прослужил в армии, дослужился до чина полковника, а затем вынужден был уйти в отставку.

— Что так? — спросил Михаил Иванович. Но Ветвицкий не ответил, а только вздохнул. Видно, должность пристава была для него не слишком радостной.

— Да вам-то чего печалиться? — сказал Васильев. — Место здесь тихое, народ спокойный. Ловит себе рыбу в Бузане, продает потихоньку...

Пристав опять не ответил. Он пригубил чай, кото-

рый принесла ему Мария, откусил кусочек сахару и словно невзначай сказал:

— Третьего дня двух ловцов убил полицейский Орехов.

— За что?

— Да вроде какие-то правила нарушили. Так что уж поймите в виду...

Ветвицкий выпил чай, встал, не поблагодарив, и, уходя, спросил:

— Вы про самовары порядок знаете?

— Что вы имеете в виду? — спросила Мария.

— Самовары в Красном Яру на открытом воздухе ставить воспрещается, а должны таковые разводить в летних кухнях или в жилых строениях с особой осторожностью.

— Почему? — полюбопытствовал Михаил Иванович. — Разве по этому поводу какие-либо распоряжения имеются?

— Вот именно, имеются. И именуются они так: «Обязательное постановление о мерах предосторожности против пожаров».

— Что же, — сказал Михаил Иванович, — будем соблюдать постановление. Не разводить так не разводить. Спасибо за предупреждение.

— Если что нужно, обращайтесь ко мне.

Во всем и всегда оставалась Мария верным другом своего мужа. Узнав о том, что ему назначена ссылка, решила ехать с ним в Нарымский край... А когда по ходатайству врачей вместо ссылки ему было разрешено выехать за границу, Мария, сговорившись с Михаилом, уехала к брату в Сухум. Словно предвидела она, как удачен будет этот ее шаг: находившийся возле Сухума домик Добрыпина, брата

Марии, через некоторое время послужил Михаилу надежным пристанищем.

Васильев словно играл с полицией в прятки. В эмиграции он пробыл недолго, тайно возвратился в Россию, на Кавказ.

В Тифлисе он снова включился в работу. В частых спорах с меньшевиками выяснилось одно тревожное обстоятельство: он, революционер, плохо знал историю государства и права, был малосведущ в юриспруденции... Сколько раз он вспоминал свои встречи с Ильичем и всегда восхищался его знаниями юриста! Приходили на память и рассказы Марата о Юрьевском университете, о делах, которые он вел, будучи присяжным поверенным. Нет, ему, профессиональному революционеру Васильеву-Южину, явно не хватало юридических знаний.

Как-то в кругу своих тифлиских товарищей Южин сказал мечтательно:

— Эх, если б у меня был паспорт и если бы мне достали хотя бы липовое свидетельство о благонадежности, пари держу — за год подготовлюсь и окончу экстерном юридический факультет.

Он не считал свои способности исключительными и все-таки чувствовал в себе такую силу памяти, которая позволяла фотографически запоминать целые страницы из книг.

Сначала он пожалел о сказанном. Товарищи тут же поймали его на слове. Азартный присяжный поверенный Захаров тут же выложил тридцать рублей и сказал, что за эти деньги в тифлиской полиции он получит для Васильева любые документы.

Михаил Иванович понял, что шутка по поводу сдачи экстерном за университет теперь уже вовсе не шутка. И вдруг усомнился: хватит ли у него сил и здоровья, чтобы одолеть за короткий срок курс такой

серьезной науки, чтобы вспомнить все, что знал, изучить то, с чем знаком лишь понаслышке...

Павел Андреевич Добрынин, старший брат Марии, был высок, силен, носил окладистую рыжую бороду. Он уже давно обосновался с женой и тремя детьми под Сухумом. Там стояло всего несколько домов, хозяева которых под руководством Павла Андреевича были объединены в некий садовый кооператив. С утра и до вечера взрослые работали в садах. Это все были люди приезжие, и, как потом выяснил Южин, собрал их не столько садовый кооператив, сколько народническое прошлое и влияние идей Чернышевского. На вопрос «что делать?» они ответили довольно своеобразно. Так под Сухумом возникло местечко с экзотическим названием Язон, первооткрывателем которого стал Павел Андреевич. Он поставил своими руками на берегу моря первый дом, возделал сад, и потянулись к нему сюда друзья-приятели по ссылке. В Язоне часто скрывался нелегальный и полуправильный парод. И хотя Павел Андреевич не имел к большевикам никакого отношения, он с радостью приютил у себя Южина.

Когда полиция выследила Михаила Ивановича в Тифлисе, он был арестован и по этапу доставлен в сухумскую тюрьму к месту ссылки. Павел Андреевич приложил все силы и добился того, чтобы Васильеву, как человеку, страдающему чахоткой, определили место ссылки у него в Язоне.

Он взял на себя полную ответственность за то, что Васильев будет неотлучно находиться там. Правда, пристав из Сухума пет-пет да устраивал назды; однако ссылочного Васильева он всегда заставлял на месте. В худшем случае пристав ждал на берегу,

когда он придет с моря на лодке. Но постепенно сухумское начальство уверилось, что Васильев никуда не собирается бежать из этого райского уголка, и «контрольные» паезды почти совсем прекратились.

Удивительной и непривычной для себя жизнью зажили на берегу Черного моря Михаил и Мария. У этих людей, не знавших, что такое отдых, пожалуй, ни до этого, ни во все последующие годы не было ощущения такого равновесия, спокойной уверенности и даже идиллии, если не считать коротких дней пребывания в Женеве.

Обычно с раннего утра после завтрака Михаил, собрав книги, тетради, удочки, уходил в море на лодке в полном одиночестве. За ним никто не смел увязываться: все знали, что он не столько рыбачит, сколько готовится к сдаче экзаменов экстерном за юридический факультет.

По вечерам, когда все домашние собирались после дневных трудов и запытий, разгорались споры на политические и литературные темы. И уж тут Михаил давал волю своему темпераменту и полемическому задору. Спорщики входили в такой раж, что часто казалось — дело дойдет до драки. Как ему хотелось вырвать Добрынина и его друзей из закоспелых идеалистических представлений о революции! Имена Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Бакунина, Руссо, Гегеля, Дарвина то и дело возникали в этих жарких спорах, и дети, ничего не понимая, были все же на стороне дяди Миши.

Изредка Михаил Иванович не уходил в море, оставался дома. У детей наступал настоящий праздник. Нарядившись в огромную соломенную шляпу, украшенную петушиными перьями, зелеными листьями и ветками, закутавшись в пеструю, яркую шаль, Михаил Иванович, подняв над головой кухонный нож,

шел к Добрыниным «освобождать детей из-под гнета родительской власти». Дети получали свободу на целый день от всех своих обязанностей (а в этом доме обязанности имели все), и двор моментально наполнился невообразимым шумом, гамом, криками радости.

Сбегались соседские ребята, и вся ватага двигалась к лесу под пение «Интернационала».

Михаил Иванович учил свою ватагу мастерить и запускать змея, гнуть луки, строгать стрелы, делать свистки. В стрельбе из лука должно было принимать участие не только детское, но и все взрослое население Язона. Павел Андреевич избирался «верховным судьей», получал в свое распоряжение самый звонкий свисток, и начиналась прицельная стрельба по раскрашенным резиновым мячикам. Красный мячик укреплялся посредине. Михаил Иванович был очень метким стрелком, и ему несколько раз удавалось выбить красный мяч.

Сажа, уголь и зелень сочных южных растений, а порой и сок ягод до неузнаваемости изменяли ребячьи лица. И тогда перед взрослыми представляли герои Фенимора Купера. На берегу моря затевались целые сражения, произносились речи над поверженными врагами, вызволялись из неволи «слабые и беззащитные», оказывалась щедрая помощь «бедным и униженным».

Когда справедливость окончательно торжествовала и требовалось охладить страсти, вся компания бросалась в море. По плаванию первое место неизменно брала Мария Андреевна. Она очень далеко уплывала в море, и тогда Михаил Иванович умоляющим голосом звал ее вернуться. Здесь, в море, ребята потешались над дядей Мишей как могли: плывал он хуже всех. Его можно было называть «топором» и

даже «мокрой курицей». По законам их содружества он не имел права обижаться и не обижался.

Однажды в окнах после хмурых дней вдруг засверкало яркое утро.

— Эй вы, сонные тетери, лежебокы, почему спите до сих пор? Скорей во двор, за работу! Смотрите, снегу напало выше головы. Если вы сейчас же не встанете, он растает.

Этот призыв Михаила Ивановича моментально поднял ребят с кровати. С радостным смехом они катили во дворе снежные шары, и Михаил Иванович слепил из них снежную фигуру. Она ослепительно выделялась на фоне зеленого самшита и туй.

— Кто же это? — наперебой спрашивали ребята, тем более что таинственная «она» вовсе не походила на обычную снежную бабу. Она была худенькая, с тонкой шеей и маленькой головкой.

— Отгадайте, — говорил дядя Миша. — А пока тащите шляпу, шарф, мочало для кос, ленты, зерна кукурузы для бус, угли.

Скоро у снежной фигурки все уже было «на месте», кроме носа.

— Ну, кто же это, по-вашему? — допытывался Михаил Иванович и заразительно смеялся. Вдруг, приделав красавице ужасный красный нос, он объявил:

— Это же Оля!

Оля, старшая дочка Добрыниных, возмущенная, оскорбленная, пыталась дотянуться до носа и оторвать его, но, увы, он был высоко — не по ее росту.

Ребята взялись за руки и водили хоровод вокруг снежной «Оли»; настоящая Оля убежала.

Лишь поздно вечером дядя Миша поймал Олю и, посадив на колени, сказал:

— Хочешь, спою твою любимую «Марсельезу» на французском?

Оля, опустив голову, еле слышно шепнула: «Хочу!» — и примирение состоялось.

— Спасибо! — радостно и благодарно сказала девочка, когда «Марсельеза» была спета.

— Я хочу сказать тебе: никогда не обижайся на шутку, — серьезно, как взрослой, посоветовал Михаил Иванович. — Шутку надо принимать со смехом. Ну разве у тебя большой, некрасивый нос? У тебя маленький, хорошенький, как пуговка, носик. Это же все знают.

Поздно вечером, сидя на берегу рядом с женой, Михаил Иванович говорил:

— Ах, Маруськ, родной мой! Если бы ты знала, как я хочу, как я мечтаю иметь ребенка! Такую девочочку...

— Ты никогда об этом не говорил.

— Да, да, раньше мне некогда даже было об этом подумать. А вот теперь... полезли в голову всякие несбыточные мечты.

— А почему несбыточные? — улыбаясь, сказала Мария. — Мы же еще так молоды...

Чтобы подготовиться к сдаче экзаменов, Михаилу Ивановичу потребовалось полгода... И очень часто, когда он сидел за книгами и конспектами, перед ним вставал пример Владимира Ильича: Надежда Константиновна рассказывала ему, как Ленин ездил из Самары сдавать экстерном за Петербургский университет...

Сдавать экзамены Южин решил в Юрьевском университете; не ехать же в Петербург или Москву, где его каждая полицейская ищейка знала. Захаров свое

обещание сдержал: документы были выправлены по всей форме, даже свидетельство о благонадежности выдали на имя Михаила Ивановича Васильева, благо имя, отчество и фамилия оказались очень распространенными...

Исчезнуть из Язона незамеченным (на экзамены требовалось, по самым скромным подсчетам, не меньше месяца) при создавшихся условиях, когда пристав целиком и полностью стал доверять «своему» ссыльному, не составляло уж такого труда. Тем более, что обычно после очередного посещения пристав являлся только через месяц-полтора. Но на всякий случай в Юрьеве программу сдачи экзаменов Южин уплотнил до трех недель. Ему вовсе не хотелось подводить своего покладистого и доброго поручителя Павла Андреевича.

За эти три недели Михаил Иванович сдал семнадцать экзаменов, из них пять государственных.

Последним он сдавал богословие профессору, который чем-то папомпил ему Павла Андреевича: такой же богатырский рост и размах плеч, такая же борода и такой же все понимающий и во все проникающий взгляд.

Михаил Иванович к этому дню уже был вымотан до предела. Болезненный румянец, худоба, характерный для чахоточных блеск в глазах не оставляли никаких сомнений в том, что человек находится на грани своих физических возможностей. Профессор богословия смотрел на измученного великовозрастного студента с явным сочувствием.

На вопросы Васильев отвечал свободно, чувствовалось, что материалом он владел обширным, но, когда речь зашла о том, как Иисус накормил пятью хлебами тысячи людей, еле уловимая улыбка промелькнула на его губах.

Эта ирония не укрылась от профессора. Да Васильев, кажется, и не пытался ее скрыть.

— Вы атеист? — спросил профессор.

— Да.

— Что же, похвально, похвально... — после некоторой паузы произнес профессор, поглаживая свою ухоженную рыжую бороду. Было непонятно, к чему относится это «похвально»: к тому ли, что экзаменуемый — атеист и признается в этом, или к тому, что так хорошо отвечал.

— Пять, — сказал профессор, — я ставлю вам пять и все же советую... Впрочем, кажется, вы не нуждаетесь в моих наставлениях? Что с вами?

— Воды... если можно, воды... — проговорил Южип.

— Да, да, вы очень побледили. Я сейчас, сию минутку.

Так закончился для Южина этот странный последний экзамен на звание кандидата прав.

Мария, которая поддерживала его во всем, на этот раз сказала:

— Не мальчишество ли это? Сколько нужно человеку университетских дипломов? Ведь один есть... Ну позапимался, изучил юриспруденцию... Но экзаменоваться, да еще рисковать свободой...

Она хотела сказать то, что всегда было у нее на уме, да так ни разу и не произнеслось: «Себя пожалел бы...» И сейчас не смогла. Он стоит перед ней, измученный, утомленный.

— Ну, со щитом или па щите?

— С дипломом, Маруськ, с дипломом. Впрочем, это не главное. Мне бы сейчас пообедать и поспать... А может, и наоборот... Поспать, а потом пообедать...

Он шутил, но в его шутках Мария уловила какую-то непонятную грусть...

— Что? Не слишком успешно? — попыталась она.

Он посмотрел на жепу и ласково обнял ее.

— Все в порядке... Вот только липовыми документами юристу, будущему присяжному поверенному, пользоваться не слишком приятно. Впрочем, может быть, это первый профессиональный шаг...

И он невесело улыбнулся.

Трудно сказать, помогла Михаилу его новая профессия или, напротив, подвела. Он уехал в Тифлис, поступил помощником к известному тифлисскому присяжному поверенному Джапаридзе и сразу же приобрел довольно широкую известность. А именно она и привела его в жандармерию...

— Мы вас, милостивый государь, днем с фопарем ищем, — сказал, хитро улыбаясь, жандармский ротмистр. — Как же-с, такой знаток естественных наук, как вы...

— Ошибаетесь, господин ротмистр, я окончил юридический факультет...

Михаил послал при себе диплом: он рассчитывал на магическую силу слова «юрист» куда больше, чем на официальность обыкновенного паспорта.

Но жандармский ротмистр не проявил к диплому никакого интереса.

— Вай-вай-вай, — помотал он головой, — нехорошо, господин юрист, обманывать честных людей. Вы нас уже провели в Петербурге, Москве, Сухуме... Теперь пожалуйста в тифлисский замок... Конечно, там хуже, чем в университетской аудитории, но что поделаешь, не всегда удается обвести жандармерию...

Такой отвратительной тюрьмы Южип не встречал еще ни разу. Да к тому же сосед по камере оказался удивительно беспокойный: он метался из угла в угол, не замечая Васильева, и разговаривал сам с собой.

В первую минуту появления Васильева он близоруко посмотрел на него.

— Располагайтесь, — величественным жестом пригласил он, точно был хозяином роскошного княжеского дворца. — Я Жордания, Ной Жордания.

Васильева сначала забавлял этот бегающий оратор, но потом, прислушавшись к его речам, он понял, что они вовсе не смешны...

— Черт возьми, я думал, хоть здесь, в камере, отдохну от трусливого бреда меньшевиков. Милостивый государь, — сказал Южин, — если вам и впредь охота произносить свои тоскливые речи, отходите, ради бога, поближе к параше — эта дама все выдержит... А меня прошу уволить...

Жордания побагровел, пасунился и двинулся па Васильева. Михаил, не ожидавший такой прыти от лидера грузинских меньшевиков, показал ему кулак. Это окончательно взбесило Ноя. Он схватил стоявшую в углу табуретку, но сделал это так неловко, что, качнувшись у него в руках, она довольно сильно стукнула его по затылку. Жордания беспомощно опустил табурет и уселся на него. А Васильев, едва сдерживая смех, выразительно произнес:

— Не надо было браться за оружие...

Скучать в камере Васильеву не приходилось... Правда, Жордания мешал заниматься, но зато споры с ним были горячи. И всякий раз, когда у Ноя недоставало аргументов, он угрожающе хватался за табурет.

— Это — безобразие, — возмущался Жордания. — Я все-таки изломаю этот тюремный табурет о вашу большевистскую башку.

— Ай-ай-ай, — подливал масла в огонь Васильев. — Такой интеллигентный человек, а бранитесь, как базарная баба. И главное — угрозы, угрозы... Если

уж выяснять отношения, то лучше на кулаках. Впрочем, до кулаков меньшевики не доходят. Они больше языком...

— Это вы, вы, большевики, грубияны. И главный — ваш Ленин.

— Ленина не трогать! — серьезно предупредил Южин.

— А я буду, буду, буду, — по-детски пищал Ной, и Михаилу Ивановичу казалось, что он вот-вот высунет язык.

Южин не успел размахнуться, как Ной Жордания оказался на полу возле самой тюремной двери. Крик его привлек внимание стражи. Тотчас загремели заставы, и в камеру вошел надзиратель. Жордания уже успел вскочить на ноги и величественно, насколько это было возможно в его положении, отошел к противоположной стене.

Надзиратель, видный, широкоплечий кавказец, элегантно помахивал тонкой самшитовой палочкой.

— Дыремся? — тихо, не глядя на арестантов, спросил он.

— Что вы, — пропищал Ной. — За кого вы нас принимаете!

И тотчас самшитовая палочка больно хлестнула его по плечу — упали на пол очки. На какое-то мгновение у Южина перехватило дыхание.

— Не смей бить арестованных! — закричал он, схватив в руки злополучный табурет.

Надзиратель опешил. Он посмотрел на одного, на другого и бросил:

— Оба — в карцер...

ный, но застенчивый. Не забудь предложить ему чаю, хлеба и масла. От всего этого он, вероятно, откажется и будет тебя уверять, что «сыт по горло». Ты, однако, ему не верь, а разложи лучше свои съестные припасы: если он станет облизывать свои сухие и сипие губы, причмокивать, сопеть, а глаза у него разгорятся адовым пламенем, наливай ему смело чаю, придвигай бутерброды, только не гляди на него, притворись, что ты занята чем-нибудь, например чтением моего письма.

Теперь о себе.

Скажу кратко: пришлось многое увидеть. В тюрьме под следствием пробыл я восемь месяцев. Сидел в одиночной камере. Ничего веселого. Нужных книг достать не удалось, читал старые журналы, графа Солиаса и Лажечникова. Некоторое разнообразие вносила война с начальством. На второй день заключения от меня потребовали, чтобы я вставал при проверке «во фронт» и гаркал дежурному помощнику «здравия желаю, ваше благородие». От таких приветствий я наотрез отказался. «Благородие» с рыжими усищами потащило меня в карцер, где мне очень не понравилось: было там темно, спал на голом полу, а питался, подобно анахорету, водой и черствым хлебом.

Происходили и другие стычки, более мелкие, но о них рассказывать не стоит. Позор палачам!

Начальство до того облаглело, что вызывает к себе всех политических по очереди, предлагает стать осведомителями, т. е., попросту говоря, провокаторами. Вызвали и меня. Принял меня ротмистр, скуластый, со сдавленными висками, с тяжелым, обточенным, будто булыжник на мостовой, подбородком. Сперва он пожалел меня и моих родителей, выражал сожаления, потом объяснил, что я могу загладить свою вину перед начальством, получить освобождение, если сде-

лаю «души доверчивой признания» и буду «помогать».

— Подумайте серьезно над моим предложением,— заключил готовый к услугам жандарм.

— Тут и думать нечего,— ответил я нимало не смутившись.— Я согласен.

Ротмистр обрадовался, встал, даже похлопал меня по плечу.

— Вы мне,— сказал он,— с первого взгляда поправились. У вас,— говорит,— есть в лице эдакое... открытое... такое... простое.

Тут я его несколько охладил.

— Не знаю,— прервал я его излияния,— подойдут ли только мои условия. Меньше тысячи рублей в месяц за такую работу не возьму.

Голубой красавец даже опешил.

— То есть как это тысячу? У нас таких окладов даже министры не получают! Вы надо мной, милостивый государь, издеваетесь.

— Нисколько,— отвечивал я ему хладпокропно,— моя работа ничуть не хуже министерской. Очень тонкая работа.

— Воп! — заорал ротмистр.— Я вас в тюрьме сгною, я вас...

— Как хотите, слово мое твердо. Подумайте над моим предложением.

После такого разговора меня действительно стали гноить в тюрьме, многих товарищей отправили кого куда, а меня все держат и держат. Несколько раз я напоминал о себе, писал заявления — ни ответа ни привета. Тогда я решил о себе напомнить, сговорился с новоприбывшими — среди них некоторые застряли,— и устроили мы в одно раннее утро такой дебош, что вчуже самим стало страшно. Был огромный грохот, били в стены, в дверь досками от пар, чайни-

ками, кружками, швабрами, табуретами, был свист, вопли, львиное рычание, стелание, песнопения и коц-церы, от которых чадил и тухли горевшие еще с ночи лампы. Тюремное начальство вызвало пожарную команду. Вламывались в камеру с кишкой, поливали, точно мы горели. Позор палачам! В отместку и чтобы неповадно было тюремным сатрапам я предложил устроить голый бунт, выражаясь иными словами, раздеться и пребывать в чем маменька родила. Предложение получило всеобщее одобрение, и мы на другой день отважно вышли в коридор в полнейшем неглиже, блистая кожей и своими естественными доспехами. Надзиратели и солдаты впали в умопомрачительное состояние, спешно вызвали начальника тюрьмы. Заглавный цербер долго от изумления ничего не мог сказать, любуясь нашим вполне райским видом, получив же дар слова, приказал одеться. На это от имени всех голых бунтарей я ответил, что не препояшем чресл своих, дондеже не отправят нас по назначению. Мы стойко держались. Вызывали в контору, мы выходили голыми, нас возвращали обратно. Мы жили жизнью Робинзона, когда он не научился еще на острове делать себе из листьев одежду. Тюрьма смеялась, хохотала, фривольничала, порядок то и дело нарушался, надзиратели и солдаты прикрывали ладошками себе рты, дабы скрыть смех. Ералаш возрастал. На второй день голого бунта, вечером, наш эдем посетил тюремный инспектор. Мы окружили его кольцом и при тусклом освещении были похожи на мрачных команчей, пленивших бледнолицего путешественника.

— Я понимаю,— увещевал он нас,— вы можете быть недовольными, но... при чем же тут это... это... как сказать... голое безрассудство?..

— А при том,— ответил я инспектору,— а при 259

том, что нам легче помереть от воспаления легких, от тифа, от чахотки, чем терпеть дальше разные над нами издевательства. Требуем отправить нас по местам ссылки.

В скором времени нас разослали. Меня назпачили в Астрахань».

Решение о высылке Михаила Ивановича Васильева в Астраханскую губернию было осуществлено не сразу.

В Астрахань добирался он через тюрьмы Баку и Ростова, Тамбова и Козлова, Саратова и Царицына...

С некоторых пор в газете «Астраханский листок» начали появляться заметки из Красного Яра. Мимо зоркого глаза корреспондента не проходила ни одна городская беда — ни тоскливо-провинциальная скука, ни дикие законы.

Под всеми этими корреспонденциями стояла более чем лаконичная подпись: N. Иногда эта подпись писалась полно и тогда выглядела как «Энъ».

Мария Андреевна только посмеивалась про себя. Что это — новое увлечение или возвращение к старому? А может быть, своеобразное самолечение от тяжелого, удушающего недуга — туберкулеза? В последнее время страдания мужа стали особенно тяжелыми; пусть занимается чем угодно, лишь бы подальше от мрачных мыслей, от всего, чем невольно приходилось жить в годы реакции.

Зима в этом году выдалась изнуряющей. Она облепила деревянные избы Красного Яра мокрым, липким снегом, била в окна назойливыми, завывающими

ветрами, мучила своей неустойчивостью — то холодами, то оттепелями.

Михаил Иванович задыхался. Он просыпался в поту, пил всякие снадобья, заливал свою чахотку каким-то отвратительным жиром. Мария доставала ему газеты, он читал их и между строк угадывал, что где-то рядом, в Черном Яре или Астрахани, бьется слабенький пульс живого, неубитого дела — его дела, его жизни... Особенно увлеченно читал он «Астрахацкую газету», в которой иногда появлялись заметки о жизни рабочих, о забастовке бондарей.

Друзей в Красном Яре у Васильевых не было, за исключением худого, с задумчивыми глазами юноши лет шестнадцати-семнадцати. Привел юношу местный приказчик и сказал:

— Известный всей округе первой гильдии купец Банников желает, чтобы вы обучали его сына коммерции.

— Передайте первой гильдии купцу Банникову, — в тон ему ответил Васильев, — что я коммерции не обучаю. Я юрист.

— Ну что ж, юрист, — значит, законник. А купцам законы знать надо, иначе какая же коммерция?

Звали парня Ванюшей, и был он удивительно застенчивым и молчаливым. Ваня заходил к присяжному поверенному, как называли Васильева соседи, почти ежедневно и, прежде чем начинался урок, усаживался поближе к печурке и молчал, думая о чем-то своем. Мария пыталась его угостить чем-нибудь, но Ванюша паотрез отказывался. Он не хотел, казалось, терять и минуты из часов, которые отводились на занятия. Такого всепоглощающего внимания, такой жадности к знаниям Васильев еще не встречал ни у кого из своих учеников. Он заметил, что занятия с Ванюшей стали доставлять ему истинное удоволь-

ствии. Ваня много читал, и Михаил Иванович стремился развить у него самостоятельное мышление.

Михаил Иванович и Мария часто беседовали об этом парне. Мария рассказывала о купеческой семье Банниковых, о суровом укладе жизни в их доме.

Дети преуспевающего купца, каждый по-своему, пытались сопротивляться воле отца: кто рос грубым и жестоким, кто — хитрым и неискренним. Ванюша, самый младший в семье, натура мягкая и незащищенная, любил отца и оттого вдвойне переживал и его несправедливость, и его одиночество в семье. Ване казалось, что относиться дети к отцу иначе — и он смягчился бы.

Чувство собственного достоинства было едва ли не главным в этом совсем еще хрупком существе. Однажды, это было уже при Васильевых, пьяный отец попытался ударить его. Ваня залез на чердак сарая и три дня отказывался от воды и пищи. Васильевы, обеспокоенные долгим отсутствием Ванюши, зашли узнать, в чем причина. Хмурый Банников только махнул рукой, показав на сарай. Михаил Иванович забрался по лестнице на чердак сарая. Ванюша, свернувшись калачиком, спал на какой-то подстилке, но сразу же проснулся, услышав шаги.

— Что с тобой? — спросил Васильев.

После некоторого колебания Ванюша все рассказал.

— Ну, знаешь, я от тебя этого не ожидал. Сейчас же пойдем к нам и там во всем разберемся.

Ваня не сопротивлялся.

Впервые он не отказался от угощения Марии Андреевны и как будто бы даже повеселел.

— А я думал, что умру, только не знал, как мне умереть, — сказал он простодушно. — От голода умирать очень мучительно.

Михаил Иванович собрался было поговорить с мальчиком по душам, но тут пожаловал сам Банников-отец. Он поздоровался и, терзая в руках фуражку, сказал сыну:

— Иван, пойдем домой. Что людям-то надождать.

— Ну зачем вы так, — перебила его Мария Андреевна. — Мы всегда рады Ванюше.

— За доброе слово спасибо вам, но у него свой дом есть. Пойдем, сын, чай мы не чужие. Разберемся сами. Я тебя обидел, я тебя и пожалею... Хорошо, хорошо. Пускай по-твоему будет. Жалости не хочешь? Так я тебя понимаю. Так это не я тебя обидел, а водка проклятая. Что ты хочешь услышать от меня? Скажи — я исполню.

Ваня вдруг чего-то испугался.

— Нет, нет, — заторопился он. — Ничего не надо. Пойдем домой. — Он был бледен, у него дрожали губы.

Когда Банниковы ушли, Мария Андреевна сказала, думая о Ванюше:

— Какая тонкая и какая рапимая натура!

— Да, трудновато ему придется в этой жизни.

Назавтра, будто ничего не случилось, Ванюша пришел к Васильевым и рассказал о том, что в Красный Яр приехал какой-то студент из армян и что зовут этого студента Ашот. Он очень интересовался учителем Васильевым.

Васильевы переглянулись, и Мария поняла мужа. Выяснив, где остановился Ашот, она сразу же отправилась к нему.

— А разве вы не присяжный поверенный? — спросил Иван.

— Да. Но я еще и учитель.

Как же вымахал этот недавний гимназист! Слово подсолнух на солнце. По-прежнему отливала пер-

ламутровым блеском его черная шевелюра, по-прежнему светились любопытные, влюбленные в жизнь глаза.

После гимназии Ашот поступил в университет, и именно на юридический факультет. Михаил Иванович рассказал, как необычно получил он юридическое образование, как стал присяжным поверенным, и Ашот не без нотки зависти заметил:

— Легко вам науки даются...

— Легко? Я их, друг мой, всю жизнь штудирую... А экзамен выдержать, согласись, дело формальное...

Много новостей узнал от Ашота Васильев. Мария видела, как загорелись глаза мужа, с какой жадностью поглощал он все, что рассказывал Ашот. Нет, не свернул юноша с пути революционной борьбы, ссылка в здепные места тому свидетельство. В университете он близко сошелся с большевиками, принял участие в конференции по созыву очередного съезда и был арестован вместе с другими делегатами.

Баку Ашот не навещал уже три года, и сведения его для Михаила Ивановича были не новыми. Зато за короткое время пребывания в Красном Яре он успел узнать многое: и то, что библиотека здесь ничемная, городские заправилы отдали ее на попечение владельцу трактира, и то, что местный пристав — человек более или менее покладистый, что местный любительский кружок драматического искусства собирается поставить спектакль «Дети Ванюшина».

— Кто же им руководит? — спросила Мария.

— Я, — ответил Ашот.

— Ого! — вырвалось у Васильева. — Ведь это сложно.

— Зато важно. Дикие нравы красноярских купцов известны широко. Обирают бедных рыбаков нещадно. Может, вы поможете мне, Михаил Ивано-

вич? Помню, вы о театре даже статьи писали... А вместе с вами мы бы такой спектакль закатали...

— Подумаю,— ответил Михаил.— В этом есть что-то заманчивое.

О ссыльных Ашот говорил сдержанно; здесь, в Красном Яре, соратников по борьбе не оказалось. Зато об астраханских ссыльных ему было известно немало.

Ашот сказал:

— Здесь, в Астрахани, Нариманов.

Михаил Иванович еще с бакинских времен хорошо знал Нариманова, автора известного романа «Бахадур и Сопа», пьесы «Надир-шах» и многих других произведений.

Нариман-бек, как называли его мусульмане, уже помолодой человек (шел ему тогда четвертый десяток), был студентом медицинского факультета в Одессе. И в то же время уже известным литератором.

Роман «Бахадур и Сопа», написанный в конце прошлого века, свидетельствовал о прогрессивных взглядах Нариманова: трагедия азербайджанского юноши Бахадура и армянской девушки Сопы, разлученных националистическими предрассудками родителей, была написана ярко и страстно. Привлекало в этой книге то, что ее герой — студент Бахадур — не пассивная жертва национальной вражды, он борется против нее, он стремится разорвать ее ужасные цепи.

Знал Михаил Иванович и о том, что Нариманов первым перевел на азербайджанский язык гоголевского «Ревизора», что он автор «Самоучителя русского языка» для азербайджанского населения.

Познакомился с Наримаповым Михаил Иванович случайно — во время летних каникул. Нариманов выступал в Баку с лекцией, и Васильев вместе с Ма-

рией решили послушать ее. Лекция, как и сам Нариманов, как и все, что он о нем знал, произвела на Васильева глубокое впечатление. Нариманов выглядел весьма внушительно и в студенческом мундире: бородка и усы, отчетливо заметные залысины, чуть прищуренные прощипательные глаза под длинными бровями делали внешность этого человека утонченной, аристократичной. Говорил он о необходимости бороться за права трудящихся, за свободу и просвещение своего народа.

Да, это, несомненно, яркая, колоритная фигура. И Васильев ощутил потребность встретиться с ним, поговорить.

После лекции он представился Нариманову. Оказывается, фамилия учителя Васильева была знакома ему.

— Я в курсе всех бакинских дел,— сказал он,— и кроме того, учитель учителя видит издалека. Я ведь тоже учительствовал, правда не в городе, а в Кызыл-Аджили — есть в Грузии такое азербайджанское село...

Он говорил на чистом русском языке, почти без акцента, и это тоже показалось Михаилу Ивановичу удивительным. Он сказал об этом Нариманову.

— Я ведь написал самоучитель русского языка,— улыбнулся Нариманов.— Впрочем, надеюсь, это не все, что вы хотели сказать мне о лекции...

Михаил Иванович не отрицал. Да, лекция его очень заинтересовала, прежде всего тем, что Нариманов глубоко знает жизнь своего народа, понимает его беды и нужды...

— Но самое главное, вы знаете, каким путем идти вашему народу, с кем и с чем бороться. Именно царский режим — вот главный враг народов Кавказа...

Михаил Иванович сделал паузу, как бы недоговаривая чего-то.

— Я вас слушаю, коллега, мне интересно знать все, что вы думаете...

Мария, присутствовавшая при этом разговоре, взяла мужа за руку.

— Нариман Наджафович, нам просто очень понравилась ваша лекция.

— Цепю вашу деликатность. Но ваш муж думает иначе.

— Да, это так, не буду и не могу скрывать. Я марксист, и, если в такой содержательной лекции ничего не говорится о классовой борьбе, о классовой сущности национальной розни, о том, что эта рознь выгодна одним классам и вредна другим, я перестаю понимать лектора.

— Но ведь это подразумевается,— пробовала вступить за лектора Мария.

— Не надо меня защищать,— перебил Нариманов, и Михаил Иванович не сразу понял, обиделся он или задумался о чем-то.

— Для меня лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — главный лозунг моей жизни,— резко продолжал Васильев.— И для меня царизм не просто враг, а классовый... классовый враг...

Прощаясь, он сказал:

— Вы любите свой народ, вы его достойный сын. Так поставьте же борьбу за его счастье на прочный фундамент марксизма.

Они больше не встречались: Нариманов возвратился в Баку лишь осенью пятого года, когда Васильев уже был в Москве. Но Мария рассказывала, что логика борьбы привела Нариманова к большевикам, он стал одним из активнейших участников «Гуммета».

И вот сейчас Нариманов здесь, в Астрахани.

— Он тоже ссыльный? — спросил Михаил Иванович.

— Да, но на особом положении: среди татарского населения Нариманов считается человеком исключительным, — рассказывал Ашот. — Когда он приехал сюда, в татарской газете его назвали народным кумиром и призывали его не чувствовать себя заключенным и одиноким.

— Ашот, очень прошу тебя, достань мне его статьи в местных газетах, — сказал Васильев. — Жаль — не могу поехать в Астрахань, очень хотелось бы встретиться.

— А вам просто необходимо встретиться. Он ведь врач, и очень популярный... Его так и называют — «доктор Нариман-бек»...

Михаил улыбнулся, вспомнив, как он скептически относился некогда к студенческому мундиру Наримана Нариманова.

Два обстоятельства не позволили Васильеву немедленно выехать в Астрахань для встречи с доктором Нариман-беком. Во-первых, вот-вот должна была родить Мария. А во-вторых, премьера спектакля «Дети Ванюшина» и трагедия Ванюши Банникова.

Васильев согласился помочь Ашоту поставить спектакль «Дети Ванюшина». Его увлекла сама идея постановки, он убедил местных градоправителей и участников драматического кружка в том, чтобы весь сбор со спектакля пошел на оказание помощи бедным ловцам рыбы и большим ссыльнопоселенцам. Разумеется, сбор этот не мог быть очень большим, но, если показать спектакль несколько раз, сумма получится приличная.

Мария рада была тому, что муж занялся руководством драматического кружка. Он заметно оживился, даже повеселел, ходил в библиотеку, перечитал почти всего Островского, которым прежде не увлекался. Свои репетиции он начинал с интересных бесед о нравах и жизни российского купечества, о том, как и на чем наживает оно свои капиталы, как деньги, приобретенные попачалу, быть может, даже честным трудом, постепенно становятся для купца идолом, разлагают его самого, семью, детей, превращая их в бездушных, ненавидящих друг друга хищников.

Разговаривал Михаил легко, свободно, разъясня не только пьесу, но и всю несправедливость капитализма. Когда Ашот мельком спросил, не опасно ли это, Южин ответил:

— Пьеса Найденова цензурой разрешена. А там обо всем этом написано.

Ванюша Банников поначалу бывал на репетициях почти каждый вечер. Судьба семьи Вапюшиных настолько взволновала его, что по его настроению и реакции сверяли артисты, правильно ли они трактуют образы своих героев.

Однажды Михаил Ивапович увидел на глазах юноши слезы. Южин попытался успокоить его, но безуспешно.

— Откуда господин Найденов знает про меня, про нашу семью?

— Да ведь не про вашу семью эта пьеса,— хитрил Васильев.

— Про нашу, про нашу... И фамилию-то придумал нарочно — Вапюшины... Про меня, значит... Про меня.

Михаил Ивапович никак не ожидал таких ассоциаций — «Вапюшин» и «Вапюша». Действительно,

словно нарочно дал автор пьесе такое название, словно нарочно взяли ее к постановке красноярские любители.

Неожиданно на репетицию явился сам купец Банников. Высокий, с рыжеватой окладистой бородой, в традиционном купеческом жилете с золотыми запонками на нем, он внешне походил на человека мягкого и доброго, в нем было даже что-то интеллигентное. И только водянистые, светлые глаза смотрели непреклонно и даже с угрозой.

— Пойдем, Ивац, домой. Чего ты здесь потерял? Целыми днями торчишь. Аль другого дела у тебя нет?

— Я бы, тятенька, позднее пришел...

— Позднее нельзя. Сейчас надобно.

Словно боясь, что может возникнуть скандал, Ванюша встал, виновато огляделся вокруг и, потупив взор, вышел.

Михаил Иванович видел все это и понимал состояние юноши. Он просил Ашота поговорить с ним, помочь ему. Тихий, слабовольный Ванюша не мог, конечно, противостоять тому укладу, который существовал в их купеческой семье. Может быть, ему лучше уехать из Красного Яра?

Ашот пытался поговорить с Ванюшей, но тот лишь смущенно улыбался и отвечал:

— Что вы, господин Каринян, я ведь не болен, я совершенно здоров и физически и нравственно... Не извольте беспокоиться...

Михаил Иванович пытался еще раз поговорить с Банниковым-старшим, но неожиданно получил жесткий отпор:

— Нечего из моего Ивана делать кисейную барышню. Все это у него от молодости... Ничего, перемелется — мука будет...

— Но поймите, он тяжело переживает свое положение...

— А какое такое у него положение? — взъярился купец. — Вы там всякие пьески поганые придумываете, кунечество поносите, а оно, между прочим, всех вас кормить изволит. На слова больно горазды. Вот и Вашьку моего с пути истинного сбиваете. Слаб он, верно, в мать пошел, непутевый. Ну да пичего. Никуда я его от себя не отпущу. При себе держать буду, пока он сам отцовскому капиталу хозяином не станет. Я ему или характер, или ребра поломаю.

Михаил видел, как багровел Банников, как пошло пятнами его лицо, шея вздулась. «Вот оно, доброе кунеческое сердце», — думал Южин, вспоминая их первую встречу.

— Ну а если вы не ребра, а душу мальчику сломаете? Испоганите ее, изомнете... Что тогда?

— Вот тогда и станет настоящим купцом, — отрезал Банников. — А жалостливый и хрупкий — это в наше время не человек.

— Но ведь он ваш сын, — пробовал усостить купца Михаил.

— Вот именно мой. Моим он и будет — банниковским!

Дальнейший разговор был бесполезным, и Южин ушел.

Вместе с Ашотом пробовали они разговаривать и с Ванюшей. Михаил рассказал ему о судьбе московского фабриканта Николая Шмита, который восстал против своего класса, пришел в ряды революционеров-большевиков. Ванюша сначала внимательно слушал, а потом, словно решив для себя что-то, сказал:

— Нет, это не по мне...

— Он чем-то учителя Улезко напоминает, — заметил Ашот.

— Да, нелегко ему будет жить на Руси,— решил Васильев.

В дверь постучали. Открыла Мария.

— Вам кого?

— Господина Васильева.

Мужчина переступил через порог. На вид ему можно было дать не более тридцати лет. Был он рыжеват, улыбчив лицом, и светлые глаза его казались прозрачными.

Мария Андреевна относилась к каждому новому человеку пастороженно, постоянный надзор полиции требовал этого.

Стоял август, самый неистовый месяц в этом краю. Солнце пекло нещадно, и Михаил старался в эти дни не выходить из дому.

— Это ко мне? — спросил он.— Зови, Маруськ, приглашай.

Мужчина назвался Кобельковым и сам рассмеялся, словно извиняясь за столь смешную фамилию.

— Даже до нормального Кобелева не дорос. Так и остался Кобельковым.

Теперь уже шутке посмеялись все. Михаил Иванович тут же заметил:

— А ведь по росту да по стати вашей не скажешь. Мужчина что падо. Так чем могу быть полезным?

Кобельков огляделся, словно желал удостовериться, что их не слышат.

— Говорите, говорите, я вас слушаю.

— Из Астрахани я...

— Ну и что?

— Побывал сегодня на репетиции и, представьте себе, узнал вас.

— Меня? Разве мы с вами встречались?

— Вы, конечно, не помпите. Да и мудрено. Вы — оратор, я — слушатель. В Москве это было. У Филиппова.

Нет, как ни старался, не мог вспомнить Южин это лицо.

— Так. И что же из этого следует?

— Собственно, ничего особенного. Я сюда пекарем напялся и вдруг знакомого увидел... Представляете, как приятно... молодость вспомнить... Да еще какую молодость...

Южин попросил Марию принести чаю. Когда она вышла, Михаил подошел к Кубелькову и в упор спросил:

— Провокатор?

Гость отшатнулся, побледнел и вдруг тихо, обиженно произнес:

— С такой фамилией, как у меня, лучшего и ожидать нечего. Извините...

И он повернулся, чтобы уйти. На мгновение в душе Михаила шевельнулось сомнение: здесь, в ссылке, действительно человек радуется каждой встрече, каждому знакомому лицу. Что же особенного, что потянулся к нему этот самый Кубельков, что вспомнил он пятый год... Да и можно ли его забыть?

— Что вы делали потом, после московских событий? — остановил гостя Южин.

— Я сразу же сюда. Тетка у меня в Астрахани... Куда же еще было податься? Правда, в партии я не состоял, да разве в Москве только партийцев хватили... Словом, сбежал...

— А теперь что же?

— Забастовали в Астрахани пекари... И я, конечно, Москву вспомнил, словом, снова пришлось уби-

ратся воп. Друзья посоветовали сюда податься. И пекарь нужен, и город недалеко...

— А вы знаете, что общаться со мной небезопасно? Я ведь ссыльный, государственственный преступник...

Кобельков улыбнулся.

— Это всякому здесь известно. И мне тоже, конечно. Так ведь мне от вас ничего и не нужно.

— Что ж, это хорошо. Но от чая, наверное, вы не откажетесь?

— Ну, разве что чаю,— согласился Кобельков.

Вошла Мария, словно почувствовала, что именно в эту минуту следовало появиться.

За чаем Кобельков рассказал, что в Красном Яре много разговоров идет о предстоящем спектакле, что поползли слухи, будто купец Банников предложил закупить все постановки, лишь бы публично не играть эту пьесу.

— Ну, это уж дудки,— вскочил Южин.

— Вот и я говорю, деньги деньгами, а театраль- ный любитель себя на сцене увидеть желает. На то он и время тратит, чтоб от искусства радость иметь...

Постепенно исчезла натянутость, и только однажды Южин снова пасторожился.

— Я вам выдам один секрет,— таинственно ска- вал Кобельков.

— Да? Какой же?

— Я согласился приехать в Красный Яр, потому что здесь рыбалка отличная. Вот покажете свой спек- такль, освободитесь малость — и махнем. Люблю я на зорьке с удочкой или переметом побаловаться. Эх, жаль только — бударочки или другой какой ло- дочки нет...

Когда Кобельков уходил, то звал уже Южиных по имени-отчеству, а они его — Тимофеем Поликар- повичем.

— Это — другое дело. А то слышишь: Кобельков, Кобельков... Прямо-таки лаять хочется.

Предупреждение о том, что Бапшиков стремится закупить целиком спектакли «Дети Вапюшина», оказалось осповательным. Узнал об этом и Ашот. Он примчался к Васильеву.

— Вы слышали?

— Слышал. Не беспокойся, Ашот. Билеты уже продаются. Наш повый пекарь оказался неплохим коммерсантом. Так что премьера состоится, и не далее как сегодня.

Хотя зал был переполнен, билеты все же оказались проданными не полностью. Городская зпать не пожела- лала увеличивать доход в пользу больных и бедных. Она важно уселась в первом ряду, заняв эти места бесплатно — по праву сильных.

Спектакль шел долго, без малого четыре часа. Михаил Иванович и Ашот волновались, как дети. Ашот не выходил из-за кулис, а Южин поминутно поглядывал на Марию и по глазам ее определял, не слишком ли скучным выглядит это зрелище. Ему пра- вилась пьеса Найденова, но режиссером он был впер- вые в жизни. К тому же ставил спектакль он ровно столько времени, сколько потребовалось артистам, чтобы выучить роли.

В антракте он спрашивал у жены:

— Не очень скучно? Понятно, о чем речь? Хорошо слышно?

Мария не хотела расстраивать мужа. Увы, далеко не все было понятно. Артисты из Красного Яра не слишком четко произносили слова, иногда невпопад смеялись, а иногда слишком откровенно посматрива- ли на суфлера. В конце спектакля зрители хлопали

долго и громко. Когда занавес закрылся, Михаил Иванович поднялся на сцену.

— Я вас поздравляю, друзья. Судя по реакции зрителей, спектакль удался. Рад за вас, за ваш успех.

В это время его окликнули. Это был Кобельков.

— Не сейчас, Тимофей Поликарпович. Завтра решим наши финансовые дела.

— Я не о том. Мне вас на минутку, Михаил Иванович.

Васильев отошел к Кобелькову, и Мария увидела, как побледнел ее муж.

— Что случилось, Миша? — спросила она, подойдя.

— Ничего, ничего, Мария. Пойдем домой, я провожу тебя.

— А потом?

— Извини, пожалуйста. У меня еще кое-какие дела.

Еще раньше заметил Южин, что Ванюши Банникова на спектакле нет. То ли отец не пустил, то ли парнишка сам решил не приходить, не терзать свою душу. Ванюша действительно на спектакль не пошел, а отправился к реке. Здесь, на причалившем к берегу пароходе, шумно развлекалась красноярская молодежь, та, которую спектакли не интересовали. На палубе были расставлены столики, между ними угодливо суетились официанты. Что-то дикое, нечеловеческое было в этом пьяном разгуле. Парни норовили задеть друг друга, толкнуть столик, картинно плюнуть на палубу.

Мысли Ванюши были далеко. Молчаливый и стеснительный, младший Банников сидел в сторонке, на корме.

И вдруг до него донесся женский крик.

— Помогите, ради бога, помогите! — неслоь по палубе.

Ванюша, не помня себя, бросился на помощь...

— А тебе чего надо? Ишь, защитник выискался. Дай-ка этому сопляку по загривку...

Ваня почувствовал, как что-то тяжелое опустилось ему на голову и по лицу потекла липкая жидкость. Он очнулся через несколько секунд и увидел, что все вокруг смеются над ним, а пуще всех — здоровенный детина с бутылкой в руке.

— Что, замарался, защитничек? Ну-ка умойся, герой.

Он схватил Ванюшу, поднял его и швырнул за борт...

А к берегу уже бежали люди, что-то кричали, смеялись...

Придя в себя, Ваня увидел, что лежит в мокрой одежде на берегу, а рядом стоят пристав и отец. Парень, только что издевавшийся над ним, валяется у них в ногах.

— Клянусь — не знал... Не погубите хмельного. Грех попутал...

Он плакал, растирая по лицу слезы, и Ванюше вдруг стало стыдно за этого никчемного человека.

— Нет тебе моего прощения, — говорил Банников и вдруг, повернувшись к Ванюше, сказал: — А с тобой я дома поговорю. Фамилию Банниковых на посмешище выставил! У-у, глаза б мои тебя не видели...

Изнемогая от стыда, обиды и унижения, Ванюша с трудом поднялся и побрел домой.

Васильев писал об этой ужасной трагедии в газете «Астраханский листок»:

«В результате — страшная катастрофа. Молодое, чуткое самолюбие не выдержало жестокого испытания, и в тот же вечер во дворе своего дома почти на глазах семьи Ваня Банников выстрелил из револьвера себе в висок...»

Ашот, мягкая, отзывчивая душа, тяжело переживал гибель Ваюши, хотя друзьями и даже товарищами они не были.

— Как это ужасно! — говорил Ашот. — Ну что он им дался, такой безобидный, добрый...

— А доброта и безобидность обывателям поперек горла, — сказал Васильев с ненавистью. — Его обыватели сожрали.

С некоторых пор слово «обыватель» часто употреблял Михаил Иванович. И тогда, когда, измученный болезнью, задыхался, не будучи в состоянии что-либо делать, даже читать, он именовал себя обывателем. И тогда, когда на кого-либо сердился, он брапил его обывателем. И тогда, когда шутил, заявляя, что в их семье может родиться сын, дочь или обыватель.

Писал ли Васильев о библиотеке («очень много книг пропало — обыватели «зачитали»»), о магазинах и покупателях («в карманах у обывателей царит унылая пустота»), о благотворительном спектакле («многие из обывателей предпочли посмотреть спектакль на генеральной репетиции... бесплатно»), он всегда выражал свое презрение к равнодушным, душой ожиревшим с их воинствующим бескультурьем.

Статьи о бедняках, как правило, в газету не попадали. Но однажды, получив очередную почту, он торжественно воскликнул:

— Ну наконец-то! Я и не предполагал, что все дело в терминологии. Нужно, оказывается, бедняков именовать не пролетариями, а, предположим, мел-

кими ловцами рыбы. Вот тогда — пожалуйста, никакой политики!

«Грозному бедствию, сделавшемуся, кажется, нашей национальной особенностью, «истинно русскому» недороду, в наших краях соответствует не менее страшный по своим последствиям «недолов...» Собственно говоря, малый улов рыбы не имел бы слишком грозных последствий для ловцов, если бы они были более независимы от разных двуногих хищников...»

(В этом месте, неожиданно для Васильева, редакция сделала «спасительную» споску: «И если бы построили свое хозяйственное благополучие исключительно на лове рыбы...» Вот, оказывается, как спасаются от гнева сильных мира сего редакторы «Астраханского листка».)

«...Двуногих хищников — крупных предпринимателей, собственников промыслов, скупщиков и ростовщиков... Но в том-то и беда, что

Если ты имеешь много,
Так тебе еще дадут,
Если мало, то и это
Очень малое возьмут!»

Васильев удовлетворенно улыбнулся: это уже кое-что, если напечатали такое четверостишие.

Но его интересовало, как отнеслись в редакции к другой части его статьи, поняли ли ее суть, ее главную направленность.

«Имеющие много не перестают и при плохом улове увеличивать свой богатства, а имеющие мало терпят последнее достояние.

Старая, непрекращающаяся история!

Местные хищники многообразными путями эксплуатируют и обирают мелких ловцов...

Ясное дело, что для мелких ловцов необходимы прежде всего организации...»

Появление этой статьи взбодрило Михаила Ивановича. Он даже согласился на предложение Ашота съездить на рыбалку. Недалеко от Красного Яра, там, где сливаются Бузан с Ахтубой, говорят, великолепно ловится вобла.

Именно здесь, в утлой рыбацкой бударке, передал Ашот Михаилу Ивановичу старательно заклеенный конверт.

— Это вам. Почитайте.

Стоял весенний, на редкость погожий день. Легкий восток тербил речную гладь.

Михаил Иванович взял конверт, распечатал его, с каким-то особым уважением посмотрел на Ашота и прочитал:

«Наша типография, частная разумеется, нуждается в грамотных сотрудниках. Не сообразовали ли, милостивый государь, сообщить нам о степени своей занятости по адресу: Астрахань, типография Апресяна?»

Эта записка удивила бы Васильева, если б не подпись — Степап Шаумян...

— Он в Астрахани? — спросил Михаил Иванович.

— Да, его сослали сюда.

«Министерство внутренних дел. Департамент полиции. По особому отделу.

Начальнику Астраханского губернского жандармского управления.

В департаменте полиции получены сведения о том, что для партийных сношений в распоряжении членов организации социал-демократической рабочей партии имеется нижеследующий адрес:

«Астрахань, типография Апресяна, Степану Шаумяну».

Сообщая об изложенном, департамент полиции просит Ваше высокоблагородие выяснить возможно осторожно партийное значение указанного адреса и лица, проживающего по нему, и о последующем уведомить...»

Кобельков обиделся, когда узнал, что Южин с Ашотом были на рыбалке. Утешился он только тем, что без него так ничего и не поймали.

Тимофей Поликарпович оказался отменным финансистом. Выручку от спектаклей он сдал Васильеву копейка в копейку, сам же принял участие в ее распределении. Он настаивал на том, чтобы о благотворительном спектакле кто-нибудь — Ашот или Михаил Иванович — написал в «Астраханский листок».

— Вы же не хуже этого N напишете, — сказал Кобельков, глядя на Южина.

— Действительно, певажно пишет N. А почему бы вам не взяться за это дело? Или вы и есть тот самый N?

И Южин угрожающе помахал Кобелькову пальцем.

Васильев давно уже собирался в Астрахань: ему необходимо было встретиться с Наримановым. А сейчас, после того как Ашот передал эту записку, Васильев твердо решил осуществить нелегкую для себя поездку. Нелегкую не потому, что далеко, а потому, что по-прежнему чувствовал себя скверно и к тому же не решался оставить Марию одну.

В Астрахань, под предлогом необходимости показаться знаменитому врачу, Васильев выехал вместе с Марией и Ашотом. Дул веселый морской ветер, соленый и резкий. Дыхание моря в этих местах ощущается всегда, словно борется оно за свое владычество со знойными суховеями. А по весне это дыхание особенно заметно.

Они шли на небольшом и шумном пароходике, крикливо оповещавшем о себе на каждой версте пути. Мимо проплывали отощавшие за зиму деревья, редкие кустарники да изредка притулившиеся к реке рыбацкие поселки.

Михайлу Ивановичу дышалось на удивление легко, словно и не было проклятой чахотки. Мария не могла нарадоваться доброму настроению мужа, столь редкому в последнее время.

Ашот хорошо знал типографию Апресяна, неказистое, пропахшее типографской краской здание. Он вошел туда первым и вскоре подал знак — можно заходить. Васильевы, удостоверившись, что «хвоста» за ними нет, открыли широкую массивную дверь.

Степан Шаумян радостно встретил гостей.

— Ну здравствуйте, бакинцы.

Они не успели поздороваться — в контору вошел очередной посетитель. Шаумян дал знак Южину подождать: разговаривать при постороннем он, видимо, не мог.

— Вы почитайте газетку, господа, пока мы решим несколько коммерческих вопросов, — сказал он, обращаясь к Васильевым. — Вот, извольте «Астраханский вестник»...

Освободившись, Шаумян без всяких предисловий, возбужденно заговорил о создании центрального органа партии газеты «Правда».

Сообщение Степана Шаумяна пробудило у Васильева новые силы. Ему вдруг показалось, что все это время он прожил здесь как-то не так, что можно было сделать гораздо больше. Южин всегда был недоволен собой, а сейчас и подавно. Все в нем возстало и против болезни, и против вынужденного безделья, и против той раздражительности, которая появилась в нем с недавних пор и так его тяготила...

— Ну-с, господин корреспондент «Астраханского листка», начнем, пожалуй... Жаль, что нет сейчас в Астрахани Наримана Наджафовича. Он помнит вас по Баку и очень хотел повидать... Работу по групповым сборам на новую пролетарскую газету мы провели довольно энергично. Вот прочитайте — сообщение с астраханского завода «Норем».

Васильев взял в руки газету:

«Мы, группа рабочих, в количестве 58 человек, сочувствуя идее издания ежедневной рабочей газеты «Правда», посылаем свою посильную лепту и надеемся, что эта газета будет работать в чисто пролетарском духе, будя к классовому самосознанию и остальных товарищей, не примкнувших к объединению рабочих. Группа рабочих».

— Владимир Ильич передает вам привет, — говорил Степац, — и надеется, что астраханские ветры не сломили вашего боевого духа.

В этих словах послышалась Южину почему-то нотка упрёка. А может быть, это все то же самодействие?

Было ясно — нарастала новая революционная волна. И об этом было сказано в резолюции рабочих социал-демократов о деятельности ленинской газеты «Правда».

«Мы, астраханские рабочие социал-демократы, шлем горячий привет «Правде». «Правда» сыграла крупную роль в русском рабочем движении последнего времени. Она выступила в тяжелое для русских марксистов время, когда реакционеры всякого рода торжествовали над рабочим классом свою временную победу. «Правда» возвестила о начале нового подъема рабочего движения. Она проникла в широкие слои рабочих всей России, всюду принося с собой ясную и последовательную марксистскую мысль, всюду вселяя бодрость и призывая к организации...»

Васильев возвратился в Красный Яр с твердой решимостью работать.

В один из тусклых красноярских вечеров, освещенных робким светом керосиновой лампы, в дверь Васильевых постучали.

— Господа Васильевы, к вам доктор,— объявил вошедший в комнату пристав Григорий Григорьевич Ветвицкий...

В дверях стоял пропылившийся в долгой дороге, лысеющий со лба мужчина с маленькими азербайджанскими усиками. Это был Наримап Нариманов, только без бороды. Вот почему его не сразу узнал Васильев. Пристав, который всегда относился к присяжному поверенному Васильеву почтительно, повоенному прищелкнул каблуками.

— Господин Нариманов пожелали-с встретиться. Человек они знаменитый, хоть ссыльный поселенец. Так что отказать не посмел... Они про вашу болезнь книжку написать изволили. Так что не взыщите...

Нет, Васильев не был в обиде. Напротив, он сердечно поблагодарил Григория Григорьевича за «своевременную медицинскую помощь».

Нариманов действительно написал в Астрахани две медицинские работы — «О холере» и «О чахотке».

— Встрече рад сердечно,— сказал Южин, когда пристав ушел.— Как пациент ваши рекомендации, Наримап Наджафович, я изучил доскопально. А сейчас просто рад видеть вас, рад вашему здоровому виду и бодрой улыбке.

Но уйти от разговора о своем здоровье Михаилу Ивановичу не удалось.

— Как врач, я требую прекратить всякие путешествия в Астрахань. Хотя меня и зовут здесь волшебником, помните, что медицина не всесильна. Так что, дорогой Михаил Иванович, если вы серьезно относитесь к моим рекомендациям, благоволите выполнять их не па словах, а на деле.

Нариманов говорил это строго, с такими металлическими нотками в голосе, что Васильев почувствовал себя неуютно.

— Между прочим, Михаил Иванович, вам еще работа предстоит немалая... Чувствую, что ни мне, ни Степану здесь долго не продержаться. И тогда ждите гостей к себе... А пока — лечиться, дорогой товарищ, то бишь милостивый государь...

Мария пригласила к столу. Нариманов встал:

— Извините, задерживаться не могу. У меня еще в Красном Яре два визита, да в Астрахань возвратиться бы к ночи. Словом, прощаюсь. При случае заеду. Очень прошу, Михаил Иванович, не быть врагом своему здоровью. Считайте, что это партийный приказ.

Уже уходя, добавил:

— Мы потревожим вас в случае крайней необходимости. Запомните, крайней!

Ее называли Валентиной, это маленькое существо, появившееся на свет жаркой почью двенадцатого года. Боже, сколько забот сразу потребовала она от Марии! Михаил Иванович взял на себя все немудреное домашнее хозяйство.

Но Ашот... Ашот всех удивил: он оказался отличной нянькой, хотя пастороженная Мария на первых порах старалась не подпускать к ребенку «этих пуклюжих мужчин».

— Ну, Маруськ! — говорил счастливый Михаил Иванович. — Теперь у нас настоящая семья.

Как только истек трехлетний срок поселения, Васильевы переселились из Красного Яра в Астрахань. Это было накануне первой мировой войны.

Проводить их кроме Ашота и Кобелькова пришли и артисты-любители, хотя после «Детей Вапюшина» Васильев драмкружком больше не занимался.

Ашот пообещал долго здесь не задерживаться, а Кобельков попросил выяснить, не пайдется ли для него в Астрахани свободного места пекаря.

— Скучно мне будет без вас, — с искренней грустью сказал он.

Война принесла в Астрахань не только похорошки, но и один невероятный комичный случай, главным действующим лицом которого был печально известный своей жестокостью астраханский губернатор и по совместительству наказной атаман Астраханского казачьего района Соколовский. Это он, будучи еще вице-губернатором Уфы, вместе со своим шефом Богдановичем принимал активное участие в расстреле златоустовских рабочих. Тогда возмущение народа против вице-губернатора достигло предела, на него было совершено покушение, и он был тяжело

рапен. Однако дюжий вице-губернатор выжил и вскоре был повышен в должности.

И вот весной 1914 года, еще до объявления войны, сей душитель всего революционного и прогрессивного сказался больным и величественно отбыл для лечения на один из германских курортов. Не доверяя даже своему «вице», он повелел пересылать ему лично в Германию на минеральные воды все пакеты, приходящие на его имя.

Мудрость губернатора вскоре обернулась анекдотичностью: ему был переслан совершенно секретный пакет, в котором содержался план мобилизации астраханского казачьего войска. Разумеется, гриф «совершенно секретно» оказался весьма привлекательным, и пакет лег на стол пачальника германской разведки. Соколовский был взят в плен чуть ли не в минеральной ванне.

Правда, долго держать «дальновидного» губернатора немцы не стали: чем больше таких «умниц» среди русских генералов, тем лучше. Да и заслуги перед командованием германской армии достаточно велики. И они отпустили Соколовского с миром.

К возвращению пезадачливого губернатора в Астрахань за пим уже прочно закрепилась слава самодура и болвана...

С астраханскими большевиками Васильев познакомился сразу после приезда. Были в Астрахани и видные меньшевики — Ромишвили и Чола Ломтадзе. О последнем Ашот рассказал, что он депутат Государственной думы, но, несмотря на это, был сослан в Сибирь и только тяжкая стадия туберкулеза заставила властей «всемилоостивсейше переменить место ссылки па Астрахань».

Это был удивительно добродушный, славный человек, и Михаилу Ивановичу иной раз казалось, что и к меньшевикам-то он попал по недоразумению: не желал ссориться со своими старыми друзьями. Васильев вспомнил Жорданию. До чего же они непохожи! Тот криклив, задирист, непримирим по отношению к большевикам. Чола иной — молчалив, задумчив. Он старался понять, что происходит вокруг, но болезнь так крепко подкосила его, что он уже не верил в свое будущее.

Васильев отнесся к Ломтатидзе не то чтобы с уважением, скорее, с сочувствием. Это была птица с подбитыми крыльями.

— Тяжело мне,— сказал как-то Чола.— Понимаешь, Михаил, тяжело оттого, что сил нравственных еще много, а физических уже нет...

С Красным Яром Южин почти не поддерживал связи. И лишь однажды написал письмо Кобелькову о том, что место пекаря найдено и, если у него есть желание, он может его занять.

Вот почему ни Михаил Иванович, ни Мария несколько не удивились, когда однажды раздался стук в дверь и вошел Кобельков. По его виду можно было определить, что это не просто визит вежливости.

Весть, которую принес Кобельков, оказалась действительно чрезвычайной важной: в Астрахань, проездом в Баку, приехал депутат IV Государственной думы Бадаев.

— Ну и что же? — пожалуй, слишком поспешно спросил Васильев. Меньше всего предполагал он увидеть связным именно Кобелькова. Южин мог доверить ему деньги, но партийных дел не доверял никогда.



Фамилия Бадаева была Южину хорошо знакома. И хотя встречаться прежде с ним не приходилось, Михаил Иванович знал о нем немало как о старом, еще с 1904 года, большевике.

Но почему пришел к нему именно пекарь? В конце концов, Бадаев человек «официальный» и его приезд не такое уж секретное событие. Не провокация ли это?

— Он, наверное, приехал по заданию ЦК,— сказал Кобельков.

— Насчет ЦК,— оборвал Южин,— вы бросьте. Я к нему никакого отношения не имею.

Кобельков улыбнулся: мол, понятно, конспирация прежде всего.

Собрание рабочих, на котором выступал Бадаев, состоялось на кладбище. В каждом его слове, каждой фразе звучал призыв против войны, развязанной империалистами.

«А как считает Ленин? — думал Михаил, слушая Бадаева.— Знает ли он, что наша думская фракция собирается выступать против войны? А не вернее ли было бы использовать войну для свержения самодержавия?»

На обратном пути из Баку Бадаев решил вновь встретиться с астраханскими рабочими, но вездесущие меньшевики предложили сначала провести узкое совещание социал-демократов. Бадаев, видимо, не сразу разобрался, что участники этого «узкого совещания» в основном меньшевики. Да и состоялось оно на квартире присяжного поверенного Романа Аствацатурова, которого здесь признавали как руководителя социал-демократической группы.

Одни за другим выступали ораторы. Вот поднял

руку, призывая к тишине, Роман Аствацатуров. Краспоречив этот адвокат, что и говорить, но речь его Васильеву не по душе: как это может человек, именующий себя революционером, призывать рабочих отложить на время борьбу против капиталистов?

— Оборона отечества — вот наш лозунг. Все силы, весь народ, мужчины и женщины, старики и дети, — на защиту священной родины. Эта война сплотит нас и примирит.

— Нет, — воскликнул Васильев, — не примирит! Я мог бы говорить много и долго о том, что такое война и нужна ли она. Но я сейчас — не об этом. Я призываю вас использовать войну для борьбы с капитализмом...

Он чувствовал, что говорит не очень определенно, что надо бы точнее, но Южин к этому попросту не был готов.

С совещания они уходили с Бадаевым вместе, и Михаил услышал то, что хотел узнать раньше, — точка зрения Владимира Ильича определена: война эта империалистическая и нужна она империалистам. Большевики голосовать за военные кредиты не будут...

Зная, что Бадаев едет в Баку, Михаил Иванович просил его передать товарищам привет от старого бакинца.

— А мы вас встретим на обратном пути более подготовленными. Приезжайте, Алексей Егорович.

Начальник Астраханского губернского жандармского управления перечитывал донесение о совещании социал-демократов.

— Ну-с, этого господина Аствацатурова мы знаем давно: неопасен, неопасен. Вот и речь его... Что ж, подходяще, господин социал-демократ. А вот за этим

присяжным поверенным следует присмотреть. Заметим: Михаил Васильев...

Приезда Бадаева из Баку, оказалось, ждали не только большевики. Аствацатуров твердо решил не выносить больше обсуждение вопроса о войне на рабочую аудиторию. Не дремало и жандармское управление. Полковник Федоренко приказал блокировать каждый шаг рабочего депутата.

Но встреча с рабочими все-таки состоялась. Бадаев заверил их, что большевистская фракция предъявит все антивоенные требования правительству.

— В случае же отказа наша фракция выразит протест забастовками, выпуском прокламаций к солдатам, к крестьянам. Словом, борьба, борьба и еще раз борьба.

Полковник Федоренко читал очередное донесение и думал о том, что он доложит начальству...

«В числе зарегистрированных полицией пришедших на собрание лиц оказались, между прочим, один гимназист и один административно высланный с Кавказа деятель Российской социал-демократической рабочей партии...»

Полковник задумался. О ком это? Высланный с Кавказа... деятель... Не просто член партии, а именно деятель...

Он почти машинально вынул из шкафа личное дело, на титульном листе которого было написано: «Васильев Михаил Иванович», перевернул несколько страниц. Так и есть. Именно с Кавказа... Из Тифлиса.

Он позволил.

— Позовите мне «шестнадцатого»... этого собачьего сына,— приказал он.

Жандарм понимающе улыбнулся.

Через час в кабинете полковника Федоренко стоял, переминаясь с ноги на ногу, Кобельков...

Свое возвращение в Астрахань губернатор Соколовский ознаменовал свиданием с начальником жандармского управления. Вице-губернатора, так неосторожно переславшего ему злополучный пакет в Германию, он видеть не пожелал. Зато полковника Федоренко он вызвал в первый же день.

— Большевики еще существуют?

Федоренко посмотрел на губернатора удивленно. Неужели анекдоты не лишены основания? Он и раньше был о своем начальстве не слишком высокого мнения, а после этого вопроса и вовсе утвердился в нем.

— Существуют, ваше высокопревосходительство,— отчеканил он.

— И вы не можете с ними справиться? Ждали, пока я вернусь?

Федоренко развел руками.

— Кого вы считаете самыми опасными из них?

Федоренко называл одну фамилию за другой. Губернатор прерывал его короткими устными распоряжениями: арестовать, наказать, в солдаты, выслать вои...

После фамилии присяжного поверенного Михаила Васильева Соколовский топнул ногой.

— Вои, вои! Чтоб духу его здесь не было! Выслать.

— Куда прикажете?

— Куда угодно, хоть к черту на рога.

— Но ведь...

— Что вы мне задаете дурацкие вопросы? Пусть едет куда хочет. У него спросите. Разумеется, не в столицу и не на Кавказ.

— Может, за границу? — неосторожно спросил Федоренко.

— Что? Вы с ума сошли, милостивый государь! Заарестовать! И его, и жену. Всех, всех заарестовать!

Федоренко поспешил удалиться. Приказ есть приказ. Васильев и его жена в тот же день были арестованы.

Вскоре, однако, решение пришлось изменить — оснований для ареста у Федоренко было недостаточно. И он вспомнил разговор с губернатором...

На вопрос, куда бы Васильевы пожелали выехать из Астрахани, Михаил Иванович, улыбаясь, ответил:

— Заграничные курорты мне ни к чему, в столицу не отпустите. Так что разрешите уехать в Саратов.

— Почему именно в Саратов?

— Имею пристрастие к саратовским гармошкам, — без тени улыбки ответил Южин.

К удивлению Михаила Ивановича, выезд в Саратов ему был разрешен.

Шел 1915 год.

В Саратове

Чола Ломтатидзе умирал... Как надеялся он на Саратов, на этот город «добрых демократов», как величали себя местные либералы!

— Я следом за тобой, Михаил Иванович, непременно следом,— говорил Чола, провожая Южипа из Астрахани.— Ты уж там позаботься, будь любезен... Там, в Саратове, много товарищей, они помогут,— горячо говорил Чола.— И Чхеидзе поможет. Он ведь в Петербурге. Депутат!

Ломтатидзе глубоко и тяжело закашлялся, болезненно поморщился и стыдливо спрятал лицо.

— Ты, Мишенька, не забудь обо мне там, в Саратове. Только бы из Астрахани... Только бы отсюда. Я задыхаюсь... Мне нечем дышать... Так ты не забудешь?

Он приехал в Саратов сразу же после Васильевых.

Квартира, которую снял Васильев, не отличалась ни размерами, ни удобствами. И все-таки они ее сняли, потому что был в ней уголок для маленькой Валюши.

Из-за нее в семье шел постоянный спор о том, на кого она больше похожа — на отца или мать. И поскольку спор этот для родителей оказался неразрешимым, Валюша попробовала определить сама:

— Я похожа на дядю Павла.

Мария Андреевна всплеснула руками: ведь девочке шел лишь третий год и она Павла Андреевича ни разу не видела. Просто разговор о богатырском здоровье дяди, видимо, запомнился ей, и она, отчаянно надувая щеки, демонстрировала свою схожесть с дядей Павлом.

— А ведь верно, Мишенька, на Павла... Право, на Павла,— говорила Мария.

Южип не спорил, хотя в душе ощущал легкую обиду. Если мужем он был нежным, заботливым, то отцом оказался прямо неистовым. Он вскакивал с постели, если вдруг среди ночи раздавался плач ребенка, приходил в отчаяние от малейшего его нездоровья. Михаил Иванович ни на минуту не забывал о своем туберкулезе и постоянно терзался мыслью, не передал ли он своей дочке эту проклятую болезнь.

Как украсила эта девчочка его жизнь! С ее рождением он постоянно открывал в себе никогда не испытанные ранее чувства. И странно: думая о будущем, о революционной борьбе, он неизменно связывал все свои мечты с этим маленьким существом.

Небольшой домик на Царицынской улице саратовцы называли «Маяком». Этот одноэтажный длинный дом на узенькой улице был поистине уникальным, хотя внешне мало чем отличался от других в этом старинном купеческом городе. Хитровато выглядывали оконца полуподвального помещения. Над ними окна дома, высокие, узкие, словно восклицательные знаки, под которыми были выложены квадратики из кирпича.

Несколько его комнат были обставлены более чем скромно. В них была какая-то удивительная тишина, располагающая к милой беседе или спокойной раздумчивости.

В документах городских властей значилось, что в этом доме помещаются «Общество внешкольного образования» и «Литературно-просветительное общество».

Об истинном содержании этих «обществ» Михаил Иванович знал, еще будучи в Астрахани. С тех пор, как в «Маяк» пришли Опоков (Ломов), Лебедев, Антонов, он стал центром саратовских большевиков, центром всего рабочего движения в городе.

Антонова Васильев знал еще с пятого года. Тогда с молодым революционером, только начинавшим свой путь, Южин встречался в Московском комитете партии. Студент Владимир Антонов получил задание вести пропагандистскую работу среди железнодорожных рабочих.

И вот они встретились снова. Видный присяжный поверенный Владимир Павлович Антонов был известен не только в юридических, но и в революционных кругах Саратова. Популярности этого стройного молодого человека способствовали темперамент, красноречие и поразительная работоспособность. Немалую роль играло и то, что Антонов был крепким саратовцем.

Антонов обрадовался приезду Южипа: он связывал с его опытом и знаниями большие надежды. Он и привел его однажды в августе пятнадцатого года в дом на Царицынской улице.

296 Михаил Иванович предпринял все возможное, чтобы помочь больному Ломтатидзе. Но, увы, уст-

роить его к себе или у кого-нибудь на квартире не удалось: как бывшего каторжанина, Чолу насильственно определили в грязную земскую богадельню вместе с уголовниками.

— Умоляю,— говорил Чола,— вырви меня отсюда. Я хочу умереть на свободе.

Напрасно бегал Южин к разным влиятельным особам. Повсюду пожимали плечами и, мило улыбаясь, ссылались на свое бессилие.

— Михаил Иванович, вы слышали, в Саратов из Петербурга приезжает Керенский?

— Ну и что же?

— Как? Это ведь наш депутат. Он тоже присяжный поверенный.

— Не понимаю.

— Да ведь он имеет огромное влияние на местные власти. К тому же эсер, меньшевикам сродни... Он поможет Чоле, если захочет... Вы бы пригласили его, попросили.

Мысль пригласить к себе Керенского сначала показалась Южину пелепой. Что общего между ними?

Впрочем, чем черт не шутит.

Марии эта затея даже понравилась.

— Э, была не была — приглашу. Да и интересно все же — из столицы. Любопытно, чем господа эсеры дышат.

Керенский приехал к Южину на квартиру в парадном френче. Южины были одеты по-домашнему, и Мария в своем простеньком платьице в первые минуты даже почувствовала себя неловко...

Керенский театрально вздохнул:

— Ах как я завидую вам, дорогие мои, как завидую вашей возможности чувствовать себя легко, свободно! А тут... Боже мой, как я устал от всего этого! Как тяжела все-таки шапка Мономаха...

«Уж не примеряешь ли ты ее в самом деле?» — не без сарказма подумал Михаил.

— Ну, у нас шапку Мономаха можно снять,— заметил он вслух.

В это время в комнату вошла маленькая Валюша и с удивлением стала рассматривать незнакомого человека.

— Ах, так у вас и маленькая девочка. Как это мило... Завидую, ей богу, завидую. А вот я...

Он так и не сказал, что именно «вот он»... Может быть, это означало занятость, поглощенность революцией, может быть, недоступность для него, Александра Федоровича Керенского, земных радостей.

К обеду, в назначенный ему Южиным час, пришел Чола. Для Керенского это было неожиданно, он не предполагал встретить здесь Ломтатидзе, тоже депутата, да еще в столь ужасном состоянии.

— Вот вырвался на часок-другой,— дипломатично заметил Чола.— Право, не ожидал такой трогательной встречи.

Неловкость спяла Мария:

— Вы, Чола, как всегда, кстати. Только, умоляю, не создавайте здесь с Александром Федоровичем боевого союза против Михаила.

Керенский великодушно рассмеялся:

— Тут еще нужно установить идейные позиции каждого из нас.

Это было сказано так многозначительно и торжественно, что Южин тоже рассмеялся.

— Ну, ваши позиции нам хорошо известны,— сказал Чола.— А вот мои...

Южин, чувствуя, что разговор может принять не очень желательный оборот, поспешил:

— Александр Федорович, помогите мне в моих тщетных усилиях.

— А разве у вас бывают такие? — весело спросил Керенский. — Я имею в виду большевиков.

— О да, конечно. Случается. И касается это не большевиков. Помогите мне извлечь из земской богадельни вот этого милого кавказца, сохраните его для наших политических споров. Уверяю вас, во многом меньшевики стоят ближе к вам, чем к нам...

Чола недовольно заерзал на стуле.

Керенский, заметив это движение, мгновенно согнал с лица улыбку.

— Понимаю, понимаю. Борьба борьбой, а человечность... Я непременно похлопочу... не здесь, разумеется... Местные либералы... сами понимаете... Нет, тут нужно действовать сильной рукой... там, в Петербурге.

Он сказал именно «в Петербурге», а не «в Петрограде», хотя с начала войны столица была переименована. Чего тут больше — рисовки или сподвизма?

При всей торжественности фразы эта прозвучала равнодушно.

— Я поговорю, непременно поговорю, — снова пообещал он, разглядывая скромное угощение, которое подала Мария.

Во время обеда Керенский все время жаловался на свою печень, на желчный пузырь и еще на что-то, даже не замечая бестактности подобного разговора в присутствии двух больных чахоткой. Потом, посетовав на тяжелое политическое положение, на те огорчения, которые доставляют ему большевикопораженцы, он заметил, что спорить с ними на эту тему бесполезно.

— А я это знаю,— безнадежно махнул рукой Чола.

— То есть как?

— Да так... Для того чтобы понять, что такое — желать поражения России в этой войне, нужно быть как минимум революционером...

Керенский, не ожидавший от «просителя» подобной фразы, возмутился:

— Как, вы тоже стали большевиком?

— Нет, пока нет. Но я интернационалист, Александр Федорович, есть, был и останусь...

Чола глубоко и тяжело закашлялся, вскочил и выбежал из комнаты.

— М-да, он, видимо, действительно очень болен,— двусмысленно проговорил Керенский.

— Во всяком случае, нравственно он здоровее и чище многих других, именующих себя революционерами.

Южин уже не мог сдержаться: его начал раздражать этот человек.

Керенский ушел, так и не дождавшись возвращения Чолы. Он сослался на нездоровье, вежливо пообещал не забыть «несчастливого друга» и, вяло кивнув головой, удалился.

Мария и Михаил проводили его до ворот и пошли разыскивать Чолу. Он сидел на лавочке около богадельни и старательно массировал свою впалую грудь. Две уличные собаки лежали около его ног.

— Тебе плохо? — спросил Михаил Иванович.

— Нет, спасибо. Мы здесь с этой парой дворянчиков беседуем. Замечательно умные существа. Ничего не обещают, никого не ругают, ни на кого не жалуются, разве только на свою собачью судьбу.

Когда они вошли в дом, Южин спросил:

— Ну как, Чола, что ты думаешь об этом человеке?

— Демагог и болтун. И это неразрывно. Оттого демагог, что болтун. Оттого болтун, что демагог.

— А его обещание похлопотать?

— Врет. Ничего не сделает.

И не было в этой фразе ни разочарования, ни обиды.

Между тем положение Ломтатидзе становилось все хуже и хуже. Депутат Думы был лишен средств к существованию. Южин помогал ему чем мог. Но многим ли он мог помочь при своих весьма скудных средствах?

И тогда он написал письмо в большевистскую «Нашу газету», выходящую в Саратове, в котором рассказал о бедственном положении ссыльного, члена социал-демократической фракции Государственной думы 2-го созыва Ломтатидзе.

Город зашумел... Чола начал получать письма — и соболезнующие, и сентиментальные. В иных любопытства было больше, чем сочувствия.

И все же товарищи собрали некоторую сумму денег, купили все необходимое для Чолы. Но это уже ничего изменить не могло.

Последние часы Южин провел около него. Дышать Чола уже почти не мог, и только хрипы вырывались из его груди. Он не думал о близком конце. А может быть, и думал, но не говорил. Умер он холодной декабрьской ночью. Выла за окнами свирепая степная вьюга, продувая насквозь не защищенную от ветров убогую богадельню. Умер он тихо: заснул и не проснулся.

На квартире у Южина собрались Оппоков, Лебедев, Антонов и приехавший из Петербурга депутат Государственной думы меньшевик Чхеидзе. Перед

смертью Чола так и не написал ему письма, боясь разочароваться в своем друге.

Михаил Иванович сообщил о том, что прах Ломтатидзе решено перевезти в Тифлис.

— Пусть рабочие всего Саратова выйдут проститься с тем, кто умер борцом, который не всегда был прав, но всегда был честен.

Как ни странно, только Чхеидзе был против того, чтобы превращать это событие в широкую политическую демонстрацию.

— Сейчас война, — убеждал он, — и законы сейчас военные.

— У рабочих всегда война с капиталом, — заметил Южин.

Большевики единодушно поддержали его.

Такого единодушия едва ли помнил Саратов. Гремели, будоража улицы, рабочие песни, неслась «Марсельеза».

На привокзальной площади и на перроне состоялись прощальные митинги.

Васильев поднялся на ступеньку вагона, и ему вдруг показалось, что все это не случайный эпизод, а продолжение борьбы, что не потерпела поражения революция в такую же декабрьскую ночь там, в Москве, что все еще впереди.

К саратовским железнодорожникам Южин шел с радостью и волнением. Словно с этого часа возвращалось к нему полной мерой что-то очень важное, может быть, самое главное. Он думал о Баку, о Москве, о далекой Женева...

Южин понимал, что сейчас не пятый год, что война установила новые законы и жандармы с удовольствием воспользуются ими в борьбе против большеви-

ков. И все же он решил пойти: для рабочего класса было очень важно именно сейчас почувствовать свою силу, предъявить свои, рабочие требования.

...Железнодорожники слушали его внимательно. Он уже привык к этому — опыта выступлений перед рабочей аудиторией ему не занимать. Но сейчас положение было особым: отсюда, из Саратова, ежедневно отправлялись на фронт эшелоны с людьми и грузами. Здесь все напоминало хорошо отлаженный военный механизм, и пойти против него было непросто.

Говорил Южин так, как будто бы думал вслух. Кому нужна эта ужасная война? Кто греет руки на ней, кто наживает капиталы? Кто защищает ее и посылает на фронт бескопечное количество пушечного мяса? Васильев задавал вопросы и тут же отвечал на них.

— Это не наша война, товарищи, не революционная, не пролетарская. И мы должны поднять свой голос против этой бойни, которая несет бессмысленную гибель людям, плодит сирот и калек. Мы должны поднять свой голос протеста против войны, за наши права, за рабочее дело... Заставим хозяев и власти отдать то, что нам принадлежит по праву. Забастовка, товарищи, немедленная забастовка! Вот что приведет в чувство капиталистов, заставит их считаться с нашими требованиями.

Она была объявлена тут же, и словно по команде, по чьему-то неслышному сигналу зацокали по булыжнику копыта конной жапдармерии.

— Ух ты, — воскликнул кто-то из рабочих, — сам Балабанов пожаловал.

Ротмистра Балабанова хорошо знали железнодорожники — здесь, в этом районе Саратова, он был хозяином и владыкой.

Балабанов, еще нестарый, крупный мужчина, тяжело отдувался.

— По закону военного времени... — начал он, но в этот момент загудели голосистые паровозные гудки.

Балабанов помолчал, выжидая, а затем начал снова:

— По закону военного времени...

И снова гудки, но теперь уже в сопровождении свиста и улюлюканья рабочих.

Васильев поднял руку, и железнодорожники замолчали.

— Господин ротмистр, — спокойно сказал он, — рабочие-железнодорожники решили объявить забастовку и требуют улучшения условий жизни и труда. Если вы приехали сюда угрожать, то лучше вам убраться восвояси... Если вы хотите сказать что-то дельное — милости просим.

И он широким жестом предложил ротмистру — говорите.

Балабанов был потрясен: такой наглости он не ожидал.

— Да вы понимаете...

— Я-то понимаю... Впрочем, дело ваше. Предупреждаю: угрозы слушать не будем, — категорически отрезал Васильев.

— Хорошо... Я скажу... Забастовка в такое время... когда там, на фронте, льется кровь ваших братьев, когда по железной дороге идут грузы, от которых зависит жизнь ваших друзей, родных, близких... это преступление, господа, это против России, против совести...

Молодой паренек с опустившимся на лоб чубом перебил ротмистра:

— А мы этой войпы не начинали. Рабочему люду она не нужна!

— Ах вот как вы заговорили! Предупреждаю: по закону военного времени за это полагается...

Ротмистр так и не смог договорить свою речь: снова засвистели, зашумели рабочие, снова завывли гудки. Балабанов дал шпоры своему красавцу коню, резко осадил назад и, злобно оглянувшись, помчался прочь. От него не отставали жандармы.

В забастовке железнодорожников приняло участие более пяти тысяч человек. По всему Саратову разнеслась весть о ней, и на всех предприятиях было объявлено: помогать забастовщикам!

Не только рабочие, но и студенты, но и многие представители интеллигенции заявили о своей солидарности с бастующими, откровенно радуясь успеху забастовки.

Для Васильева она имела особенно большое значение: он окунулся в родную стихию, снова почувствовал себя бойцом.

На рождественскую неделю Михаил Иванович получил «таинственное» приглашение от присяжного поверенного Мясоедова. Человек этот был в Саратове достаточно известным и даже популярным. В 1905 году сменил прокурорский сан на адвокатскую карьеру... «Обвинять в России нынче много любителей. Кому-то и защищать людей нужно», — говорил он.

Когда-то Мясоедов начинал с народничества, теперь ни к какой партии не принадлежал, эсеры считали его своим, меньшевики — своим. Только большевиков побаивался Мясоедов. О большевиках он в шутку говорил:

— У меня от поворота влево всегда кружится голова.

Узнав, что из большевиков Мясоедов пригласил к себе еще Милютина и Мицкевича, Южин понял, что «правые» что-то замышляют.

1916 год оказался нелегким для саратовских большевиков. Арестовали нескольких активных товарищей, еще в конце прошлого года закрыли «Нашу газету». Многие большевики получали письма с угрозой физической расправы над ними. Однажды такое письмо получил и Васильев: «Приказываем перестать смутлянить и направлять бессознательных на батюшку-царя... Если ты не послушаешься, так знай: всевидящее око черной рукой подняло крещеный меч над твоей головой. Убьем!» Южин рассмеялся. На всех этих письмах — одна и та же подпись: «Черная рука» — и вместо печати — неумело нарисованный череп со скрещенными костями.

1916 год дышал приближающейся грозой. Ее громовые раскаты уже были слышны по всей России. Долетали они с фронтов империалистической войны, где бездарные царские генералы терпели одно поражение за другим, из тревожной столицы, где прогремели выстрелы в Григория Распутина и где все настойчивее и упорнее распространялся слух о готовящемся дворцовом перевороте.

Чувствовали ее дыхание и саратовские «добрые демократы».

Михаил Иванович, знавший Мясоедова по работе в суде, присматривался к этому неглупому старику, хотя ничего революционного от него, разумеется, не ждал. Общество, которое большевики застали у Мясоедова, было тоже ему хорошо известно. Конечно, все те же «милые либералики» с сахарными устами. Был здесь знакомый уже Южину депутат Государ-

ственной думы кадет Алмазов, эсер Ракитников и некоторые другие.

Большие окна разрисованы морозом. Там, за стенами дома, зимняя непогода. А здесь тепло, нарядный стол, изысканные яства, шампанское во льду.

Алмазов, считавший себя аристократом, подчеркивал свое умение смаковать этот искристый напиток, закусывая тонко нарезанным ананасом. Ракитников, напротив, пил шампанское как воду, а ананасы вообще считал «немужицкой» едой.

«Забавляются», — с отвращением подумал Южин.

Мицкевич, человек энергичный и темпераментный, заговорил громко и вызывающе:

— А меня предупреждали, что здесь готовится заговор. Наверное, против шампанского.

Степенный Милютин, оглядев стол, сказал насмешливо:

— Господа решили нас убедить, что не так уж плохо живет Россия, как о том твердят большевики.

Басильев-Южин не стал комментировать это сообщение, — его интересовало лишь одно: зачем саратовским «добрым демократам» потребовались большевики.

— Вот и наши рабочие вожди, — картинно расклапаясь Мясоедов.

Доктор Алмазов, которому Южин до сих пор не мог простить его отступничества в случае с Ломтаидзе, всячески старался подчеркнуть свое дружеское расположение. Он умело, со вкусом разливал шампанское, интересовался, не желают ли «господа рабочие лидеры» чего-нибудь покрепче.

Южин ответил:

— Покрепче, вероятно, будет наш разговор. Давайте же не откладывать его в долгий ящик.

Ракитников, эффектно вскинув голову, согласился.

— Вот это по-нашему, по-мужицки, — подчеркивая последнее слово, сказал он.

Разговор начал Алмазов. Южин удивился, как неожиданно изменилось его лицо. Куда девалась сладкая, белозубая улыбка. Безысходную грусть, то-скивую озабоченность — вот что выражало теперь его широкое лицо.

— О наша бедная, многострадальная Россия... Сколько горя, сколько слез расплескалось по ее просторам...

«Безвкусно, милостивый государь, — подумал Южин. — Для доктора такой пафос даже неприличен».

— Этот позор с Распутиным никакой выстрел не убьет. Наш слабовольный государь...

— Ого! — воскликнул Милютин. — Не в большевики ли вы решили записаться?

— Не шутите, право, нам не до шуток, — просительно ответил Алмазов.

— Такого государя давно бы... — Ракитников выразительно провел рукой по горлу.

— Ну, это уж по вашей линии, — заметил Южин. — Не знаю только, за чем задержка. Мы слушаем вас, господин Алмазов.

— Нам хотелось бы знать, как отнесутся левые партии к насильственной, быть может, замене царя другим, более достойным лицом и к неизбежным, без сомнения, переменам в составе правительства.

Милютин выразительно посмотрел на Южина: ага, мол, вот она, заковыка. Мицкевич удивленно слушал, а у Михаила Ивановича на лице не дрогнул ни один мускул.

— Я слушаю вас,— спокойно сказал он, по привычке протирая носовым платком пенсне.

— Мы решили спросить у вас как представителей рабочих...

— Не поможем ли мы вам захватить власть? — закончил фразу Васильев-Южин.

— Ну почему же именно нам? Мы люди маленькие.

«Опять кокетничает»,— подумал Михаил.

— И потом... свергнуть царя — наша общая задача, не правда ли? — вкрадчиво спросил Милютин.

Ракитников не признавал, очевидно, дипломатических разговоров.

— Необходим дворцовый переворот,— сказал он, как отрезал.

— И кто же его будет совершать? — спросил Южин, пытаясь понять, насколько подготовлен этот разговор.

— Ну, для этого всегда люди найдутся.

Молчавший все это время Мясоедов печально вздохнул.

Алмазов не спускал глаз с Васильева. Ему очень хотелось, чтобы слова о насильственном свержении царя, о необходимости решительных действий вызвали одобрение большевиков.

Между тем для Южина становилось все более и более очевидным, что никакого конкретного плана действий представители буржуазных партий не имеют. «Ваши дела,— думал он,— очевидно, очень плохи, если вы заговорили о дворцовом перевороте. Значит, революция надвинулась вплотную, если перепуганные крысы ищут спасения в таком отчаянном, псевдореволюционном средстве...»

Милютин подмигнул Южину: пора ставить точки над «i». Михаил Иванович кивнул — согласен.

Алмазов между тем терял терпение.

— Так все-таки — переворот или нет? — нервно спросил он.

Южин, снова протерев пенсне, медленно заговорил:

— Мне думается, что единственным выходом из теперешнего катастрофического положения может быть только революция. Не игра в революцию, не наивный и убогий дворцовый переворот, а настоящая, грозная и очистительная революция, которая навсегда уничтожит вековой позор и несчастье страны — царя и всех его сатрапов.

Южин видел, как побледнел, словно испугавшись, Алмазов. «Ага, на это ты не рассчитывал?»

— Рабочие вынуждены будут начать революцию и, несомненно, ее начнут. Можно с уверенностью сказать, что на этот раз их дружно поддержат солдатские массы.

Южин улыбнулся и, обратившись к Ракитникову, добавил:

— Поддержат нас, конечно, и крестьяне.

Он встал, прошелся по комнате.

— Что я могу еще к этому добавить? Вы, господа, сделаете самое лучшее, если не будете мешать этой неизбежной революции.

Алмазов молчал. Мясоедов, откашлявшись, спросил, обращаясь к Милютину и Мицкевичу:

— Вы такого же мнения?

Милютин усмехнулся:

— А вы рассчитывали на иное?

Алмазов решительно встал. Он не говорил. Он кричал:

— Революция сейчас — это гибель! Разве можно начинать революцию во время войны? Нет, на революцию мы не пойдем.

— А мы в этом не сомневались,— спокойно заметил Южип.

— И будем единоподушно бороться против нее,— добавил Алмазов.

— А вот в этом я сомневаюсь,— все так же спокойно сказал Васильев.

— То есть как? — воинственно спросил кадет.

— А вот так. Все будет зависеть от того, насколько вам это выгодно. Конечно, совершать революцию вы не будете. А вот захватить власть не откажетесь. Вспомните историю, господа.

Либералы наконец рассердились. Они начали поочередно выкрикивать оскорбления в адрес большевиков.

— Ну что ж,— не отказал себе в удовольствии издеваться над этими либералами Васильев,— нам пора уходить. Ведь революция может вспыхнуть каждую минуту.

Милютин добавил:

— И говорят — она начнется именно в Саратове.

Он сказал это настолько серьезно, что Алмазов почти поверил.

— Почему именно в Саратове?

— А где еще есть город добрых демократов? И потом, разве вы не слышали, что саратовской полиции хотят прислать пулеметы?

Мицкевич солидно констатировал:

— Это, разумеется, неспроста.

Последнее замечание прозвучало убедительно: слухи о том, что саратовскую полицию решено вооружить пулеметами, упорно распространялись по городу.

Алмазову показалось, что за всеми этими шутками большевиков что-то скрывается, что они не полностью раскрыли свои карты.

— Куда же вы уходите, господа? Посидите, поговорим, посоветуемся.

Но Южин уже прощался. Он сказал, что у большевиков и в самом деле нет времени распивать шампанское.

— За царское угощение — спасибо,— сказал Милютин.

Они вышли на улицу. Мицкевич предложил взять извозчика — и к Волге.

— Нет, после этого сборища пройтись — самое лучшее дело.

Они шли, медленно приближаясь к крутому берегу реки. Шли долго, наслаждаясь зимним воздухом и пежностью пушистых снежинок.

Волга лежала перед ними глубоко подо льдом. Что-то таинственное, грозное было в ее распластавшейся шири, в твердом ледяном панцире, сковавшем до времени ее мощь.

Саратов жил ожиданием. Внешне все шло своим чередом. Спали спокойным сном обыватели, маршировали по улицам роты, готовившиеся к отправке на фронт, важно ходили на свои заседания гласные Саратовской думы.

Однако было в этой обыденности что-то напряженное, похожее на сжатую пружину. Казалось, сними какой-то невидимый крючок — и она распрямится сильно и звонко.

Товарищи по партии почти каждый вечер собирались в «Маяке» — молодые и старые, закаленные в борьбе и делающие в ней лишь первые шаги. Удовлетворение вызывало у Южина то, как росла и закалялась революционная молодежь, как находила она в рабочем движении свой жизненный путь. И слесарь

Кирилл Плаксин, и усатый, похожий на запорожского казака Марциновский, и железнодорожник Степан Ковылкин, с которым он познакомился во время забастовки, и приехавший из Самары студент Юрий Милонов, и всеобщий любимец курносый острослов Виктор Бабушкин, и Терентий Чугунов, и Иван Ерасов.

А девушки... Влюбленные в революцию девушки из «Маяка», восторженно слушающие старших товарищей. Как выразительно читали они горьковских «Сокола» и «Буревестника», как пели «Есть па Волге утес» и с каким проворством затевали знаменитый в «Маяке» самовар!..

И все они, большевики, — молодые ли, старые — все жили сейчас одними думами и тревогами в предчувствии грозных событий.

Зима в начале семнадцатого года отступила быстро. Теплое дыхание весны, пришедшее с искристыми солнечными лучами, ощущалось в особом запахе начинающего подтаивать снега, в робком звопе капли, в почерпевших холмах, которыми окружен Саратов.

Жили Васильевы в центре города, на углу Московской и Приютской улиц, недалеко от думы, а бывать Южину приходилось вдали от центра — в казармах и на заводах.

Усталый и обессиленный, приходя домой, Михаил все же рассказывал Марии о делах в городе. Да и как не рассказывать: Мария всей душой была с мужем, хотя маленькая Валюша отнимала у нее все силы, все время.

Шумел, волновался Саратов. Это еще не был взрыв, но уже горел, шипя и напрягаясь, бикфордов

шнур... Люди на улицах собирались, что-то обсуждали, о чем-то спорили, сначала с оглядкой, а со временем все смелее и смелее.

Вести о событиях в Петрограде, о новой волне революционного движения доходили до волжских берегов. Говорили о всеобщей забастовке столичных рабочих, о волнениях в Преображенском, Волыньском, Литовском полках.

Разнесся и взбудоражил всех слух о том, что официальные лица и сам главноначальствующий, как величал себя губернатор Тверской, скрывают что-то очень важное.

Южин узнал об этом от Милютина. Тот вбежал к нему в дом, на ходу расстегивая пальто.

— Что же делать? Я так и думал, что от нас что-то скрывают.

Мария посоветовала:

— Вы бы в думу сходили. Рядом ведь.

— Рядом-то рядом,— ответил Михаил,— да что там узнаешь.— И, обращаясь к Милютину, добавил: — Ну-ка сходим с тобой в «Самарский вестник».

Сотрудники газеты на все вопросы таинственно пожимали плечами, дескать, кто его знает, что там, в столице, за тридевять земель. Даже репортер, не раз обращавшийся к адвокату Васильеву за «пикантными фактиками», молчал.

«Этот паверняка знает»,— решил Южин.

— Что, король скапдальной хроники, забыл, что репортера, как и волка, ноги кормят?

— Зачем бегать, если источники сами приходят к тебе?

— Вы имеете в виду меня? — спросил Южин.

— Ну нет, вы сами, по-моему, прибежали за скандальчиком. Но нынче, милостивый государь, мелкие фактики не котируются.

— Разумеется. Теперь подавай дворцовые перевороты,— выпалил Южип, почему-то вспомнив ужин у Мясоедова.

— Почему вы решили? — настороженно спросил репортер.

— Увы, такие дела решаю не я, а народ. А уж он точно знает, кого утвердить, а кого обезглавить.

— Обезглавить? Нет, вы серьезно? Ну, не думаю... Подумаешь, временный комитет. Временное правительство. Даже восстание в войсках. Это еще не народ. Временное... — подчеркнул репортер.

— Временное правительство... Но ведь есть, наконец, Совет,— подсказал Милютин.

— Нет, насчет Совета ничего не сказано.

— Ах, милостивый государь,— вздохнул Южип,— в какое трудное время мы живем, как меняются люди! Сидите, спрятав малюсенькую тайпу, забыв, что завтра придете ко мне за судебным материальчиком. Быть может, вы теперь превратились в политического обозревателя или фельетониста?

— Упаси бог и помилуй,— взмолился репортер.— Ни в коем случае. Просто,— он оглянулся по сторонам,— в сообщении почти ничего не сказано, кроме того, что вы, я вижу, и без меня знаете. В Питере временным комитетом Государственной думы образовано Временное правительство, и вспыхнуло восстание в войсках. Велено это сообщение пока не печатать. Вот и все.

— Все ли?

— Все... Впрочем, сегодня в пять часов в здании городской думы состоится экстренное,— он подмигнул,— совещание гласных.

— Ну, это нам известно,— махнул рукой Южип, вызвав улыбку Милютина (ведь именно это они и хотели узнать).— Впрочем, спасибо.

Ровно в пять часов Михаил вошел в думу. На улице по-прежнему собирались люди, обсуждая просочившиеся в печать сообщения из Петрограда.

Южин не удивился, увидев в здании думы помимо гласных и рабочих, и газетчиков, и просто любопытных.

Уже время начинать, но зал по-прежнему гудел.

И вдруг гласные засуетились. Южин не сразу заметил человека, которого, видимо, и ожидали.

— Губернатор...

— Губернатор...

— Господин главноначальствующий...

Губернатор Тверской шел подчеркнуто твердым шагом. Он направился к трибуне и, тяжело взобравшись, повернулся к гласным. Лицо его было бледным.

— Господа,— стараясь говорить уверенно, начал он.— Мы собрались сегодня экстренным образом потому, что нас вынудил к этому тревожный и пока во многом не определившийся час... Господа, я имею вам сообщить, что в Петрограде образовалось новое правительство...

Он ожидал реакции гласных, но сообщение это уже было всем известно и эффекта не произвело. Подробностей же, которых ожидал зал, Тверской, видимо, и сам не знал.

— Господа, я прошу вас в это смутное время сохранить нашу верность отечеству и порядку. Нельзя допустить, чтоб на сцену выступила «улица»!

— Ого! — вырвалось у Южина, и этот возглас подхватили голоса рабочих. Южин наклонился к соседу, знакомому по «Маяку», и тихо сказал: — Беги к Милютину, срочно собирайте товарищей в «Маяк». Я скоро приду туда.

Между тем губернатор продолжал уже воистинно:

— Что же касается меня, то я не оставлю своего поста до тех пор, пока меня не отзовет с пего государь-император. Ура армии и ее верховному вождю!

Слились воедино крики гласных «ура!» и возмущенные возгласы рабочих.

— Гласные-то наши не разучились кричать «ура!» — шепчет Южину сидящий рядом товарищ.

— Ах, олухи! — негодует Южин. — Ну поговорите, послушаем, что вы запоете перед лицом «улицы».

Губернатор удалился, и тотчас кто-то объявил, что в девять часов состоится еще одно заседание думы — расширенное, с участием представителей общественных организаций. Приглашались представители биржевого комитета, земской управы, общества купцов и мещан и даже окружного суда. Насчет рабочих — ни слова.

Южин поспешил в «Маяк». Необходимо было до девяти часов определить, как вести себя дальше, с чем явиться на расширенное заседание думы.

В клубе уже было шумно илюдно. Бегал, суетился усач Марциповский, гудел, устанавливая порядок, Милютин.

Южин вошел торопливо, и тотчас все замолчали.

Михаил Иванович рассказал о только что прошедшем заседании думы и закопчил с нажимом:

— Мы должны сказать свое слово от имени той самой «улицы», которой так боится губернатор. И выступать, и спорить, и бороться будем. А завтра... завтра будем создавать Совет... Да, мы создадим свою власть и посмотрим, чья возьмет.

Дума кишмя кишела народом. Не только сесть — стоять негде было. Но «маяковцы» были настойчивы. Они буквально ворвались в зал, и перепуганные «отцы города» беспокойно заерзали в своих креслах.

— Трещите, «улица» идет! — не удержался Марциповский.

За окнами уже давно властвовала густая вечерняя мгла — был уже десятый час. Вокруг думы толпились люди, бушевали, пытаюсь проникнуть в здание, чтобы хоть краем уха услышать, что скажут гласные.

— А царя спихнули или сам ушел?

— Сказывают — отрекся.

— О боже... Без царя-то как?

Вдруг эту говорливую суету прервал пронзительный мальчишеский свист. По улице в расстегнутой шинели, с шапкой в руке бежал полицейский. За ним, свистя и крича, бежала толпа гимназистов, студентов:

— Бей «фараонов»!

— Отрыжка самодержавия!

— У-у-у-у...

Мужчина в жестком котелке и с могучей тростью в руках, тщетно пытавшийся доказать свое право пройти в городскую думу, гневно воскликнул:

— Анархисты! Посмотрим еще, как они обойдутся без полиции. Молокососы!

Но увесистый снежный ком, метко пущенный в его праздничный котелок, охладил возмущенного господина.

Заседание думы началось. Заместитель городского головы Яковлев читал только что полученную телеграмму из Петербурга:

— «Временный комитет членов Государственной думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка...»

Яковлев читал холодно и бесстрастно. Но постепенно в его голосе начали звучать торжествующие нотки:

— «Сознавая всю ответственность принятого им решения, комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием...»

Васильев слушал недоумевая... Неужели это то, чего так долго и трепетно ждали?

А Яковлев, подчеркивая каждое слово, буквально пропел подпись под этим документом, точно это было главное в нем:

— «Председатель Государственной думы Родзянко».

Родзянко... Восстановление порядка... Временное правительство... А где же революция?

Южин переглянулся с Милютиным, с Марциповским, с другими рабочими.

— Какая же это революция, черт побери! — воскликнул Милютин.

На него оглянулись, зашикали. Яковлев уже читал заранее приготовленный текст приветственной телеграммы новому правительству.

— «Городская дума,— все больше распалялся Яковлев,— в союзе с живыми силами парода окажет со своей стороны помощь Временному правительству в деле водворения порядка...»

Нет, больше этого терпеть нельзя было. Милютин толкнул в бок... Михаил поднял руку и громко потребовал:

— Прошу слова от имени Саратовской рабочей организации!

«Отцы города» заметно всполошились; одни ждали, что же теперь скажут эти «большевички», другие встревожились: неужели... в такой торжественный час... Южин заметил, с каким любопытством разглядывали его гласные.

Он уже шел к трибуне, и единственное, о чем думал сейчас, — это не дать разбушеваться гневу, который все больше и больше заполнял все его существо. «Обман... Какой коварный, предательский обман!»

По привычке он снял пенсне, протер стекла, водворил на место и темного успокоился. А когда взглянул на перепуганные лица гласных, и вовсе взял себя в руки.

— Граждане! — начал свою речь Васильев. — Я обращаюсь к вам от имени местных организованных рабочих и хочу высказать наш взгляд на совершающиеся события. Мы давно знали, что главным несчастьем России является ее дезорганизация. Царизм всегда способствовал этому. Своей тупостью и деспотизмом он способствовал тому, что ее основным самобытным устоем стал принцип «Эй, разойдись!». Если рабочие пытались организовать, слышался крик: «Эй, разойдись!» Если покупатели объединяются в кооператив, слышится крик: «Эй, разойдись!» И так во всем и всегда. Не то же самое ли имеет в виду господин Родзянко, когда вопит о восстановлении порядка?

В зале поднялась буря, но Южин успокаивающе поднял руку.

— Довольно. Да, довольно! Теперь перед нами стоит главная задача — организация. Организация на местах, организация партийная, организация всей России.

В зале раздались аплодисменты, но Южин не пережидал их.



— Посылая приветствие Временному правительству, мы должны приветствовать также геройский петроградский пролетариат, который свергнул старое правительство, мы должны приветствовать тех доблестных представителей армии, которые мужественно стали на сторону нового строя...

На слова о пролетариате зааплодировали рабочие, а при упоминании об армии милостиво похлопали и гласные.

— Я рад, — не без иронии заметил Южин, — что наше мнение, мнение саратовских рабочих, находит себе такой отклик. — И уже серьезно: — Мой товарищ огласит сейчас ту резолюцию, которую мы предлагаем принять.

Южин видел, как шел ему навстречу рабочий Скворцов, слышал аплодисменты товарищей, почувствовал рукопожатие Милютина. Сидя на своем месте, он слушал теперь резолюцию — выработанное вместе с товарищами в «Маяке» требование приветствовать петроградский пролетариат, «освободить политических пленников старого режима и немедленно приступить к созданию демократического государства путем созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого и тайного голосования...»

И вдруг Южин насторожился: на эстраду медленно поднимался, тяжело и часто дыша, Мясоедов. «Этого надо послушать, этот поумнее других». И действительно, адвокат ошеломил своих единомышленников первой же фразой:

— Мне правится резолюция, предложенная гражданами рабочими. Это умная резолюция, граждане!

Южин знал ум этого человека, но еще больше угадывал в нем ловкость, хитрость, умение предвидеть события, чтобы обернуть их в свою пользу. Если Мясоедов хвалит, надо подумать, к чему он клонит.

Разве не ему хотелось бы превратить надвигающуюся революцию в дворцовый переворот? Что же теперь заставило его хвалить рабочую резолюцию?

Мясоедов вскинул руку и, обращаясь к гласным, среди которых в большинстве были купцы и помещики, театрально воскликнул:

— Не бойтесь идти с революционерами, не бойтесь идти с теми, кто шел впереди и часто подвергался гонениям!

Гласные презрительно фыркали. Рабочий Скворцов, только что читавший текст резолюции, наивно воскликнул:

— Вот именно. Вот и правильно!

Южин посмотрел на него так, что тот замолчал.

— Я обращаю ваше внимание,— продолжал старый пародник,— на то, что в комитете Государственной думы — Чхеидзе и Керенский. Это значит, что победили низы, иначе их в комитет не пустили бы.

Мясоедов предупредительно поднял палец.

— Это есть громадная победа русского пролетариата, и с ней надо считаться.

Мясоедову аплодировали рабочие, и Южина это снова насторожило: старый хитрец хотел бы, чтобы этим «победа пролетариата» и ограничилась. Пусть победил пролетариат, а правит Родзянко с помощью Чхеидзе и Керенского. Ох и штучка... А фразы-то, фразы...

— Я прошу вас отнестись к этому как к нормальному факту («неизбежному, увы!» — слышалось в этих словах),— продолжал примирительно Мясоедов, почувствовав педовольство гласных.— Вам нужно объединиться со всеми и вместе продумать такой образ действий, который закрепит власть за народом.

«Отцы города» хранили молчание. «Даже этого хитреца не жалуют. А ведь он спасти их пытался».

С места вскочил гласный Никонов, кадет. Весь пунцовый от злости, он еще с места и по пути на эстраду что-то кричал и размахивал руками.

— Я не могу согласиться с почтенным Мясоедовым,— ехидно сказал он.— Мы еще не знаем, что случилось и кто победил.

В зале послышался смех.

— Да, да. Настоящий момент настолько серьезен, что в наших действиях мы должны руководствоваться прежде всего принципом целесообразности и не должны слишком замахиваться...

Крик, шум, свист покрыли эти слова оратора. Но Никонов никого не слушал:

— Тот же господин Мясоедов говорил о Чхеидзе и Керенском. Мне Александр Федорович рассказывал, что его давно звали в правительство, но он не шел. А сейчас... Слава богу, что он вместе с Родзянко в одном комитете.

И, обращаясь явно к тем, кто сидел позади гласных,— к рабочим, большевикам, он воскликнул:

— Исторический момент заставил их пойти со всеми, они пошли совместно для спасения страны, и у них, господа, пужно учиться политической мудрости.

— Это будет наш самый злобный враг,— заметил Милютин, направляясь к трибуне.

«Под знамя Чхеидзе и Керенского собираются все — и буржуа, и их лакеи... Что ж, это не такая уж неожиданность для нас»,— подумал Васильев.

Собрание, как и следовало ожидать, закончилось взрывом. Саратовские либералы наконец не выдержали. Игра в демократию им надоела.

— Это невыносимо! — кричал председатель земской управы Гольдберг.

— Они хотят нашу революцию испортить! — вопил Никонов.

Усложнявая оратора-рабочего, которому только что гласные не дали договорить, Михаил Иванович сказал громко, чтобы слышали все:

— Ничего, рот они нам не закроют. Завтра у нас будет другая аудитория. И мы поговорим с ней на своем языке. На нашем, рабочем.

Саратов, 2 марта.

«Вечером в нижнем зале городской думы состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов. Присутствовало 58 депутатов от 29 предприятий. В исполнительный комитет прошли от большевиков М. И. Васильев-Южин, В. П. Милютин, И. А. Галактионов, К. И. Плаксин, от меньшевиков — П. Я. Колесников, И. А. Скворцов, Ткачев и от эсеров — М. И. Садаев. Председателем исполнительного комитета был избран В. П. Милютин, товарищами председателя — М. И. Васильев-Южин и меньшевик И. А. Скворцов».

Саратов, 3 марта.

«В час ночи состоялось организационное заседание созданного буржуазией общественного городского исполнительного комитета. Председателем комитета избран присяжный поверенный, член I Государственной думы А. А. Токарский. Представитель Совета рабочих депутатов М. И. Васильев-Южин предложил немедленно арестовать губернатора. Кадеты с ним не согласились».

Саратов, 3 марта.

«К пяти часам утра рабочие и солдаты арестовали губернатора Тверского, вице-губернатора Римского-Корсакова, помощника полицмейстера Неймана и других чиновников царского правительства. Всего в Саратове оказалось под арестом около 300 человек...»

Саратов, 4 марта.

«В помещении общества «Маяк» состоялось первое легальное собрание Саратовской большевистской организации. Был избран временный городской комитет РСДРП(б) в составе М. И. Васильева-Южина, В. П. Милютина, К. И. Плаксина, Я. Г. Фенигштейна, М. И. Хрынина и А. М. Марциновского... Комитет обратился с призывом к рабочим вступать в большевистскую партию и создавать ячейки на заводах».

Саратов, 3 июня.

«Совет рабочих и солдатских депутатов обсудил вопрос о выборах делегатов на Всероссийский съезд Советов. Были избраны большевик М. И. Васильев-Южин, меньшевик Б. Гутерман и три эсера — Васильев, Струин, Друшляков».

Михаил Иванович не первый раз за последние полгода едет в Петроград: в конце марта он побывал там в качестве делегата Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Уезжал он из Питера тогда неудовлетворенным: во-первых, в столицу еще не возвратился Ленин. Во-вторых, само совещание приняло, увы, меньшевистско-эсеровские резолюции.

Южин понимал, что и сейчас, на съезде Советов, обстановка будет нелегкой. Но одно радовало: он снова увидится с Лениным, снова услышит его.

Ленин показался Южину очень усталым, в его глазах была большая и глубокая озабоченность.

— Я рад вам, — тихо сказал Владимир Ильич. — Нас, большевиков, здесь, на съезде, не так уж много — десятая часть всех делегатов.

— Владимир Ильич, саратовские большевики пе-

редают вам самый горячий привет. Мы всегда с вами, Владимир Ильич.

— Спасибо. О Саратове вы мне еще расскажете, да поподробнее. У вас там тоже так много буржуазно-демократических шмелей и трутней?

— Хватает, Владимир Ильич...

— Без этого революции не бывает. Грозный призрак пролетарской демократии изрядно кое-кого попугал. Ну да мы тоже не будем сидеть сложа руки. Пусть на этих господ с министерскими портфелями надавит пресс пролетарской общественности. Вы присмотритесь к этим обезумевшим от страха меньшевикам и эсерам. Как бы это выглядело смешно, если бы не было так печально!

Смольный был похож на вращающуюся карусель: суетились, шептались всякого рода социалистические лидеры, собирались кучками и чуть не дрались меньшевики, грозя кулаками большевикам.

Многих из меньшевистских и эсеровских лидеров Михаил Иванович знал в лицо. Промчался, закашлявшись, лидер меньшевиков Юлий Мартов. А вот, никого не замечая и низко опустив голову, прошел, заложив руку за борт зеленого френча, Александр Керенский. Вон тот самый Чхеидзе, который остался равнодушным к судьбе своего единомышленника Ломтатидзе. Он прошел мимо Южина, близоруко прищурился и величественно поклонился.

Что ни говори, а Владимир Ильич резонно окрестил меньшевиков подлыми революционными предателями. Как важно оградить от них рабочую массу! Ведь контрреволюция собирает силы, чтобы погасить, затушить разгоревшееся пламя.

Меньшевики и эсеры устремились на заводы, фабрики; они пускали в ход свое неудержимое красноречие. Сентиментально надрылся, едва не плача,

«селянский министр» эсер Чернов. Разливал свои сладкопения меньшевистский златоуст Церетели...

Лозунги большевиков были определены: «Долой десять министров-капиталистов», «Вся власть Советам!» Рабочие массы, по мнению большевиков, должны были потребовать от социал-демократов взять власть в свои руки и завершить демократическую революцию.

Когда Южин пришел в Смольный, он тут же узнал, что его как председателя большевистской фракции приглашают на заседание ЦК.

Ленин выглядел еще более утомленным и озабоченным, чем вчера,— видимо, Владимир Ильич не спал и эту ночь...

На заседании речь шла о демонстрации петроградского пролетариата, назначенной ЦК на 10 июня. Большевики понимали, что, настаивая на проведении демонстрации, они противопоставят себя съезду Советов, который под нажимом меньшевистско-эсеровского руководства запретил проведение любых демонстраций. И кроме того, буржуазия стремилась спровоцировать столкновение рабочих и солдат с контрреволюционными элементами, что дало бы предлог обвинить большевиков в заговоре и расправиться с ними.

Кто-то предложил пойти в соседнюю комнату, где заседают меньшевики, чтобы выступить на их совещании.

— Зачем? Потерянное время,— резко ответил Ленин.— Можно с уверенностью предсказать, что там произойдет.

И он, неожиданно повеселев и оживившись, сказал, не скрывая сарказма:

— Церетели произнесет одну из своих истерических речей, обрушится на нас с обвинением, что мы,

мол, «шансним кинжалом удар в спину революции»...— Владимир Ильич выдержал паузу,— требует разоружения рабочих — классическое требование всех контрреволюционеров — и так далее и тому подобное. Не знаю, как вам, а мне это надоело.

Южин знал отлично, что Владимир Ильич обладает удивительным даром предсказывать поведение того или иного человека,— он убедился в этом еще в пятом году. Природу этого дара Южин видел в умении анализировать сущность и характер людей — и друзей и врагов, их мысли, силу и слабость.

Когда Южин вошел, Церетели уже говорил. Михаил Иванович поразился. Надо же такому случиться: оратор выкрикивал слова «нож в спину революции», «отобрать оружие у рабочих». Буквально слово в слово.

И вдруг среди всех этих воплей раздалось ошале- лое рыдание. Какой-то офицер, схватившись за волосы, громко, по-бабьи, всхлипывал.

— Утрите ему нос,— воскликнул кто-то.

— Вот они, слезы борца, слезы воина,— патетически воскликнул Церетели.

Это становилось невыносимым.

— Пошляк и предатель! — крикнул Южин и вышел, хлопнув дверью.

Желание увидеть Ильича, немедленно рассказать о том, как разыграли меньшевики комедию будто по написанному им сценарию, было велико, однако Южин не мог его пойти.

Ленин пришел в Смольный около двух часов ночи. Он дал согласие не отложить, а отказаться вовсе от демонстрации. Владимир Ильич сказал твердо и решительно:

— Я соглашаюсь на отмену демонстрации, так как при нынешнем поведении меньшевиков неизбеж-

но кровавое столкновение. Но ничего, настанет время и для решительного боя. Оно уже не за горами.

Меньшевики и эсеры торжествовали.

Газета «Правда» в этот день выглядела необычно: там, где должны были находиться лозунги рабочих-демонстрантов, напечатано постановление ЦК об отмене демонстрации. А вместо передовой статьи зияло пустое место.

Рабочий Петроград, хотя и был полон революционного энтузиазма, вял призыву большевиков: 10 июня ни одна фабрика, ни один завод, ни один полк не вышли на улицы и площади столицы.

— Что же, господа эсеры и меньшевики могут сделать из этого факта некоторые выводы и понять, к кому нынче прислушиваются рабочие,— говорил Ленин.

А через несколько дней съезд Советов под давлением масс вынужден был назначить демонстрацию на 18 июня.

Центральный Комитет, в свою очередь, призвал петроградский пролетариат выйти на улицы города и продемонстрировать свой протест против наступления контрреволюции.

Владимир Ильич сказал Южину:

— Меньшевики, конечно, попытаются превратить эту демонстрацию в манифестацию доверия Временному правительству.

— Несомненно, Владимир Ильич. Насколько мне известно, они готовятся к ней тщательно.

— Что значит — готовятся?

— Сколачивают трибуны, намерены принимать парад верности и преданности.

Ленин посмотрел на Южина чуть лукавым взглядом.

— Глухие не слышат, слепые не видят, а наши грамотеи ничегошеньки не понимают в классовой борьбе. Уверяю вас, Михаил Иванович, что в этот день на Марсовом поле будет очень много музыки... Очень...

И Владимир Ильич многосзначительно поднял палец.

Дождь и солнце — такая погода в Петрограде летом не редкость. Но это утро оказалось необычным своими событиями. На Марсовом поле были установлены трибуны, и «социалистические министры» важно подъезжали к ним на своих автомобилях — меньшевики ждали демонстрации.

Такой пышности Михаил Ивапович не предполагал.

— Не угодно ли с нами на трибуну? — с победоносным видом окликнул его Чхеидзе.

— Нет, благодарю, у большевиков другая трибуна, — ответил Васильев.

Действительно, чуть в стороне реяло алое знамя. К нему собирались члены Центрального Комитета. Настроение было не лучшее. Если меньшевики и эсеры заранее так ликуют, значит, подготовились, значит, возможны лозунги «Доверие Временному правительству!».

Но Южин помнил слова Владимира Ильича насчет того, что эти мещане ничегошеньки не понимают в классовой борьбе. Значит, Ленин предвидел иное... Что же?

Загремела музыка. Показались ряды демонстрантов. Выглядели они удивительно стройно и красиво. Алые всполохи знамен, широкими лентами — плакаты и лозунги.

На трибуне — ликующие министры с красными бантами на груди. Южин посмотрел на них, и ему вдруг стало смешно: уж очень по-петушиному выглядело это Временное правительство.

А музыка все ближе и ближе. Все отчетливее буквы на лозунгах, которые несут демонстранты.

Южин усмехался: «Нужно ли придавать этому такое большое значение? Ведь меньшевики и эсеры не пришли бы сюда, если бы заранее не подготовились к этой демонстрации, не протасили бы свои призывы, не были бы, наконец, уверены в своей победе...» И все-таки очень хотелось услышать от рабочих их мнение.

Вот уже совсем близко первая колонна. Южин смотрит, слушает выкрики из рядов демонстрантов и невольно поворачивает голову к трибуне: там, совершенно растерянные, переглядываясь и в чем-то упрекая друг друга, стоят Керенский и компания. Ах не ожидали, господа...

А стоящие рядом с Южиным члены ЦК кричат «ура!», приветствуя демонстрантов и их лозунги. Рабочие лозунги! Большевистские лозунги!

«Долой министров-капиталистов!»

«Вся власть Советам!»

Но вот демонстранты остановились. Люди, несшие красные флаги, повернулись к знамени, под которым стоял ЦК, и молча склонили перед ним свои районные и заводские знамена.

И снова загремело «ура!», заколыхались на ветру кумачовые стяги. Вот рядом со знаменем ЦК устанавливают знамя Петроградского комитета...

Нет, Южин не мог сдержать слез. Да это же победа! Вот она, классовая борьба.

Южин с любопытством поглядывал на вельможных министров; те недоуменно пожимают плечами, о

чем-то перешептываются, глядя куда-то вдаль, точно ждут кого.

Михаил Иванович понимает: министры надеются на войска. Но теперь уже спокойней на душе у Южина: рабочий Петроград единоклюбен, а это много значит.

А как же войска?

Сейчас подойдут первые полки. Уже слышен чеканный, словно отлитый из металла, тяжелый солдатский шаг. Перед кем склонят они свои знамена?

Тревога рассеялась, когда появились первые колонны. Они склонили свои знамена перед знаменем ЦК большевиков. И лишь один казачий полк пронес мимо лозунг «Доверие Временному правительству!». Даже на трибуне, среди меньшевиков и эсеров, это не вызвало, однако, энтузиазма.

Колонны все идут и идут — рабочие, солдатские... Вот степенно, зная себе цену, движется Нарвский район. В его рядах нет музыки — здесь пение. Рабочие поют «Интернационал». Их лозунги — «Да здравствует социалистическая республика! Да здравствует социалистическая революция!».

Когда вечером Южин рассказывал о демонстрации Владимиру Ильичу, он чувствовал, что Ленин уже все знает, что ему уже не раз об этом рассказывали. Но как улыбается Ильич, как добродушно-лукаво щурит глаза!

Перед отъездом в Саратов они беседовали долго. Владимир Ильич предупреждал, что буржуазия добровольно власти не отдаст, что следует ожидать новых схваток и столкновений.

Газета «Известия Саратовского Совета» писала:

332 *«На пленарном собрании Совета с докладами о работе Всероссийского съезда Советов рабочих и солдат-*

ских депутатов выступили его делегаты — большевик М. И. Васильев-Южин и меньшевик Б. Гутерман. В полуторачасовой речи Васильев-Южин подверг острой критике Временное правительство и соглашательские партии эсеров и меньшевиков».

Весть о том, что Михаил Иванович Васильев-Южин избран конференцией большевиков Саратова делегатом на Шестой съезд партии, вызвала неожиданную реакцию Марии Андреевны.

В это горячее время Мария не могла оставаться в стороне. Она с радостью взялась за дело — ее назначили комиссаром по жилищным вопросам. Но Валюша еще мала, она требовала так много забот, что Мария разрывалась.

— Слушай, Михаил, я понимаю: это большая честь и высокое доверие. Но я-то? Как мне-то быть с Валюшей? На кого ее оставлять? Ты хоть редкий гость в доме, но, когда ты здесь, я спокойна.

Михаил Иванович держал на руках Валюшу. Как подросла она, какими осмысленными стали ее глазенки, какие черные кудри рассыпались по плечам — прелесть!

— Что же с тобой делать?

Неожиданно Кирилл Плаксин, который тоже был избран делегатом на съезд, решил помочь Южиным выйти из затруднительного положения.

— Знаю я одну надежную девушку — в прислугах прежде ходила. Теперь заявила, что на буржуев работать не хочет. А на завод ей нельзя: надорвалась она, работая на господ. У вас ей будет нетрудно.

Девушку звали Таней. Лет ей было двадцать, а то и больше. Внешне она выглядела здоровой и крепкой, но, как она выражалась, «маялась руками».

Видно, застудила их, полоская белье в студеной Волге.

Родом она была из деревни; где-то под Сызранью жили в бедности ее родители. Ни читать, ни писать Таня не умела, да и считала только до рубля.

Она была огромного роста. Михаил Иванович шутку величал ее волжским богатырем. Таня не возражала. Лишь однажды заметила мечтательно:

— Какой я богатырь... Вот есть у нас Вася Горюн, вот тот — богатырь.

И она выразительно посмотрела вверх, на потолок, как бы примеряясь к росту Васи Горюна, который, видимо, был предметом ее тайных вздыханий.

Эта рослая неразговорчивая девушка всей душой привязалась к маленькой Валюше, и та платила ей взаимностью. Постепенно Таня стала своим человеком в доме. Не привыкшая к безделью, она была не помощницей, а настоящей хозяйкой.

Ленин. Особенно в последнее время враги безудержно клеветуют и льют грязь на его имя. Южин не мог без отвращения слышать фамилию Алексинского, того самого Алексинского, с которым в пятом году его свела судьба во время событий в университете. Этот предатель еще смел называть себя большевиком! Впрочем, уже тогда он проявил себя изрядным эгоистом и трусом. А вот сейчас этот негодяй оклеветал Ленина, обвиняя его в шпионаже в пользу Германии. Южин никогда не симпатизировал Алексинскому, но такой мерзости не ожидал даже от него. Именно сейчас, в эти дни, желание увидеть Ленина, пожать ему руку было особенно велико.

ветственный момент ее жизни, и оттого на душе было и радостно, и тревожно.

В Петербурге на этот раз стояла ясная погода — солнечная, жаркая. Под голубым небом даже Нева казалась прозрачной, блестели ослепительно купол Исаакия и игла Адмиралтейства. Ах этот пушкинский «град Петра», это удивительно гармоничное создание рук человеческих! Сколько раз восторгался Михаил его могучими набережными, мостами... Сколько раз останавливался он на Аничковом мосту и не мог оторвать глаз от поразительных, истинно живых копей Клодта.

С нетерпением ожидая встречи с друзьями, он ехал на Выборгскую сторону — туда, где должны были состояться первые заседания съезда.

Друзья! С некоторыми из них он не виделся много лет. Вот старый товарищ Ольминский, с которым познакомила их Женева. А кто этот вихрастый мужчина в пенспе? Неужели тот самый юноша, который встретился Южину в Одессе в 1905 году, во время событий на «Потемкине»?

— Здравствуйте. Моя фамилия Ярославский. Мы встречались с вами не только в Одессе, но и в Москве. К сожалению, поговорить в Москве не удалось. Я вас отлично помню, товарищ Южин.

— Я очень рад, товарищ Емельян. Наслышан о вас...

Очень хотелось встретиться с кавказцами. Степан Шаумяна уже видел — будто не расставались вообще... Южин был по-детски рад встречам. И все-таки он искал глазами еще кого-то.

— Знаю, кого ждешь, — без всякой обиды сказал Степан. — А вон посмотри туда... Узнаешь?

Да, он узнал сразу: присев на подоконник, с кем-то оживленно разговаривал Алеша Джапаридзе.

Они обнялись и так ни о чем и не спросили друг друга. Лишь показалось Южину, что блеснула на глазах темпераментного бакинца слезинка. Если бы они знали, два старых товарища, что видятся в последний раз...

— Здравствуй, Михаил, ты еще не научился окать по-волжски?

Ну конечно же это Розалия Землячка...

— Здорово, москвичка!

— Вот именно москвичка. Жаль — не дожил до этих дней Марат.

— Да, это верно, — с грустью заметил Южин. — Много, много друзей потеряно...

Южин уже знал, что Лепина на съезде не будет. По решению ЦК он ушел в подполье. А вопрос о том, должен ли он явиться на суд, как раз и должны были решить делегаты.

...Они шли по Невскому втроем — Алеша Джапаридзе, Землячка и он, — когда вдруг его окликнули:

— Ба, Михаил Иванович!

Южин мог ожидать чего угодно, только не этой встречи. Перед ним стоял Алексинский. Землячка, знавшая его в лицо, остановилась, пораженная: человек, оклеветавший Ленина, еще смеет разговаривать с большевиками!

— Ты не рад встрече? — невинно спросил Алексинский.

— Рад, — искренне ответил Южин, повергнув в молное недоумение Землячку. — Когда еще представится возможность дать предателю полновесную пощечину.

Алексинский не успел увернуться от удара, он только схватился за щеку и тотчас исчез в какой-то подворотне.

— Кто это? — спросил Джапаридзе.

— Алексипский.

Алеша от досады закрипел зубами.

— Так что ж ты мне раньше не сказал? Я бы ему добавил.

Слово для доклада Васильеву-Южину предоставили на седьмом заседании. Южин заметно волновался. Председательствовавший Яков Михайлович Свердлов шепнул ему:

— Ну, ну, Михаил Иванович, за вами вся Волга и все волжане. В том числе и я. Так что не подводите.

Южин пожал Якову Михайловичу руку, улыбнулся.

— Постараюсь. Я буду предельно краток.— И, уже обращаясь к съезду, он начал свой доклад.— Область Поволжья обнимает целый ряд губерний по Волге, начиная с Казани и кончая Астраханью... Это край по преимуществу земледельческий. Городская промышленность там в самом зачаточном состоянии. Только если мы будем подниматься постепенно на север, становится заметным рост рабочего населения. Например, в Самаре, где населения меньше, чем в Саратове, насчитывается уже до сорока тысяч рабочих, а в Казани их семьдесят. В большинстве же уездных городов чисто пролетарский элемент весьма немногочислен... Тем не менее мы создали целый ряд крупных организаций. Так, в Самаре насчитывается около четырех тысяч организованных рабочих, в Саратове — три тысячи двести...

Михаил Иванович долго думал, нужно ли на съезде оперировать цифрами, не проще ли сделать выводы, коротко проинформировать о положении дел. Нет, съезд партии — это ее высший орган, и он должен знать все.

Южин говорил о трудностях, о нехватке профессиональных, подлинно интеллигентных партийных работников, о необходимости создать курсы молодых партийцев, готовить из них кадры партийных вожakov.

Часть своего доклада Васильев посвятил большевистским газетам, борьбе против кадетов, эсеров и меньшевиков.

Хотелось сказать больше, но он понимал, какой строгий регламент на съезде, как дорого время каждому делегату.

Потом выступали представители Донецкой, прибалтийских организаций, нефтепромышленного района Грозного.

Сентябрьские выборы в Саратовский Совет третьего созыва должны были показать многое: удалась ли меньшевикам и эсерам их подлая провокация, подорвали ли они влияние большевиков среди рабочих и солдат, оклеветав Ленина.

Выборы должны были определить и линию поведения большевиков. В конце концов, могли же соглашательские партии путем обмана привлечь на свою сторону какое-то число избирателей.

Партийный комитет, который возглавлял Васильев, находился в помещении Крытого рынка, в самом центре Саратова. Адрес: Крытый рынок, окно № 10, — был хорошо известен саратовским рабочим. Помещалась здесь редакция большевистской газеты, создавались партийные обращения и брошюры.

Южин пришел на заседание расстроенным, и причиной тому была Таня, вернее, письмо, которое она получила из деревни.

Таня попросила Михаила Ивановича прочитать это письмо, и он был немало озадачен категоричным утверждением «могучего Васи», что Ленин и есть «первейший шпион кайзера Вильгельма» и что «ноне» надобно решить, кто в России победит — «немцы или мы, русские...».

— Как ты думаешь, Танюша, мы с Марией Андреевной похожи на шпионов?

— Не-е-е,— пропела девушка.

— А ведь мы с Лениным заодно.

— Ну-у-у? — изумилась Тапя.

— Хочешь,— продолжал Южин,— я сам напишу ответ твоему Васе?

— Но-о-о,— согласилась она. Таня «покала» во всех случаях жизни.— Сделайте милость.

— Ох, опять «милость». Не делаю я никаких милостей, я тебе не помещик. Моя мать была такой же, как и ты, по чужим домам белье стирала.

— Но-о-о! — поразилась Тапя.— А вот вы все на свете знаете,— и, поразмыслив, добавила: — Как мой Вася.

Из деревни письма приходили редко, и писал их от имени ее неграмотных родителей все тот же богатырь Вася.

И вот теперь это новое письмо. Да, оно небезобидно. Сильно еще влияние эсеров среди крестьян, если верят они подлой, грязной клевете. Клевета эта, как уже было известно, распространялась все больше и больше. Некоторые из большевиков были настроены более оптимистично: в деревне не решается судьба революции. Михаил Иванович, Ковылкин, Плаксин были другого мнения: они предложили разъехаться по заводам.

— Совет третьего созыва должен быть нашим. За железнодорожников я спокоен,— заявил Степан Ко-

вылкин.— В нашем комитете дела идут по-большевистски.— Этот рабочий парень был уже признанным лидером саратовских железнодорожников.

— И это все? — спросил Антонов.

— А чего же еще? — вопросом ответил немногословный Ковылкин, вызвав всеобщий смех.

— Что ж,— резюмировал Южин,— пожалуй, мы пойдем по своим местам. Я — в войска, Антонов — на завод «Жесть». Словом, по своим боевым местам, товарищи! Меншевики и эсеры сделали свое дело — предали рабочих. А мы должны показать, кто выразитель интересов пролетариата.

В эти дни «Известия Саратовского Совета» писали:

«Подведены окончательные итоги выборов в Совет рабочих и солдатских депутатов третьего созыва. Было избрано 320 большевиков, 103 эсера и 76 меньшевиков. Большевистская фракция в рабочей секции увеличилась до 164 членов, в военной — до 156. От меньшевистской партии в рабочую секцию прошло 72 человека, а в военную лишь 4. Эсеры потеряли 7 мест в рабочей секции и 200 мест в военной».

«Пленарное собрание Совета избрало руководящий орган. От большевистской фракции в исполнительный комитет прошло 18, от эсеровской — 8 и от меньшевистской — 4 человека».

«Состоялось заседание военной секции вновь избранного Совета рабочих и солдатских депутатов... Председателем президиума военной секции избран подпоручик большевик В. Соколов».

«На заседании исполкома состоялись выборы в исполнительное бюро Совета рабочих и солдатских депутатов. В его состав вошли 5 большевиков, 2 меньшевика и 2 эсера. Председателем исполнительного

бюро был избран В. П. Антонов-Саратовский, товарищами председателя — большевики М. И. Васильев-Южин, П. А. Лебедев и эсер Понтрягин».

Октябрь семнадцатого года был дождливым и ветреным. Тучи низко шли над Волгой и словно стремились удержаться за нее косыми линиями дождя.

Южин второй день не выходил из дому: перемена погоды уложила его в постель, вызвала тяжелые приступы кашля и головную боль.

Наглотавшись пилюль, которыми лечила его Мария, Михаил Иванович лежа писал статью для «Социал-демократа»: «В революционном воздухе России пахнет грозой. Все невольно инстинктивно чувствуют приближение решительных событий...»

Вошла Таня. Вид у нее был озабоченный.

— Что случилось, Танюша? — спросил Южин. — Опять письмо от Васи?

— Да нет, тут к вам пришли...

— Ко мне?

— Но-о-о...

— Так приглашай.

— Не могу... Мария Андреевна не велела.

— Ничего, ничего, я хорошо себя чувствую. Очень прошу тебя, разреши гостям пройти ко мне.

Против такой просьбы Таня устоять никак не могла.

Вошел Федоров, начальник городского штаба Красной гвардии.

— Здравствуй, Саша. Что-то срочное?

— Владимир Павлович Милютин приехал. Спрашивал, можно ли к вам.

— Ну конечно же.

Владимир Павлович Милютин работал теперь в 341

Москве, был на Шестом съезде снова избран в ЦК, и его приезд в Саратов, несомненно, можно связать с близкими событиями, о которых писал сейчас Южин.

— Погоди, Саша, я сейчас оденусь.

— Да он сюда придет.

— Нет, пойдём.

Таня взбунтовалась не на шутку. Она ссылалась на дождь, на наказ Марии Андреевны, на все что угодно. И наконец, стала в дверях, заявив категорически:

— Не пущу...

Она сказала это так решительно и комично, что Южин не выдержал — сдался.

— Ладно, Саша, веди сюда Милютину. Видишь, я под арестом. А ты,— обратился он к Тане,— готовь на стол: гость с дороги.

Южин подробно рассказал Милютину о положении в Саратове, о настроении рабочих и солдат, о большевистском исполкоме, в который вошли и старые знакомые Милютина по «Маяку» — Плаксин, Лебедев, Венгеров, Бабушкин.

Заметив, что Милютин отмалчивается, Васильев спросил прямо:

— Зачем пришел, Владимир Павлович?

— Поддержат ли саратовские рабочие и солдаты Петроград, если там вспыхнет восстание против Временного правительства?

«Ясно! ЦК не сидит сложа руки». И Васильев ответил твердо:

— За большинство саратовских рабочих и солдат местного гарнизона я ручаюсь. Больше того, я не ручаюсь, что солдаты не поднимут независимо от Пет-

рограда, стихийного восстания в ближайшее время. Уж очень хотят домой. Затыжка войны, июньское наступление и мятеж Корнилова крепко настроили солдат против Керенского и соглашательских партий.

Он не стал говорить о том, что солдаты в самые критические и спорные моменты требуют к себе товарища Васильева, что даже меньшевики и эсеры нередко просят его о помощи, если у них не ладится разговор с солдатами.

— В Петрограде, — рассказывал Милютин, — такое же напряженное состояние. Ленин настаивает на немедленном выступлении, однако значительная часть членов ЦК против.

— Ленин, конечно, прав. Если мы не хотим, чтоб поднялось стихийное движение, осужденное, быть может, на неудачу, мы должны стать во главе его.

Милютин хорошо знал твердый и решительный нрав Михаила. Он знал и другое: Южин всегда объективно оценивал положение.

— Хорошо, — сказал Милютин, — я сообщу ЦК партии о настроении Саратова.

Таня получила очередное письмо из деревни. «А про то, что Ленин — шпион, брехня вышла. Он и есть, стало быть, за всех бедняков...»

— Это твой Вася пишет? — спросил Южин.

— Но-о-о, — с гордостью ответила Таня.

Слухи ползли по Саратову самые невообразимые. Московская улица, где помещалась дума, была запружена пародом.

— Слыхали? Опять революция.

— Где революция?

- Говорю же вам — в Петрограде.
— И кто же теперь?
— Сказывают, опять царя поставили...
— Дура! Какого царя! Керенский большевиков бьет.
— Сам ты дура. Не Керенский большевиков, а большевики — Керенского...
— Нашего-то? Саратовца?
— А власть-то у кого?
— Да нет ее, власти-то. Нету...
Обыватели собирались группами, но тут же расходились, словно боясь услышать за спиной свисток городского.

Антонов-Саратовский пришел в Совет и застал там Южина.

- Ты ничего толком не знаешь?
— Нет, — ответил Южин. — Но думаю — свершилось...
— Почему ты решил?
— Видел сегодня меньшевика Черткова. Слишком любезен.
— А я, представь, эсера Минина. Не поздоровался.
— Вот видишь, — рассмеялся Васильев. — Значит, жди депутации. Видать, что-то сообщили им из Петрограда друзья по предательству.

Представители меньшевиков и эсеров не заставили себя долго ждать.

— Мы просим, — начал было один из лидеров саратовских эсеров, Минин, которого Южин считал тупым и твердолобым, — нет, не просим, предлагаем вам собрать экстренное совещание большевиков совместно с фракцией исполкома...

— Вы уверены, что имеете право нам предлагать? — резко спросил Южин.

Антонов остановил его:

— Давай выслушаем.

— С вами невозможно разговаривать, товарищ Васильев,— обиделся Минин.— Вы придираетесь к словам. А между тем у нас есть для вас и экстренное сообщение, и деловое...

— Дружеское,— вставил меньшевик Майзель.

— Вот именно, дружеское предложение,— пробасил Минин.

Южин посмотрел на Антопова, в глазах обоих загорелись лукавые искорки.

— Что ж, если дружеское, тогда валяйте. Мы соберем своих товарищей сегодня же.

Октябрь был холодный. Вокруг дома губернатора, где помещался Совет,— видного двухэтажного особняка за ажурной оградой — шумели, сбрасывая листву, высокие тополя. Один за другим входили в здание рабочие, представители большевистских комитетов. Вошел и Степан Ковылкин.

— Я жду тебя, Степан,— позвал его Михаил Иванович.— Вот что. Сегодня меньшевики и эсеры собираются предъявить нам ультиматум. Мы должны точно знать, какие сведения получены телеграфом.

— Понял,— остановил Южина Ковылкин.

— А понял — вперед. Подбери ребят, да и там, среди телеграфисток, есть наши товарищи. Мы все должны знать точно. Не зря ведь так запрыгали эти блохи.

Южин предчувствовал, что завтра — решающий день.

— Надо готовиться к захвату банков.

— Операцию с банками возглавлю я сам,— сказал Антонов, и Васильев согласно кивнул.

— Словом, товарищи, если меньшевики заговорили ласково, нужно держать оружие наготове.

Ковылкин, побывавший на телеграфѣ, сообщил, что 25 октября в ноль часов тридцать пять минут получена телеграмма о начале вооруженного восстания рабочих и солдат Петрограда. Членам партии эсеров телеграфного окружного комитета предлагалось установить контроль за прохождением информации: материалы, призывающие к восстанию, конфисковывать и направлять в Петроград, в главную телеграфную контору, где установлено дежурство членов Центрального комитета Всероссийского союза почтово-телеграфных служащих.

— Губернский комиссар Тапуридзе, — докладывал Ковылкин, — распорядился усилить охрану города. Для охраны почты и телеграфа брошены юнкера.

— Зашевелились... Отлично! Ну да мы тоже не намерены сидеть сложа руки. Кто подписал телеграмму из Петрограда?

— Министр Малянтович.

— А, милейший Павел Николаевич. Что ж, Марат еще в пятом году предсказывал этому либеральчику прямой путь к предательству.

— Вы знакомы с ним?

— Был знаком в Москве. Присяжный поверенный. Всю жизнь хотел оставаться добрым дядей. Нет уж, милый Павел Николаевич, революция всех расставит по местам.

Вбежал дежурный.

— Там какая-то девушка спрашивает Ковылкина.

— Вот видишь, Степан, — пошутил Васильев, — как сразу вырос авторитет. Зовите девушку сюда, — обратился он к дежурному.

Маленькая курносая телеграфистка, совсем девочка, бойко заявила:

— Разрешите вручить дополнение к ночной телеграмме.

— Ну те-с,— протянул руку Михаил Иванович, но девушка вопросительно посмотрела на Степана. Лишь получив молчаливое позволение, она вручила бумажку Южину.

Антонов, едва сдержавший улыбку, сказал:

— Молодец, товарищ телеграфистка! Революционная дисциплина — прежде всего.

Девушка смутилась и выбежала из кабинета.

Южин читал:

— «Телеграф Петрограда занят большевиками. Просим все телеграммы, призывающие к ниспровержению Временного правительства и неисполнению боевых приказов, задерживать. За министра почты Малянтович».

На межпартийное совещание меньшевиков, эсеров и большевиков пошли втроем — Васильев, Антонов и Лебедев. Настроение было приподнятым,— линия Ленина в ЦК победила. Значит, вооруженное восстание в Питере началось.

— Интересно, чего хотят от нас эти временные? — озабоченно спросил Лебедев.

— Предательства, чего же еще,— ответил Антонов.

Совещание началось в шесть часов вечера. Не откладывая дела, слово взял эсер Минин.

— Вы, вероятно, уже знаете, что петроградские большевики начали под предводительством ЦК предательский мятеж против Временного правительства.

— Нельзя ли полегче,— резко оборвал Южин.

— Ничего,— кипятился Минин,— Временное правительство и революционная демократия без пощады раздавят преступную кучку мятежников.

Антонов встал:

— Если желаете продолжать в таком духе, мы уйдем. Говорите прямо, чего вы хотите.

Минин уже не в состоянии был сдержать себя.

— Во избежание местных осложнений,— зло говорил он,— мы требуем, чтобы Саратовская организация большевиков публично и решительно осудила мятежные действия ЦК партии и петроградских большевиков.

Южин вскочил. Такой наглости он не ожидал даже от эсеров. Антонов нервно трепал свою бороду, а Лебедев даже кулаки сжал.

Меньшевик Чертков призывал: мол, пожалуйста, во имя престижа нашего города, ради спокойствия...

— Понимаете ли вы,— не выдержал Васильев,— сознаете ли вы сами, чего вы требуете от нас? Ведь вы хотите, чтобы мы поступили как жалкие трусы и предатели. Как смее вы думать так о нас? Как смее предъявлять нам подобные требования?

Антонов отметил про себя, что Чертков и Минин сразу умолкли. Он знал: меньшевики и эсеры боятся этого человека, боятся его убежденности, бескомпромиссности, его образованности и красноречия. Они боялись его влияния на рабочих и солдат, его непрекаемого авторитета. Они понимали, что за спиной этого человека стоит весь трудящийся Саратов.

— Впрочем,— продолжал, чуть успокоившись, Южин,— вы, мешане, иначе и не можете поступать. Но саратовские большевики всегда были и останутся честными, смелыми большевиками, и от лица всех своих товарищей, без всякого обсуждения вашего гнусного предложения, я заявляю вам: мы всеми нашими силами, не останавливаясь ни перед чем, поддержим наших петроградских товарищей. Не так ли, товарищи?

И Антонов, и Лебедев ответили тут же:

— Правильно!

— В таком случае,— объявил Минин,— мы выходим из Совета.

— И мы,— поддержал Чертков.

— Ну что ж, скатертью дорога.

Южин почувствовал усталость. Все-таки сказывалось напряжение сегодняшнего дня.

— Владимир,— обратился он к Антонову,— ты уж, пожалуйста, проведи сегодня совещание с нашими товарищами — членами военной секции и железнодорожниками. Пусть снесутся с гарнизоном и держат порох сухим. А сейчас нужно сообщить о том, что произошло, городскому комитету партии.

Решение комитета РСДРП(б) было единодушным: поведение Васильева, Антонова и Лебедева одобрить. Установить дежурство ответственных членов комитета в исполкоме, на предприятиях и в полках. Созвать 26 октября экстренное заседание Совета депутатов вместе с представителями профсоюзов и фабзавкомов.

А вечером обессиленный Южин отправился на экстренное заседание думы. Он еще раз убедился, что предательству меньшевиков и эсеров нет предела. Они создали орган для поддержки Временного правительства — «Комитет защиты революции», и беспокойный, горячий и вспыльчивый Мицкевич заявил от имени большевиков:

— Этот комитет правильнее назвать «Комитетом защиты от революции», и большевики в него не войдут!

Мария уже несколько дней не видела мужа. Он прислал товарища сообщить: как только улучит ми-

пути, забежит домой. Мария понимала — сейчас самые решающие дни.

Он тоже понимал это. И за бесконечными делами и заботами вспоминал свой последний разговор с Владимиром Ильичем Лениным. Прощаясь после съезда Советов, Владимир Ильич спросил:

— Вы, батенька, говорят, еще один университет закончили... И языки освоили. Это прекрасно. Но не кажется ли вам, дорогой друг, что наш главный университет — революция и что всем нам предстоит овладеть еще одним языком — языком пролетарской диктатуры? Не эти ли дни должны стать наиболее строгими и бескомпромиссными, оценку за которые выставит история, выставит будущее?

Да, выдержать этот экзамен непросто.

Южин понимал, что главные бои еще впереди, что это только начало.

Выстрелов не было. Да и нужны ли они, если цель достигается пока мирными средствами?

И все-таки уже сегодня грозили войной три эсеровских офицера — они считали себя лидерами солдат. Это все тот же Понтрягин, демагог и политикан, давно растерявший свой авторитет, это жаждущие власти Неймиченко и Диденко. Когда началось заседание военной секции, которой руководил молодой подпоручик Соколов, они отсутствовали. Это обеспокоило Южина: значит, что-то замышляют «господа офицеры». Не окажется ли этот юный Соколов под их влиянием?

Они пришли с большим опозданием и с генеральским видом объявили о своем решении создать «военную диктатуру».

Южин понял: этот ход эсеровских лидеров прикрывается милым лозунгом — «избежать кровопролития».

— Отлично! — воскликнул Южин. — И на кого же будет опираться ваша диктатура? Разве вы не знаете, что большинство рабочих и солдат — за Совет? Кому же вы собираетесь диктовать, господа диктаторы?

Колонное здание консерватории служило в те дни местом пленарных заседаний Совета. Именно здесь, в присутствии рабочих и солдат, их депутатов и представителей, и решили Антонов и Васильев дать бой повоявленным диктаторам.

И уже при первом голосовании фамилии эсеровских лидеров были освистаны.

— Вот вам и вся диктатура, — сказал Южин Пон-трягину.

Но тот решил не сдаваться. Он предъявил ультиматум, грозя союзом с генералом Калединым.

А в ответ послысь выкрики:

- Долой предателей!
- Стащить с трибуны!
- Бей наполеончика!

И вот уже на трибуну поднимается Антопов.

— Вы лжете, вы хотите самым подлым образом обмануть рабочую и солдатскую массу. Это вам не удастся. Солдаты, кто из вас против восставших рабочих и солдат Петрограда? Никто! Кто из вас против власти Советов? Таких тоже нет! А может, и есть, да не посмеют сказать об этом. Кто за Совет? Кто за рабочую и солдатскую власть?

И тысячи рук взметнулись ввысь, и прогремело в этом консерваторском здании тысячеголосое «ура».

— Я так и знал, — продолжал Антонов. — Вот вам и ответ Совета. Да здравствует восставший пролетариат Петрограда! Да здравствуют саратовские рабочие!

Южин видел, как вскочили с мест меньшевики и эсеры. Уходят!

— Теперь пошли в дом губернатора. Будем исполком проводить. К утру все должно быть ясно.

Шел четвертый час ночи.

Темны, хоть глаз коли, осенние саратовские ночи. Небо закрыто свинцовыми тучами, и ни луны, ни звездочки па всем огромном небосводе. Обычная ночь на исходе октября над туманной, тронутой первыми студеными ветрами Волгой...

Обычная? Нет, потому что утром для Саратова настанет новое время. Потому что на этом исполкоме будет избрано исполнительное бюро — олицетворение новой власти, будет назначен новый начальник гарнизона — сочувствующий большевикам штабс-капитан Петр Карпович Щербаков, смещен губернский комиссар Топуридзе и заменен Лебедевым, принят написанный рукой Михаила Ивановича Васильева-Южина «Приказ № 1» Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Примчавшийся в Совет Мицкевич был взволнован: дума решила дать бой Советам.

— Да расскажи толком, что произошло?

— Дума решила объявить себя центром всей городской власти. Журналист Диев прочитал телеграмму, что, мол, Керенский идет на Петроград, и подняли головы всякие чертковы...

— Так вот почему на Совете меньшевики кричали о том, что власти большевиков приходит конец, — зло заметил Южин.

352 Обыватель терялся. Кому же верить? За кем идти? Не прогадать бы...

Вот висит на стенке приказ большевиков: «Всем служащим в правительственных и общественных учреждениях оставаться на своих местах и беспрекословно подчиняться распоряжениям Саратовского Совета и его органов...»

Кажется, ясно сказано. Так нет же! Дума требует своего, и ее призыв висит на той же стенке: «Дума призывает всех солдат и офицеров, всех способных к ношению оружия рабочих и граждан явиться с оружием или без такового в здание городской думы...»

Так все-таки — оставаться на своих местах или явиться в думу? И сколько в думе может помещаться народу? А тут еще третье объявление:

«Для защиты революции и верховных прав народа все граждане города Саратова, способные носить оружие, все воинские части, солдаты и офицеры, не состоящие при частях, обязаны немедленно же явиться в городскую управу и предоставить себя в распоряжение Комитета спасения революции, образованного при городском самоуправлении».

Так кого же слушать?

Топуридзе не дремал. Он разослал телеграммы казначьим подразделениям, дислоцированным в Балашове, Ртищеве, Елани, Баланде, с требованием прибыть на станцию Разбойщина для подавления большевистской власти в Саратове. Диденко захватил военный склад и увез оттуда несколько сотен винтовок и патронов... На подступах к думе юнкера соорудили баррикады.

Начали поступать сведения, что контрреволюция задерживает членов Совета, арестовывает их.

— Как бы артиллеристы не подвели, — опасался Антонов, — ведь Неймиченко по старой памяти попы-

тается привлечь их на свою сторону. Ты бы съездил туда, Михаил.

На площади возле артиллерийских казарм шел митинг. Понтрягин и Неймиченко, артиллерийские офицеры, считали себя здесь почти дома. Они поочередно вскакивали на бочку, служившую трибуной, стараясь не допустить туда старого унтер-офицера Шелухина, большевика преданного и честного.

— Что здесь происходит? — спросил Южин у Шелухина.

— Да вот, агитируют краснобаи, — развел тот руками.

Артиллеристы, до сих пор молча слушавшие офицеров, оживились, увидев Михаила Ивановича.

— А, товарищ Южин, давай сюда!

— Скажи речь, Михаил Иванович!

— Не падо агитаторов!

— Ты бы про землю лучше.

Михаил Иванович попросил Понтрягина посторониться и влез на импровизированную трибуну. Он рассказал о положении в Петрограде, в Саратове, о том, что Топуридзе вызвал казаков, а сам вместе с другими контрреволюционными элементами засел в думе, превратив ее в оплот борьбы против Советов. Они хотят крови, они жаждут боя.

— Я обращаюсь к вам, мои товарищи. Пойдете ли вы против нас? Эти господа, не успевшие еще снять с себя офицерских погон, уже от вашего имени заверили думу, что вы будете стрелять в рабочих и солдат. Так ли это? Пойдете ли вы против своих товарищей и братьев?

— Не-ет...

— Не пойдём!

Среди офицеров послышался шум.

— Не давайте ему говорить!

- Арестовать его...
- Стреляйте...
- Не надо, вы погубите всех нас...

Солдаты схватились за винтовки, и офицеры тотчас замолчали. А Южин продолжал:

— Будете ли вы бороться за революцию вместе с нами, товарищи артиллеристы?

И громкий, не оставляющий сомнения ответ заглушил возмущенные голоса офицеров. Бравое солдатское «ура!» звучало убедительно и клятвенно, когда Южин уезжал из артиллерийских казарм.

Кровь все же пролилась.

Не желая боя, еще веря в то, что эсеры и меньшевики не утратили здравого смысла, Антонов и Южин предложили в исполкоме порешить дело миром.

— Потребуем от них сдачи. Они теперь сами видят, что дело пахнет не игрой и не шуткой.

Да, это была уже не игра. Красногвардейцы соорудили свои баррикады, артиллеристы направили орудия на здание думы. В распоряжении контрреволюционеров были винтовки, баррикады из мешков с фруктами да тысячи три всякого рода лавочников, юнкеров, гимназистов во главе с офицерами. На колокольне церкви архангела Михаила, расположенной возле думы, они установили пулемет.

Переговоры о сдаче вели Антонов и Южин, по думцы тянули время.

— Известно, что тянут. Ждут казаков,— сказал Антонов.

— Вот и телеграмма перехвачена от атамана оренбургской дивизии: «Взять Саратов в 24 часа и ликвидировать большевиков, восстановить законную власть»,— прочитал Щербаков.

Это был стройный, подтянутый, с сурово сдвинутыми бровями офицер. Губы его были плотно сжаты,— видно, человек собранный и решительный. Южин подумал об этом по-своему: «Упряма: такой не сдастся».

— У вас все в порядке? — спросил Антонов Щербакова.

— Так точно,— по-военному ответил начальник гарнизона,— совместно с красногвардейцами блокировали думу и казаков встретим, если потребуется... Разрешите идти?

— Погодите,— ответил Южин.— Я прошу членов комитета, пока мы ведем переговоры, побывать на заводах. Рабочие должны быть готовы к сражению. Надо помочь вам и товарищу Федорову. Кирилл,— обратился Васильев к Плаксину,— надо пойти на завод «Жесть». Сможешь?

Плаксин кивнул и тотчас вышел.

Умчался к железнодорожникам Ковылкин, ушел в типографию Марциповский.

— Ну, а теперь пора копчаться с этими.

Южин снял телефонную трубку и вызвал думу. К телефону подошел все тот же Александр Минин.

— Вот что, господа, если вы не потеряли здравого смысла, бросьте эту канитель, немедленно присылайте своих уполномоченных для переговоров. Надвигается ночь, и любая случайность может заставить заговорить винтовки и орудия. На казаков не надейтесь — они не успеют, да и мы приняли свои меры. Телеграмма Топуридзе и ответ атамана нам известны. Так что не теряйте времени.

Делегация все-таки прибыла; привел ее в Совет лидер эсеров Минин. Антонов тут же набросал текст условий: полная сдача оружия с гарантией неприкосновенности всех сдавших оружие; роспуск военных

организаций, штаба и комитета при думе; никаких противодействий мерам и распоряжениям Совета...

Минин тянул. Скрипучим, обиженным голосом он спорил, требовал, возмущался.

В это время вошел Щербаков. Вид у него был не то чтобы растерянный, но изрядно встревоженный.

— Дума начала боевые действия. На Вальной улице стрельба. Есть раненые. Если дума не прекратит огонь, я начну артиллерийский обстрел.

Южин посмотрел на Щербакова — этот не поколеблется. Военная косточка. Обстрел думы, а там рядом — дом на углу Приютской, там Маруськ, Валюша... Хотелось крикнуть: нет, только не это! Но он перевел взгляд на Минина.

— Десять минут вам на размышление. Или вы подписываете условия сдачи, или убирайтесь вон. А мы уж будем знать, что делать.

Эсеры соглашаются и уходят в думу вместе с Антоновым и другими товарищами, которые должны сообщить думцам об условиях сдачи.

Южин на секунду отозвал Минина в сторону.

— Антонов идет под вашу личную ответственность. Понятно?

Как только эсеровская делегация покинула здание, Васильев припал к населению: надо было незамедлительно успокоить людей, не дать вспыхнуть панике.

«Товарищи и граждане! — писал Южин. — Свершилось страшное. Кровь пролилась. Спокойствие, товарищи и граждане! Вся власть в руках рабочих и солдатских депутатов...»

А у самого нет спокойствия на душе. Где Антонов? По телефону сообщили, что из думы он уже ушел, а в Совет не прибыл. А тут еще жена кадета Никонова бьется в истерике:

— Умоляю, не стреляйте — там дети...

— Какие дети?

— Гимназисты. Они поддались агитации эсеров. Они там...

Дети! Где Валюша? Что с Марией? Ведь они в самом пекле...

Мария о себе не думала — нужно было спасти девочку.

— Я сама спрячу Валюшу, — вызвалась Таня.

— Да ведь опасно. Юнкера вокруг...

— Ничего, Мария Андреевна. Я ее к знакомым: они у Волги живут. Только бы выбраться...

Мария понимала, что это риск. Но и оставаться в квартире под постоянной угрозой артиллерийского обстрела было бессмысленно.

— Иди, Танюша, иди... Оденьтесь потеплее...

Когда Таня возвратилась, Марии Андреевны дома не было. Испуганные соседи сообщили, что ее увели какие-то солдаты с винтовками.

— Видать, знали, кто такая Мария Андреевна, потому что кричали на нее да всякими словами обзывали.

— Да как же так? Ведь Мария Андреевна мне родная. Как же я в глаза Михаилу Ивановичу посмотрю? Что делать?

Таня выбежала на улицу. Угол Московской и Приютской как будто ошетинился: и баррикады, и штыки юнкеров. Странно, Таня почему-то не замечала этого, когда бежала с Валюшей. А теперь огляделась, и вдруг стало жутко, почувствовала холод.

Она повернула в сторону Волги. Вооруженные юнкера вели к реке какого-то мужчину. Уж не туда ли и Марию Андреевну? Вдруг — бах-бах!

— Ложись, девчонка!

Стреляли по думе... Стреляли из орудий...

Но Таня, не помня себя, продолжала бежать...

Южину было ясно, что прекратить обстрел думы будет нелегко: разъяренные гибелью своих товарищей артиллеристы не подчинились приказу и решили штурмом взять думу... Особенно возмущал их юнкер-пулеметчик, который вел огонь с колокольни церкви.

За Южиным прислали автомобиль — пужно ехать к пушкарям. Как разговаривать с солдатами, если юнкера не прекращают вести огонь?

— Солдаты! Товарищи! — выкрикнул Южип. — Не забывайте, что там, в думе, сейчас не только враги паши, но и простые обманутые люди. Там дети! Глупые мальчишки-гимназисты! Неужели вы способны открыть по ним огонь? Вы меня знаете. И я говорю вам: не стреляйте! Если это произойдет, я сам пойду туда. Тогда стреляйте в меня.

Артиллеристы знали: этот слов на ветер не бросает.

— Ладно, — сказал усатый фельдфебель, — будь по-твоему. Но если через двадцать минут они не сдадутся, разнесем думу — это я тоже тебе обещаю.

— Что делать? — спросил Марциновский.

— Я пойду туда, в думу, — ответил Южип.

— Вы? Зачем?

— Выведу оттуда людей.

— Но ведь их обстреляют! Им не простят того, что они первыми открыли стрельбу.

— Знаю. Но другого выхода нет.

— Тогда возьмите нас.

Южип шел по Московской. Рядом были старые товарищи — Кирилл Плаксип, Абрам Марциновский.

Михаил Иванович, конечно, вспомнил Москву, университет. Что-то общее было с тем, что происходит сейчас... Правда, сейчас все значительно сложнее. А вот и его дом... Хоть бы одним глазком взглянуть, как они там — Мария, дочка, Таня.

Большевики вошли в думу. Хотя около них суетился какой-то меньшевик и кричал: «Это депутаты. Они неприкосновенны!», Южин понимал, как чешутся руки у юнкеров, обезумевших от злобы и страха.

Чертков, бледный и явно перепуганный, пытался, однако, держаться важно.

— Непрерывное заседание думы продолжается. Слово предоставляется представителю большевиков.

Южин весь вспыхнул от гнева.

— Слушайте, вы, не ломайте комедию! Я предлагаю вам не условия сдачи, а возможность спастись. Оставьте здесь все оружие и немедленно выходите на улицу. Впереди пусть построятся в ряды юнкера и офицеры, а за ними все остальные. Малейшее промедление погубит вас.

Южин смотрел на это сборище и вдруг явственно увидел: прямо на него наведено дуло пистолета.

Мария пыталась заговорить со своими стражниками.

— Куда вы меня ведете?

— Приказано доставить на пароход.

«Хотят сделать заложницей», — подумала она.

Волга катила свинцовые волны. Судходство уже прекратилось, но несколько утлых суденышек сиротливо прижимались к причалу.

Там, в городе, перестали стрелять. Было тихо.

— Зачем вести меня на пароход? Ведь воп в городе уже бой кончился.

Мария даже не предполагала, какое впечатление произведет эта фраза на юнкеров.

— А ведь верпо,— прохрипел один из солдат.— Тут ее кокнем? Чего возиться.

И вдруг душераздирающий крик:

— Эй, вы, солдатики, бегите скорей! Там большевики за вами гонятся!..

Мария ахнула: да ведь это Тапя!

— Спасайтесь! — запыхавшись, кричала она.

Мария уже овладела собой.

— Нет уж, приказано, так ведите.

Солдаты совершенно растерялись.

— Да черта ли в ней? Кто она нам? Пошли, братцы, а то верно попадем в переделку.

Мария без сил опустилась на скамью, и рядом с ней плюхнулась ревущая взახлеб Татьяна.

Южин смотрел на дуло пистолета. И вдруг резко бросил:

— Молодой человек, уберите пистолет. Вы мешаете мне говорить.

На юнкера прикрикнули, и он опустил оружие.

Кто-то тихо спросил Южипа:

— А можете вы гарантировать нам безопасность?

— Вчера мог бы, сегодня — нет. Солдаты не желают прощать вам бессмысленного кровопролития. Обещаю лишь следующее: я пойду впереди. Будут стрелять в вас, убьют и меня. Думаю, солдаты не сделают этого.

И, улыбнувшись, добавил:

— У меня с ними отношения дружески...

Он шел впереди огромной колонны людей. Уже растаскивали баррикады, уже рассыпались мешки с фруктами, и кто-то крикнул: «Братцы, поедай баррикаду!» По всей Московской улице стояли с винтовками в руках рабочие и солдаты. Как побитые шли за Южипым думцы.

Вдруг взвился истерический крик:

— Стой! Стой!

На лафете орудия, размахивая револьвером, стоял артиллерист с воспаленными, красными глазами.

Южин понимал: достаточно одного выстрела, одной искры...

Он подошел к артиллеристу.

— Убери револьвер, товарищ. Мы с тобой не будем стрелять в безоружных. Правда? Убери и уйди с дороги. Твое оружие еще пригодится.

Пламя в артиллеристе потухало медленно. Процессия стояла в ожидании.

— Стой, стой! — уже не сказал, а выдохнул артиллерист. — Ах вы сволочи... В нас стрелять?..

Васильев обнял солдата, и они пошли рядом. Процессия двинулась за ними.

А над Волгой, над страной, над всем миром звучали слова из холодного осеннего Петрограда:

— Товарищи! Социалистическая революция, о которой мечтали большевики, свершилась!

Вместо эпилога

Столица праздновала Первомай.

Мария стояла на Красной площади возле небольшого деревянного помоста, украшенного алыми полотнищами. Кипела, бурлила Москва, точно огненно-красное море...

Михаила она не видела с утра — у начальника милиции в дни праздников особенно много дел — и пришла сюда с дочкой.

Мария оглянулась: где Валюша? Держать ее на руках было тяжело, дочь это знала: мама только что перенесла тиф.

— Не беспокойтесь, Мария Андреевна, мы здесь.

Ну конечно же это Надежда Константиновна Крупская. Валюша была у нее на руках и так нежно обвила ее шею, что Мария улыбнулась.

— Что вы, Надежда Константиновна, она ведь тяжеленная. Вон какая вымахала...

С Надеждой Константиновной Васильевы встречались часто. Особенно сблизила их опера. Михаил Иванович стремился использовать каждый свободный

вечер, чтобы утолить свою давнюю страсть театрала. Ах как мало этих свободных вечеров...

Однажды в ложу Совнаркома зашел Владимир Ильич. Он не успел к началу и приехал ко второму действию «Князя Игоря». Михаил Иванович взял Валушу на руки.

— Вот стул, садитесь, Владимир Ильич.

— Что вы. Ни в коем случае... — сказал Ленин. Но девочка уже устроилась на руки отца и, не отрывая глаз, смотрела на Ильича...

— Владимир Ильич, уверяю вас, ей у меня на руках удобнее... Пожалуйста, садитесь...

— Ну, если начальник милиции требует, нельзя не подчиняться... Спасибо.

Он тихо сел и слушал оперу, целиком уйдя в мир музыки.

Начальник рабоче-крестьянской милиции... Почему Владимир Ильич решил, что именно он, Михаил Иванович Васильев-Южин, должен возглавить это новое, доселе невиданное учреждение? Потому ли, что Южин — юрист? Или созданная в Саратове семнадцатого года рабочая милиция показалась Ленину именно таким органом, который необходимо было создавать повсеместно, чтобы охранять порядок в молодой республике Советов?

Михаил Иванович пробыл в Саратове после октябрьских дней недолго. Трудящиеся этого волжского города избрали своего партийного вожака в Учредительное собрание, и он уехал в Петроград. Но уже в феврале Саратов снова властно потребовал к себе: уральские, донские, астраханские казаки, различного рода повстанцы, а потом и белочехи пытались задуть то, что такой ценой досталось народу. Южин возглавлял саратовских партийцев, редактировал газету, был товарищем председателя губисполкома.

И вот в декабре 1918 года его вызвал к себе Владимир Ильич. Тогда и состоялось его назначение членом коллегии Наркомата внутренних дел.

— Григорий Иванович Петровский, ваш нарком, просил меня об этом. А Феликс Эдмундович Дзержинский даже считает, что именно вам следует поручить руководство Главным управлением рабоче-крестьянской милиции. Хватит пороху? — спросил Владимир Ильич и, не дожидаясь ответа, добавил: — Впрочем, насколько я вас знаю, хватит...

Вот уже два года Михаил Иванович возглавляет Главное управление милиции. Но он занимается и многими другими делами. Дел этих невпроворот.

«Мандат

Дан сей Всероссийской Чрезвычайной Комиссией члену ВЦИК тов. Васильеву в том, что ему поручается ревизия, инструктирование и инспектирование Чр. Ком. и особых отделов Ярославской губернии и гор. Ярославля...

Председатель комиссии *Ф. Дзержинский*».

«Мандат

Предъявитель сего, тов. М. И. Васильев, назначен членом Революционного Военного Совета 15-й армии...

Всем начальствующим лицам и учреждениям военного и гражданского ведомств, а равно населению Республики предписывается тов. М. И. Васильеву оказывать полное содействие при выполнении им своих обязанностей.

Заместитель председателя Реввоенсовета
Республики *Э. Склянский*».

«Удостоверение»

Предъявитель сего, Уполномоченный Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Народного Комиссариата по продовольствию тов. Васильев, командирован ВЦИК и Наркомпродом в Симбирскую губернию для ответственного руководства заготовительной кампанией 1920 — 1921 гг. в Симбирской губернии в качестве председателя Симбирского губпродсовещания...

...Всем учреждениям, организациям и должностным лицам РСФСР предписывается оказывать т. Васильеву пезамедлительное всяческое содействие при исполнении возложенных на него поручений...

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
М. Калинин

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».

«Удостоверение»

Предъявитель сего, товарищ М. И. Васильев, Советом Народных Комиссаров в заседании от 19 февраля с. г. утвержден членом Главного Комитета по всеобщей трудовой повинности.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Секретарь Совета Народных Комиссаров
Л. Фотиева».

Да, дел было невпроворот. И он еще не знал, что партия, Советская власть выдадут ему мапдаты на исполнение еще более высоких обязанпостей — проку-

рора РСФСР, а затем заместителя председателя Верховного Суда СССР.

Но все это спустя годы...

А пока...

...Ленин только что закончил речь, спустился с трибуны, разгоряченный, с сияющими глазами, необыкновенно счастливый и радостный. Он подошел к Надежде Константиновне, наклонился к Валюше.

— Ну-с,— сказал он, слегка прищурившись,— все арии князя Игоря запомнила?

— Нет, не все,— простодушно призналась девочка.

Владимир Ильич совершенно серьезно сказал:

— Это ничего, милая, у тебя еще все впереди.

Он поправил черные как смоль кудри ребенка, выбившиеся из-под шапочки.

Этим же сияющим взглядом, словно лаская, он смотрел на идущих мимо трибуны демонстрантов; многие несли на руках детей.

— Да, да, все лучшее у них еще впереди,— задумчиво произнес Ленин.

**Костюковский Борис Александрович и
Табачников Семен Михайлович**

К72 **Главный университет. Повесть о Михаиле
Васильеве-Южине.** **М., Политиздат, 1975.**

367 с. с ил. (Пламенные революционеры).

Р2 + ЗКП1 (092)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *Л. Б. Родкина*

Младший редактор *А. Г. Мартынова*

Художники *Г. Н. Бойко, И. Н. Шалито*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 11 февраля 1975 г. Подписано в печать 10 июня 1975 г. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 16,71. Учетно-изд. л. 15,59. Тираж 200 (100 001—200 000) тыс. экз. А 11251. Заказ № 480. Цена 78 коп.

Политиздат, 125311, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц в типографии «Уральский рабочий»,
Свердловск, пр. Ленина, 49.

Scan Kreyder - 08.06.2018 - STERLITAMAK



XIX.

- 65